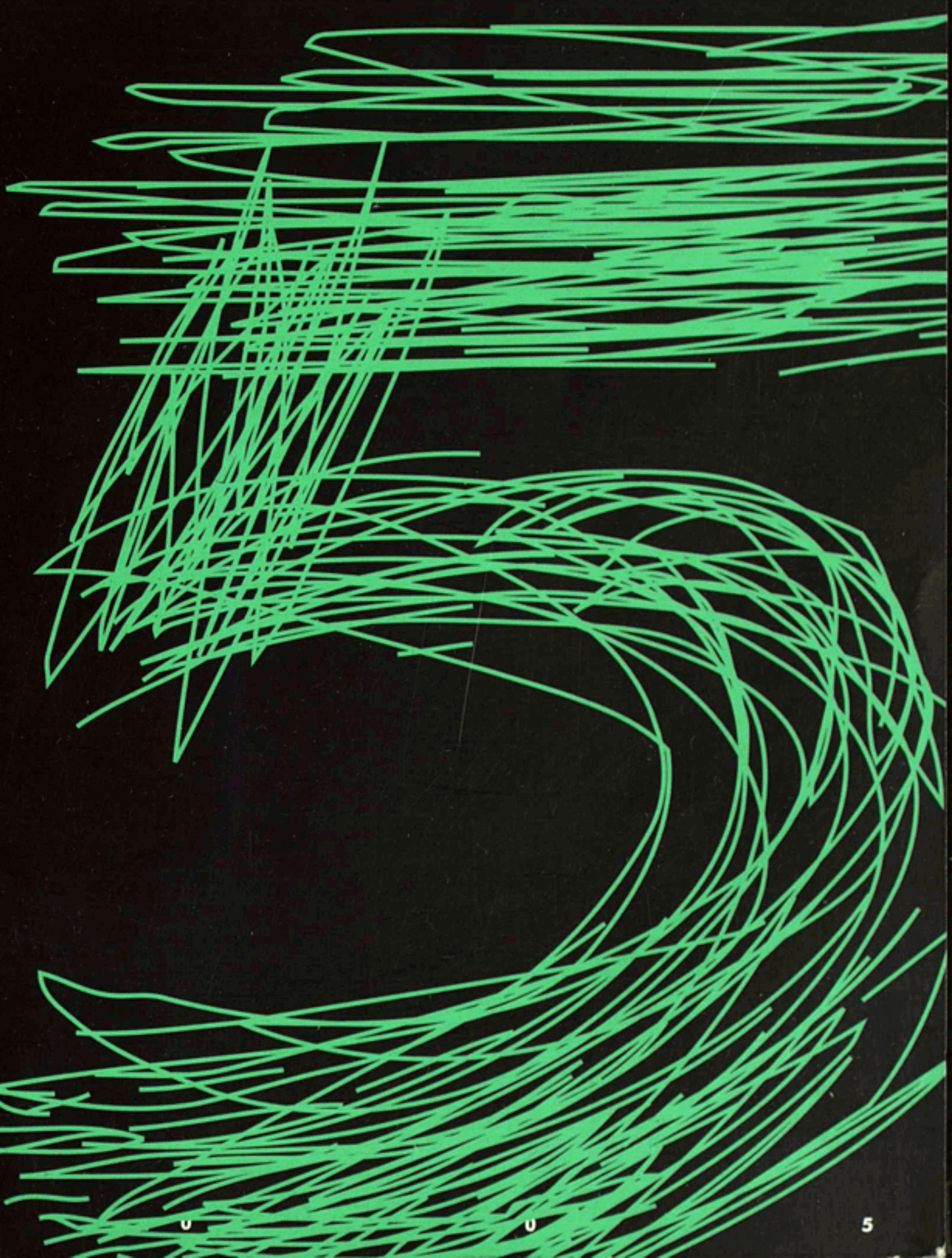
ИСКУССТВО КИНО



2 0 0 5

первый развлекательный

КИНО 21:00

Большой Куш

Люди в чёрном - 2

Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс" и "Гемини Фильм"
представляют в России фильм

ЭКЗЕМПЛЯР

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 4ЕТВЕРКА

В КИНОТЕАТРАХ С 14 ИЮЛЯ

20th CENTURY FOX

ГЕМИНИ ФИЛЬМ

24
k/c

ИСКУССТВО
КИНО

НАСТОЯЩЕЕ КИНО

Дорогие друзья!

Никогда не поздно подписаться на
единственный в России ежемесячный
журнал по искусству. Нас знают потому,
что «Искусство кино» — это профессия
и досуг, это новости кино и телевидения,
статьи о новинках репертуара и интервью
с мастерами современной культуры,
увлекательные мемуары и сценарии,
новейшая отечественная
и зарубежная проза.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 70402

Электронная версия журнала в Internet по адресу www.kinoart.ru

Телефон (095) 151-6751. Факс (095) 151-0272. E-mail: filmfilm@mtu-net.ru 125319, Москва, ул. Усиевича, дом 9

❑ВОЙНА ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ МИРА ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОГЛИ ПОБЕДИТЬ ДРУГОЙ ЦЕНОЙ? ПОЧЕМУ МЫ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗА ЦЕНОЙ? *ДАНИИЛ ДОНДУРЕЙ* **❑«СОЛНЦЕ»: ВЛАСТЬ — НЕ ОТ БОГА ЭТО ИСКУСНО СОЗДАННОЕ, СТИЛИЗОВАННОЕ СОВЕРШЕНСТВО — СПОСОБ СОЗЕРЦАНИЯ НЕПОСТИЖИМОГО, ВЗЯТЫЙ СОКУРОВЫМ НА ВООРУЖЕНИЕ ИЗ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ** *ТАТЬЯНА МОСКВИНА* **❑«МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»: «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» Я ЛЮБЛЮ НЕДОСКАЗАННОСТЬ, КОТОРАЯ ТРЕВОЖИТ, БЕСПОКОИТ ЗРИТЕЛЯ УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ФИЛЬМ КОНЧИЛСЯ** *КЛИНТ ИСТВУД* **❑«ПРАЗДНИК ОТМЕНЯЕТСЯ» ВОЖДЬ ПРОЯВИЛ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ К ТЕМ, КОГО ЧЕТЫРЬМЯ ГОДАМИ РАНЕЕ ОН НАЗВАЛ «БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ»** *СЕМЕН ЭКШТУТ* **❑ВЕРНОСТЬ ...Я СМОТРЮ СЕГОДНЯШНИЕ ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ, ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ НА ТО, КАК ОНИ СДЕЛАНЫ... МЕНЯ РЕДКО ТРОГАЕТ ТАКОЕ КИНО, ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО** *ПЕТР ТОДОРОВСКИЙ* **❑ПО ПРАВИЛАМ ИМПЕРИИ БУДЕШЬ ХОРОШО РАБОТАТЬ, БУДЕШЬ ВЕРНЫМ — ПОЛУЧИШЬ ЛЕКАРСТВА** *ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ* **❑ВОЙНА — В ОБЪЕКТИВЕ ОН ВЫХВАТИЛ ИЗ КОБУРЫ НАГАН И, НЕ ЦЕЛЯСЬ, ОДИН ЗА ДРУГИМ ВСАДИЛ ВСЕ СЕМЬ ЗАРЯДОВ В ПОРТРЕТ СТАЛИНА** *ВЛАДИСЛАВ МИКОША* **❑ЗАДОЛГО ДО КИНО МЕСТО ДУЭЛИ ИЗБРАЛИ, КАК И ПОЛАГАЕТСЯ, УКРОМНОЕ — ЗА ШКОЛЬНЫМ СОРТИРОМ** *ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ* **❑Я БЫЛ БАТАЛЬОННЫЙ РАЗВЕДЧИК «ПУСТЬ ЭТОТ ИУДА ЖДЕТ МОЕГО БРАТА ДО САМОЙ СВОЕЙ СМЕРТИ И СОДРОГАЕТСЯ ПРИ КАЖДОМ СТУКЕ В ДВЕРЬ...»** *ЕВГЕНИЙ МИТЬКО. ИЗ СЦЕНАРИЯ*

СОДЕРЖАНИЕ «ИК» №5/05

ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ

5
АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ — ДАНИИЛ ДОНДУРЕЙ — ЛЕОНИД РАДЗИХОВСКИЙ
Мы за ценой не постоим?

23
ДЖЕММА ФИРСОВА
Три миллиона метров войны

РЕПЕРТУАР

27
ТАТЬЯНА МОСКВИНА
Одиночество совершенства
«Солнце», режиссер Александр Сокуров

32
НИНА ЦЫРКУН
Ересь простоты
«Малышка на миллион», режиссер Клинт Иствуд

35
КЛИНТ ИСТВУД:
«Зритель ничего не должен знать»
Беседу ведет Эмми Тобин

КОММЕНТАРИИ

41
СЕМЕН ЭКШТУТ
История злопамятнее народа

46
АЛЕКСАНДР ХРАМЧИХИН
Разделять режим и Отечество

ИМЕНА

51
НИНА ЦЫРКУН
Птичка на проволоке
Эссе, посвященное Хилари Суонк

РАЗБОРЫ

57

АЛЕКСАНДР ШПАГИН

Религия войны

Субъективные заметки о богоискательстве в военном кинематографе

ОПЫТ

71

ПЕТР ТОДОРОВСКИЙ:

«В молодости легко быть счастливым»

Беседу ведет Наталья Баландина

79

ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ:

«Если рыбка плывет — схвачу»

Беседу ведет Жанна Васильева

ПУБЛИКАЦИИ

91

ВЛАДИСЛАВ МИКОША

Я останавливаю время

Воспоминания фронтового оператора

116

РОСТИСЛАВ ЮРЕНЕВ

В оправдание этой жизни

Воспоминания военного летчика

133

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

Жизнь — кино

Воспоминания режиссера

ЧТЕНИЕ

155

ЕВГЕНИЙ МИТЬКО

Арон

Сценарий

SUMMARY

175

З Д Е С Ь И Т Е П Е Р Ь

АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ — ДАНИИЛ ДОНДУРЕЙ —
ЛЕОНИД РАДЗИХОВСКИЙ

Мы за ценой не постоим?

В преддверии великого юбилея мы взяли на себя смелость обсудить самый, быть может, болезненный вопрос: почему Победа потребовала таких беспрецедентных жертв? Эта широко обсуждаемая тема имеет прямое отношение к актуальным проблемам сегодняшней жизни и предполагает продолжение дискуссии. В разговоре участвуют руководитель Центра демографии и экологии человека РАН Анатолий Вишневский, политолог, известный публицист Леонид Радзиховский, главный редактор «ИК» Даниил Дондурей.

Даниил Дондурей. Что означает «цена войны»? Какие в этом смысле были — или остались — табуированные зоны знания и понимания? Можно ли уравнять советскую жертвенность — защитников Отечества, а потом освободителей — с поведением людей других стран во время войны? Тех, к кому не обращались «братья и сестры»? Стоит ли — и с какой целью — обсуждать «моральный климат» в СССР до войны и сразу после нее? Я думаю, что многие из наших читателей устали от обсуждения этих, по-моему, все же так и недоговоренных тем. А вот к великим фильмам — от «Летят журавли» и «Баллады о солдате» до «Двадцати дней без войны» и «Проверки на дорогах» — мы готовы вновь и вновь возвращаться.

Может быть, в России срабатывает какой-то особый культурный код, отдельное от европейского понимание личности, свободы? Какой-то российский, страшно сказать, позитивный ответ на ужасающее насилие. Откуда вообще взялась эта моральная готовность к смерти? Мой отец рассказывал, что во время войны наши люди, он был в этом уверен и это его личная правда, были лучше, чем те же люди до и после войны. Он рассказывал (это было под Москвой), как делили мерзлую конину. Солдаты и офицеры мечтали, чтобы лошадей, которые тащили пушки, убило, и тогда им доставалось бы хоть такое мясо. Это мясо при страшенном морозе разрезали идеально справедливо. И доносили друг на друга в гораздо меньших масштабах, чем после Победы. (Возможно, это персональный миф, мы ведь знаем и другие свидетельства.) Не только внешний, но и внутренний враг поддерживал моральный императив. И определял смысл жизни, именно жизни, а не выживания.

Леонид Радзиховский. Помогающий нам в войне победить.

Д.Дондурей. Да, и это тоже.

Л.Радзиховский. Давайте я начну отвечать провокативно. Для обострения обсуждения постараюсь сформулировать довольно неприятную мысль.

Русская армия, собственно говоря, родители солдат Великой Отечественной войны или даже те самые солдаты, если они в 1941-м по возрасту подходили, в войну 1914 года никаких особых чудес патриотизма не проявили.

То есть воевал русский солдат в первую мировую «физически храбро» — стрелял, рубил, колол, умирал не хуже других, — но «высокого, политического» патриотизма при ближайшем рассмотрении не оказалось.

В самом деле, когда большевики сказали в 1917-м «бери шинель — иди домой», то ведь солдаты — они же не идиоты — понимали, что это означает предательство союзников (ну и ... с ними), но также и предательство России, то есть это означает отдать страну немцам, ликвидировать государство Российское, пойти «в полон» к немцам. И что же, как отнеслись к предательской пропаганде большевиков? Мы хорошо знаем — как!

В этом смысле очень интересно написал Алексей Толстой в «Хождении по мукам». Он имел случай горько разочароваться в русском «народе-богоносце» и поэтому свои разочарования примерно в таких словах выразил: там один герой, простой солдат, говорит интеллигенту Рощину: «Мы же вас обманывали все время, господ, а вы верили». Рощин не понимает: «То есть как обманывали?» Солдат отвечает: «Да вот так и обманывали: вера в царя и Отечество, готовность отдать жизнь — это все болтовня. Нас солдатской словесности учили, а мы глаза выпучим и кричим — да-да, да-да. А воевать-то какой дурак хочет? Может быть, вы дворяне выдрессированы на это дело, а мы воевать не хотим. Вот сейчас (гражданская война имеется в виду. — *Л.Р.*) я буду воевать. Потому что я воюю за свою землю, за свой ее кусок. Буду воевать без барабанного боя, без знамен, без орденов, воевать жестоко, потому что я воюю за себя. А воевать за Бога, царя и Отечество — дураков больше в России нет».

Фактически, это вариант лозунга «У пролетариев нет Отечества». Но с поправкой, поскольку это не пролетарий, а крестьянин: «А у меня Отечество — есть. Размером с мой надел земли. Его буду защищать и расширять, не щадя живота. А Российская Империя и прочее в мой патриотизм не вмещаются — великоваты будут».

Достоевский это заклеймил «смердяковщиной». Так вот, крестьяне, миллионы солдат, без громких слов оказались «смердяковцами» по факту, сдав Россию немцам в 1917 году.

Д.Дондурей. Так что, если бы не было революции в Германии 1918 года, еще неизвестно, как развивались бы события?

Л.Радзиховский. У меня нет сомнений, что тут была бы немецкая колония, конечно, не такая, как гитлеровская. В 1918 году у кайзера не было такой расовой теории. Это была бы колония, которая, как это водится, потом бы освободилась, поглотила своих завоевателей, растворила их... Обычная история.

Д.Дондурей. Скажите, а не было каких-то таких особых немецких жестокостей на оккупированных территориях в 1918 году?

Л.Радзиховский. В России, насколько я знаю, не было. На Западном фронте были, в Льеже, например.

Но, возвращаясь к основной теме... Русские — не исключение. Под влиянием русских событий начали «бастовать» и французские солдаты в 1917-м: не хотим воевать, умирать, отсюда — дезертирство и т.п. Но там было не «временное», а настоящее правительство. Экс-социалист, «тигр» Клемансо, расстреливал на фронте тысячи — и сразу во французах взыграл такой боевой патриотизм, прямо-таки рвались на немцев... с пулеметами в тылу.

Но вот — 1941 год. Как бы там ни было, крестьянская, по-прежнему, Россия. Однако теперь своей земли нет — отобрали землю. Так в чем же патриотизм? Патриотическое чувство к колхозной земле, что ли? Или к тем комиссарам, которые землю отобрали? Немцы швыряли листовки: «Бей жида-политрука, просит морда кирпича». И неглупо составлена листовочка: мне кажется (например, по книгам Виктора Астафьева), что какие-то струны в душе «пехотного Вани» она задевала.

Здесь есть два тезиса о русском патриотизме.

Первый — «приятный». Нет, был все-таки и большой патриотизм. Не в 1917 году — все понимали тогда, что воюют уже «не с тем немцем», что дело-то серьезнее на сей раз: речь ведь идет о том, превратят русских — без дураков, без

демагогии — в натуральных рабов, в животных, или они сохранятся как народ. Понимали, что если уничтожат само государство, пусть плохое, большевистское, черт-те какое, то вместо него будет просто немецкое рабство. То есть не Эренбург с Симоновым, а Гитлер с Геббельсом растолкали-таки русское патриотическое чувство. Я уж не говорю про такие группы населения, как честные коммунисты, как евреи, которые знали, что победившие нацисты их просто вырежут, как высокопатриотические слои русской интеллигенции и т.п.

Второй тезис — «неприятный». Да, все это было, но не в этом суть. А суть — в грубом, грубейшем насилии со стороны государства, в чудовищном страхе, в заградбатах: не в Пушкине и Казанской Божьей Матери, а в Берии и ГУЛАГе.

Наверное, истина и в первом, и во втором тезисе. Но, во всяком случае, по разным оценкам на стороне немцев воевали (с учетом полицаев и т.п.) 2—3 *миллиона* советских граждан разных национальностей. И ведь это — *без мобилизации*, то есть в той или иной степени *добровольно*! Такого не было даже в первую мировую — тогда немцы из русских пленных (или из жителей оккупированных территорий) не могли (или не хотели?) формировать части для войны против своих...

И еще одно. Сейчас открылись цифры. На фронте СМЕРШи, особые отделы и т.п. расстреляли около *миллиона* своих солдат и офицеров! Таков был реальный градус страха и насилия.

В общем, в какой-то мере, как это ни странно для нас звучит, но, действительно, Великая Отечественная была и продолжением гражданской войны.

В России гражданская война фактически началась в 1905 году и закончилась, можно сказать, в 1945-м, а точнее, в 1953-м — со смертью Сталина. Я говорю не только о расколе общества надвое, но прежде всего о психологии гражданской войны, а не гражданского мира. Цена человеческой жизни в России была в начале XX века, конечно, совсем не та, что сегодня. Мы кричим, что у нас тут беспредел, но в 1993 году было убито не то сто, не то двести защитников Белого дома. А в ходе чеченской войны, по самым жестким оценкам, десятки тысяч людей. Так вот, во время революции 1905 года несколько тысяч человек были повешены только по приговорам военно-полевых судов, а сколько было расстреляно карательными экспедициями, никто не считал. Известны резолюции Николая II: «Молодцы — Семеновцы! Передать мое царское спасибо орлам Преображенцам!» А они пороли часто целыми уездами. Это в Серебряный-то век: Художественный театр, Блок, Мейерхольд, Лев Толстой. Такие были нравы. Мы возмущаемся еврейскими погромами, но они идеально вписывались в систему, где человеческая жизнь гроша ломаного не стоила. И это в относительно мирном 1905 году.

А после 1914-го убить человека в России — просто вопроса такого не было. Поэтому большевики и смогли легко начать красный террор после того, как был убит Урицкий. Я долго думал, что за дикая жестокость? Ну, убил комиссара этот Кенегиссер, поймайте его, судите, расстреляйте, заведите дело, пришейте к этому делу пять эсеров, расстреляйте их. Но хватать по списку помещиков, чиновников, образованных людей, явно и заведомо не имеющих никакого к этому убийству отношения! А большевики пожаром тушили пожар. Они знали, что царская власть, жестоко расправляясь с террористами, тем не менее убивала на одного — десять, а мы на одного убьем тысячу и этим погасим эсеровский террор, не дадим ему разгореться. Супержестокостью перекроем жестокость. И вот с этого момента система заложничества, которая впоследствии была доведена до предела, стала, собственно говоря, государственной политикой. Что такое политика Сталина? Как я ее понимаю, это политика перманентной гражданской войны, *политика выжженной* земли — политика выжигания *своей земли*.

И 1941 год ничего принципиально нового здесь не дал. Смерть человека — трагедия, смерть миллионов — статистика. Это была идеология, в которой почти четверть века, с 1917 года, воспитывался народ. Психология войны и смерти.

Никакой другой стратегии по отношению к своему народу большевики вообще и Сталин персонально не знали. Война дала этому оправдание, и в годы войны стало еще более жестоко. А с другой стороны — немцы, вот вам, как любит выражаться господин Солженицын: «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Вот он «второй фронт» — немцы спереди, НКВД сзади.

Та же самая политика: на жестокость врагов есть только один ответ — еще большая жестокость. Притом не по отношению к врагам, а ко всем встречным-поперечным, по отношению к собственному населению: бей своих, чтобы чужие боялись. Это был тот же самый террор, начатый в 1918 году по отношению к заведомо невинным людям, в годы Великой Отечественной он стал удесятеренным, увеличенным в сто раз. С одной стороны, расчет на то, что люди будут запуганы и со страхом будут воевать, а с другой — это инстинкт: никакого другого способа разговора всерьез со своим населением не было. Стирать людей в лагерную пыль — это даже не наказание, это просто норма общения с людьми. Поскольку другого ни власть не понимает, ни народ не знает.

Только язык жестокости и устрашения люди к этому времени понимали, и благодаря этому мы всего добились: индустриализацию, коллективизацию и войну так выиграли. Может быть, по-иному мы выиграть не могли. Шока и ненависти к этой людоедской власти, которые возникли бы в другом обществе, у нас в стране не было.

Да, люди были, конечно, в ужасе от такой власти, но они ее не ненавидели. Они ее боялись, уважали, в конце концов, любили (см. «1984» Оруэлла).

Есть какая-то система координат, в которой человек очень важен, его честь, достоинство, его жизнь необыкновенно важны. Эту систему координат как начали ломать в 1905 году, сломали в 1917-м, а потом большевики ее, эту систему, просто растерли в ничто, в ту самую «лагерную пыль», и уже ломать было нечего. Поэтому та, запредельная жестокость, которая была главным стратегическим ходом большевиков, «нормально» воспринималась, как мне кажется, подавляющим большинством.

И вот в этой системе координат и выиграли войну.

Анатолий Вишневский. Мне кажется, Леонид захватил слишком широко. Такого количества вопросов мы в кратком разговоре не осилим, думаю, не стоит и пытаться.

У нас было два главных мифа: миф революции и миф Великой Отечественной войны. Мифология войны, понятное дело, сложилась позднее и постепенно стала теснить мифологию революции и гражданской войны, сейчас почти полностью ее вытеснила, впрочем, не навсегда. Я бы пока оставил революцию и гражданскую войну в покое и сосредоточился на Великой Отечественной и ее мифологии.

Я старше вас и помню войну. В 1944—1945 годах мне было уже девять-десять лет. Мы вернулись из эвакуации в Харьков, жили рядом с военным госпиталем, «начмедом» которого была моя мать. Там каждый вечер для раненых крутили картины, а я каждый вечер смотрел их вместе с ними. В принципе, это не разрешалось, и мать запрещала мне это, тем более что это был специальный туберкулезный госпиталь. Но раненые меня проводили в зал и прятали. За войну они отвыкли от общества детей и баловали меня, а кроме того, мне кажется, им нравилось не подчиняться правилам и в этом смысле быть со мной заодно. Госпиталь, «команда выздоравливающих» — все это сильно отличалось от фронтовой напряженности. К тому же в воздухе уже пахло победой. Завклубом Зина не успевала менять иголки на патефоне, с которого через усилитель по всему госпитальному двору разносилось: «Шаланды, полные кефали...», «Темная ночь», «Под звездами балканскими»... Война близилась к концу, все чувствовали себя победителями, всем хотелось жить, а не подчиняться строгим правилам...

Одним словом, я каждый вечер смотрел тогдашние фильмы про войну и, кажется, видел их все — «Зоя», «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны», «Киносборники», не говоря уже о тех, что не имели непосредственного отношения к этой войне, — о Суворове, Кутузове, Александре Нев-

ском, — всего не перечислишь. И конечно, вся та атмосфера оставила очень глубокий след в моем сознании, как, думаю, в сознании всего моего поколения, заложила какие-то устойчивые рефлексы, блоки той мифологии, которая окружала нас и стала очень важной частью всей советской, да, как мы видим, и постсоветской идеологии.

Д.Дондурей. Есть исследования, что победа в Великой Отечественной — это единственное в XX веке событие, в отношении к которому существует общенациональный консенсус.

А.Вишневский. Победа у нас всегда воспринималась как нечто святое, существовало усвоенное с детства внутреннее табу не то что на критику всего, связанного с Победой, а даже на малейшие сомнения, вопросы по этому поводу. Надетые тогда очки срослись с нами, стали частью нас самих. Поэтому очень сложно отделить мифологию, безусловно существующую, от реальности и попытаться увидеть войну и все, что было с ней связано, взглядом историка, который не стремится примкнуть к тому или иному идеологическому лагерю.

Почему Отечественная война названа Великой? Что в ней было великого? Напряжение сил? Величина потерь? Масштаб самого события? Напряжение сил было невероятным, оно требовало коллективного подвига, и это, безусловно, придает величие Победе. Но достаточно ли этого?

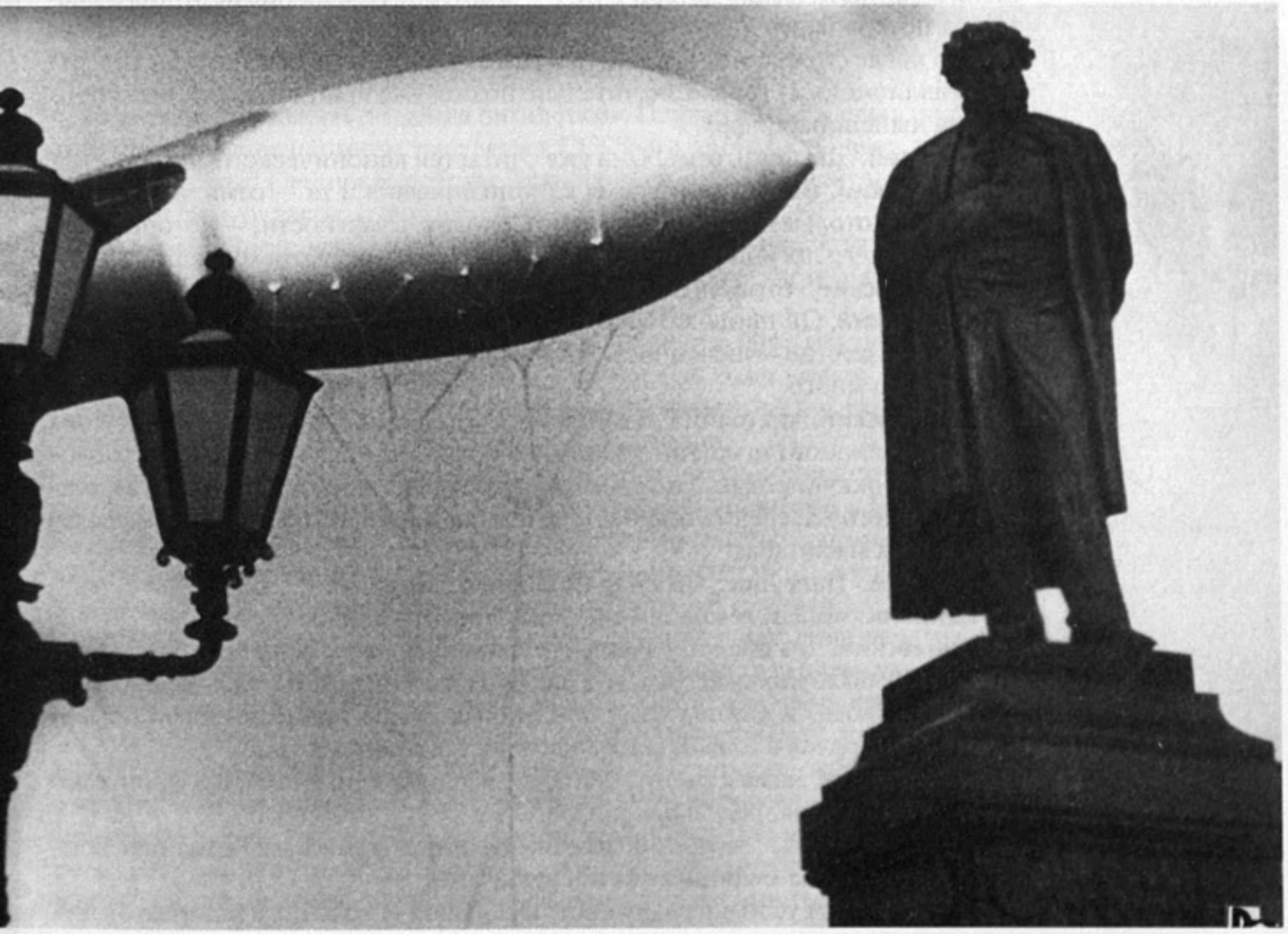
Представьте себе, что наша футбольная команда, сборная страны, проигрывает в первом тайме 0:4, а затем ей удается переломить ход игры и одержать победу со счетом 5:4. Разумеется, на следующий день вся спортивная, да и не только спортивная, пресса будет захлебываться от восторга, восхищаться мужеством игроков, мудростью тренера, найдется место и для общепатриотических высказываний, и все это будет правильно. Но ведь война — не спортивная игра. Здесь потерянные очки не отыгрываются, мертвые остаются мертвыми. А людские потери в этой войне были небывало огромными.

Л.Радзиховский. Да, людей не жалели. Население-то огромное, ни в одной европейской стране ничего подобного нет... Я думаю, что у советского руководства, у Сталина просто сидело в голове: чего-чего, а народу у нас много. Теперь, когда говорят о вкладе России, Советского Союза в Победу, то первое, с чего всегда начинают: мы потеряли больше, чем кто-либо. Я не знаю, правда это или нет, но я читал, что — поразительная штука — якобы была некая официальная рубрикация. Если за Победу погибло столько-то солдат, то офицер или генерал получал один орден, если столько-то — другой. Так измерялась важность его заслуг. Чем больше потерь за Победу — тем выше орден.

А.Вишневский. Я читал где-то, что союзники после высадки в Нормандии обсуждали вопрос о штурме Берлина и пришли к выводу: это будет стоить 50 тысяч жизней — пусть русские штурмуют. А у нас, это тоже известно, шло соревнование, какой фронт первым прорвется к рейхстагу: Жукова или Конева. Безвозвратные потери во время Берлинской операции — 78 тысяч человек да еще свыше 270 тысяч серьезно раненных и контуженных. А в начале войны, при обороне Киева, который потом все равно сдали, — безвозвратные потери (убитые и попавшие в плен) составили свыше 600 тысяч человек. Вы представляете себе, что такое потерять в боях 600 тысяч человек за три месяца?

Л.Радзиховский. Соревнование «кто возьмет Берлин» напомнило мне только одно соревнование, о котором я читал специальный документ и был ужасно поражен. В 1937 году был издан знаменитый указ, совершенно секретный, за каким-то номером, где устанавливались нормативы на убийство населения — «врагов народа» — по каждой области. Приказ известен, опубликован. Но вот что интересно: тут же (приказ еще не успел дойти до управлений НКВД) началось соцсоревнование за лучшее его выполнение. Точно так же, как соревновались колхозы, заводы, — «чекисты-стахановцы» в своей отрасли, «по сдаче голов населения». Стали просить увеличения нормы, увеличения квоты «врагов». Люди, что в 1937-м, что в 1945-м — это лагерная пыль. Вы отдельные пылинки считать будете? Пыль считают на кубометры, на тонны. Это советская расходная экономика: чем больше вы расходо-

Кадры из документальных фильмов «Великая Отечественная» и «Великая Победа советского народа»



вали материала, тем больше вы сделали, а следовательно, и тем больше получили.

А.Вишневский. Со временем действительно стали гордиться огромностью потерь, но в первоначальную версию мифа о Победе это не входило. Сталин стремился преуменьшить потери и назвал совершенно нелепую цифру «около семи миллионов человек», потерянных «в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу». Это была откровенная ложь, потому что в это время уже существовали, например, данные Комиссии по учету жертв злодеяний фашистов на территории СССР, в которых говорилось, что было убито и замучено свыше 6 миллионов мирных граждан и около 4 миллионов военнопленных и, кроме того, более 0,6 миллиона человек погибли от голода вследствие блокады Ленинграда. Простое суммирование дает 10,6 миллиона погибших — и это без прямых потерь армии в ходе военных действий. Но зачем Сталину понадобилась эта ложь?

Л.Радзиховский. Ему хотелось показать, что жертв меньше, чем на самом деле.

А.Вишневский. Конечно, огромные потери бросали тень на его гениальное руководство. Все-таки он не мог не понимать, что с самого начала мы воевали на более сильной стороне. СССР был примерно в паритете с Германией, но блок союзников был намного более мощным и в экономическом, и в военном отношении, чем державы «оси». Это было хорошо известно руководству страны. После войны Вознесенский, всю войну руководивший экономикой СССР, а затем уничтоженный Сталиным, прямо писал, что СССР и его союзники обладали значительно превосходящими возможностями и резервами в экономике и технике для победы в мировой войне. Это знали и до войны — было, помнится, выступление Мануильского на эту тему, по-моему, еще до 1939 года, до печально знаменитого пакта.

Но как совместить нашу с союзниками превосходящую мощь, дипломатическую прозорливость и военный гений вождя, с одной стороны, и совершенно фантастические потери СССР — с другой? Признание истинного масштаба потерь перечеркивало миф о вожде, поэтому оно стало возможным только после его смерти. Хрущев где-то в 61-м году назвал «более двух десятков миллионов». И только значительно позже, уже при Горбачеве, была приведена нынешняя цифра.

Д.Дондурей. Двадцать семь. Она уже считается канонической?

А.Вишневский. Была в свое время канонизирована и та — семь миллионов. Но есть некоторые историки — Борис Соколов, в частности, — которые считают, что всего погибло около 40 миллионов человек. Хотя мне кажется...

Л.Радзиховский. Его заносит.

А.Вишневский. Он приводит свои аргументы, однако его оценка не вяжется с тем, что известно о численности населения СССР. Но и 27 миллионов — это невероятно много.

Л.Радзиховский. Анатолий Григорьевич, я хотел вас спросить. Я привык к цифре 27 миллионов погибших, из которых половина погибли на фронте, половина — на оккупированных территориях. Не могу понять, откуда 13 миллионов мирного населения взялось. Немцы же не истребляли русское население в таких масштабах.

Д.Дондурей. Наверное, включая миллионы евреев.

Л.Радзиховский. Евреев около двух миллионов, а еще-то где десять?

А.Вишневский. Вы представляете, что творилось на оккупированных территориях? Не было никаких средств к существованию, работы, еды, медикаментов. Сюда входят и жертвы Ленинградской блокады. А еще потери от бомбежек, артобстрелов в зоне боевых действий. Потери партизан.

Л.Радзиховский. Даже с учетом всего, что вы говорили, ну 10 — на фронте, но 17 — в тылу! Это запредельная цифра.

Д.Дондурей. Голод, смерть от болезней, угнанные на работы в Германию, бомбежки... Скверное медицинское обслуживание...

А.Вишневский. А условия эвакуации? Осенью 1941 года мы с матерью эваку-

ировались с госпиталем в относительно сносных условиях, но по дороге я видел поезда, которые везли людей, в основном женщин с детьми, на открытых платформах, — говорили, что их везли с Западной Украины, где не успели ничего подготовить.

Д.Дондурей. В потери гражданского населения входят репрессии во время войны?

А.Вишневский. На этот вопрос не так просто ответить. Как разграничить потери: где — от репрессий, а где — от войны? Известно, что ситуация в ГУЛАГе резко ухудшилось в то время, смертность стала огромной — даже по лагерным меркам.

Д.Дондурей. В лагерях было тогда несколько миллионов?

А.Вишневский. В начале войны было около 2,5 миллиона заключенных, к 1944 году их число значительно сократилось, отчасти за счет того, что около миллиона человек были отправлены на фронт, в штрафбаты.

Д.Дондурей. Их-то уж точно не жалели.

А.Вишневский. Судя по всему, да. Те из них, кто погиб, входят в военные потери. Не забудьте еще депортированные народы.

Д.Дондурей. Это еще больше миллиона — тех, кого переселили в Казахстан.

А.Вишневский. Не только в Казахстан. И не больше миллиона, а больше двух. И смертность у них на первых порах была огромной.

Но заметьте: могла существовать определенная заинтересованность в том, чтобы списать на войну часть потерь от репрессий. Известно, что ситуация в ГУЛАГе резко ухудшилась в то время: там просто перестали кормить. Только здесь, по-моему, власть совершенно запуталась и не знала, что лучше: признать больше потерь от репрессий или от войны. В итоге Сталин сделал обсуждение вопроса о потерях вообще невозможным. Самый надежный метод оценки потерь — это метод демографического баланса: сравнивается, сколько должно было быть людей без учета экстраординарных потерь, и сколько осталось. Но для этого надо знать, сколько осталось на самом деле. Чтобы выяснить это, все европейские страны после войны поспешили провести переписи населения. ЦСУ СССР также предложило провести единовременный учет населения страны. В архивах сохранилось соответствующее письмо начальника ЦСУ Старовского с его пометкой: «Доложено лично 29.08.1947. Получено указание отложить до конца пятилетки». Первая официальная послевоенная оценка численности населения СССР была опубликована только в 1956 году, через 11 лет после победы. Так что, видимо, в этой победе что-то было не так. Что-то такое, о чем никто не должен был знать.

Д.Дондурей. Постепенно узналось, и стало ясно, что «воевали мясом», по выражению Астафьева. Ну, понятно, и немцы на Восточном фронте тоже потеряли больше, чем на всех остальных фронтах.

А.Вишневский. Насколько я знаю, прямые военные потери немцев — на всех фронтах — составили 4—5 миллионов человек, это тоже немало. Но потери гражданского населения у них были несравненно меньшими. Наши 27 миллионов приходится сравнивать с их 6—6,5 миллиона.

Конечно, мы их измотали. У них ведь были довольно ограниченные ресурсы — и людские, и прочие. Почему они рвались, допустим, к Баку? Потому что у них не было нефти. Они сломали себе шею на Восточном фронте, но какую цену мы за это заплатили! О людских потерях мы уже говорили, но ведь это не все. У нас до сих пор иногда с иронией говорят о мгновенном поражении Франции в 1940 году. Но мы, до того как в войне наступил перелом, отдали территорию, если не ошибаюсь, в три с половиной раза большую, чем территория Франции. Здесь проживало, даже за вычетом эвакуированных, свыше 80 миллионов человек, больше, чем в любой европейской стране. Мы лишились главных промышленных центров — Донбасса, всей Восточной Украины. Ленинград мы не сдали, но как экономическая единица он временно перестал существовать. То есть, по европейским меркам, мы войну проиграли. Но у нас за спиной было еще огромное пространство, а следовательно, и возможность маневра. А немцы вынуждены были растянуться на всю гигант-

скую захваченную территорию, что тоже стало для них изматывающим фактором.

Вся эта ситуация и охватывается словами «мы за ценой не постоим!», которые, хотим мы этого или не хотим, стали неотъемлемой частью несколько скорректированной послесталинской мифологии Победы.

Д.Дондурей. Мне кажется, Сталин был бы очень доволен этой поэтической строчкой. Много, мало людей погибло — не важно. Война священная, о потерях не говорим. Или говорим, но как о характеристике масштаба Победы.

А.Вишневский. Кстати, эта формула была придумана не властью. Субъективно за ней стояло желание приблизиться к правде. Но были и есть люди, которые спекулируют на этой формуле и рады, что можно потрясать цифрой 27 миллионов в каких-то сегодняшних спорах.

Вопрос о том, что можно было победить другой ценой, практически не обсуждается, он снят с повестки дня.

Д.Дондурей. Почему мы не могли победить другой ценой? Почему мы вообще не должны стоять за ценой? По-моему, это чрезвычайно серьезные вопросы.

По сей день обществу предлагается — и очень настойчиво — универсальная моральная подстановка. Раз российские потери беспрецедентны — значит, враг был практически непобедим. А наши стойкость, героизм, цена и значение победы адекватны, соразмерны величине наших жертв. В этой ситуации аморально задаваться самим вопросом: может быть, потери были неоправданно большими? Мы ведь поначалу плохо воевали, ужасно к войне подготовились, да и людей не жалели ни на фронте, ни в тылу. А тот, кто готов обсуждать эту тему, — тот сомневается и в конечном счете дискредитирует великую Победу.

Л.Радзиховский. У того же Окуджавы есть стихотворение: «Подчас над победами нашими стоят пьедесталы, которые выше побед». То есть прямо противоположный взгляд на эти вещи. Пьедесталы — это и есть погибшие.

А.Вишневский. Вы помните знаменитые стихи Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины / В том, что другие не пришли с войны,/ ...Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...»? Что ни говори, а Победа — это победа для тех, кто выжил. Победа тех, кто погиб, в лучшем случае, метафизическая. Конечно, и это нельзя сбрасывать со счетов, метафизическое измерение немаловажно. Но всё же, всё же, всё же...

Д.Дондурей. А вы согласны с Леонидом, что наряду с моральными факторами действовали и факторы жесткого государственного давления, социального и физиологического страха? Вернее, не страха, а как бы всеобщего психологического принятия государственного насилия. Это был своего рода код, язык любых отношений в то время. Общественное согласие на то, что государство должно, призвано ставить позади твоего батальона заградотряды. И что тебя, конкретного человека, — не жалко. Не только генералам — в их размышлениях над картой, не только замполитам и смершевцам, но и самим жертвам.

Л.Радзиховский. Я бы даже сильнее сказал. Вот, говорят, война — это продолжение политики другими средствами. Вся большевистская политика органически вырастала из царской, из политики 1905 года, а потом войны 1914-го. Всюду ведь есть мирное время, когда жизнь человека имеет гигантское значение, и все вокруг него бегают — вокруг его здоровья, его достоинства, его прав, его удобств, его благосостояния. Такой жизни в России просто никогда не было.

Если бы в России, как, допустим, во Франции, Англии, других странах, к 1941 году было гражданское общество, где превыше всего ценится человеческое благосостояние и достоинство, то Россия бы, несомненно, войну с грохотом проиграла, точно так же, как ее проиграла Франция.

Д.Дондурей. Это важная, но малоприятная гипотеза.

А.Вишневский. Я согласен только с тем, что «тебя — не жалко». Это давняя наша традиция: известно, что за сто лет, предшествовавших первой мировой, Россия потеряла в военных действиях больше солдат, чем любая другая воевавшая крупная европейская страна. Государственное насилие, заградотря-

ды и т.п. — от этой традиции. Но я не согласен, что только в рамках этой традиции можно выигрывать войны, а гражданские общества беспомощны перед ними.

Л.Радзиховский. Французский орех раскололся, потому что немцы ударили там со страшной жестокостью, тем более что французы хорошо помнили, какими жертвами они остановили немцев в 1914 году. Второй раз подобную цену они платить были не готовы. И только у нас, где и так шла гражданская война, где нападение немцев лишь открыло в этой войне еще один фронт, ужесточило общую ситуацию, но не сломало основы нашего государства, которую совершенно точно сформулировал Ленин: «Диктатура — это насилие, не ограниченное никакими законами», — только у нас люди готовы были платить за победу любую цену. Ведь они не только в войне, они и в мире *так* жили.

Д.Дондурей. Вы хотите сказать, что нападение Германии позволило сталинскому режиму быть более легитимным, более свободным в своих действиях. Появились серьезные моральные оправдания убивать людей, ни во что их не ставить...

А.Вишневский. Мне кажется, что все-таки так упрощать ситуацию нельзя. Знаете стихотворение Бродского «На смерть Жукова»? «Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую! Что ж, горевал?»

Л.Радзиховский. Что он ответил, встретившись в адской области с ними? «Я воевал».

А.Вишневский. Да, «Я воевал...» Война есть война. Сейчас часто обвиняют Жукова в какой-то особой жестокости в методах управления войсками, якобы он не жалел людей. Мне трудно об этом судить, хотя я часто слышал, что Жуков был человеком совершенно беспощадным.

Л.Радзиховский. Поэтому он и был сталинским маршалом, заместителем Верховного главнокомандующего.

А.Вишневский. Да, но опять же, упрекнешь его лишь до некоторой степени, потому что когда он появлялся на театре военных действий, то всегда выигрывал. Общество приняло эту жестокость, вот ведь в чем дело. Приняло как что-то необходимое, а значит, достаточно широкие, массовые слои были убеждены в необходимости победы любой ценой. Помню, я во время войны спрашивал взрослых: «Кто победит?» «Конечно, мы!» Такова была общая настроенность.

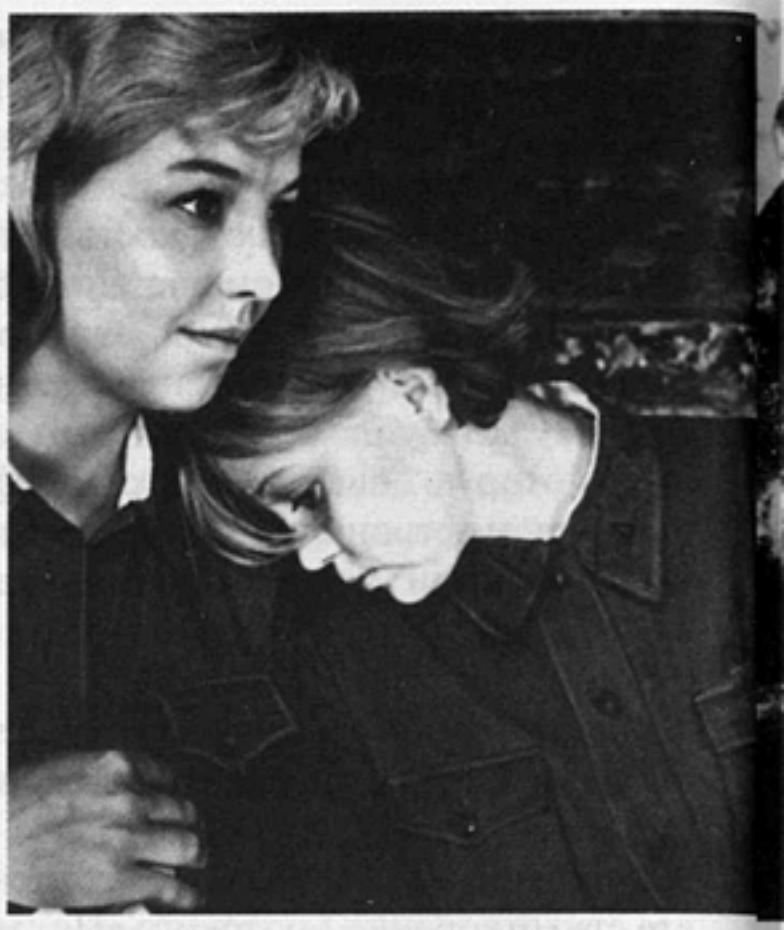
Л.Радзиховский. Но если бы кто-то сказал иначе, его бы тут же схватили как распространителя панических настроений...

А.Вишневский. Все это было. Но не только это. Ткань эпохи была сложнее и, если можно так сказать, прочнее. Был ли патриотический подъем среди «простого народа»? Конечно, судить об этом по пропагандистским материалам нельзя. Но ссылаетесь же вы на Алексея Толстого, говоря о гражданской войне. Я думаю, что о Великой Отечественной писали и более надежные летописцы, чем автор «Хождения по мукам», пусть их было и не так много. И по их свидетельствам внутренней стойкости, совершенно никак не связанной с заградотрядами, было предостаточно, хотя как раз самим смершевцам — вспоминаю Василя Быкова — ее порой и не хватало.

А то, что подъем был среди элиты, интеллигенции, — этого и доказывать не надо. Попробуйте через силу написать «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет!» И это — Ахматова, у которой к этому времени уже почти все отняли. Попробуйте создать по заказу «Ленинградскую симфонию». Вы можете себе представить что-нибудь подобного уровня, написанное в связи с чеченской войной?

Разумеется, вызванные войной чувства эксплуатировались «деятелями культуры», в том числе и кинематографистами, нередко упрощаясь до пропагандистской одномерности. Так было и во время войны, и после нее, после даже, кажется, еще больше — все эти «Клятвы», «Падения Берлина» и тому подобное. Хотя было и кино типа «Проверок на дорогах».

«Иваново детство», режиссер Андрей Тарковский



«А зори здесь тихие...», режиссер Станислав Рост

«Женя, Женечка и «катюша», режиссер Владимир Мотыль

«Иди и смотри», режиссер Элем Климов

«Двадцать дней без войны», режиссер Алексей Герман

«Проверка на дорогах», режиссер Алексей Герман

«Восхождение», режиссер Лариса Шепитько

«Отец солдата», режиссер Резо Чхеидзе

«Баллада о солдате», режиссер Григорий Чухрай

«Дом, в котором я живу», режиссеры Лев Кулиджанов, Яков Сегель

«Дорогой мой человек», режиссер Иосиф Хейфиц

«В бой идут одни «старики», режиссер Леонид Быков

Д.Дондурей. Это — уже сейчас. В то время не было и быть не могло. С другой стороны, эти темы — «священные коровы».

А.Вишневский. «Священные коровы» и, одновременно, — «золотая жила».

Д.Дондурей. Почти все наши лучшие фильмы — о войне.

А.Вишневский. Со временем стали понемногу отходить от пропагандистской сусальности, но все-таки кинематограф был и остается одной из главных опор военной мифологии. Это, конечно, не упрек, война действительно потребовала такого напряжения внутренних сил, что при этом многое, обычно скрытое, высветилось в человеке — это благодатное поле для искусства. Но только если искусство, мысль ищут этого глубинного, а не повторяют, как попугаи, лозунги, с которыми шли в атаку, говоря, что это и есть правда.

Сам факт Победы как будто свидетельствует об огромной силе СССР, советского общества, об эффективности тех механизмов принуждения, о которых говорил Леонид. Но нет ли и здесь мифологического преувеличения? В частности, от мифа или от реальности идет ваша убежденность в том, что СССР с грохотом проиграл бы войну, ценись в нем жизнь так, как в благополучных западных странах? Все же мы выиграли войну в союзе именно с такими странами. Что, они так уж плохо воевали? Меньше своего народу положили? Так мы уже вроде бы договорились, что гордиться большими потерями остается, когда нет ничего другого.

Л.Радзиховский. А вот что интересно, к вопросу уже о союзниках, об Англии, в частности. Оруэлл — известный антифашист, но он свои самые злобные антисоветские вещи писал именно во время войны. Теперь я совершенно другими глазами читаю «1984». Почему? Потому что мне казалось, что все, о чем там говорится — «англосоц» и т.д., — это просто обычный эвфемизм, на самом деле имеется в виду, конечно, нацистская Германия и Советский Союз. Теперь я понимаю, что Оруэлл опасался, что Англия действительно может прийти к такому же тоталитарному состоянию. И больше того, ему мерещилось, что Черчилль может стать таким же тоталитарным лидером, как Сталин или Гитлер.

Он боялся, что война придушит демократию. Эта тревога за демократию в Англии уже записана в генах. Может, поэтому сразу в 1945 году — «от греха подальше» — прокатили Черчилля на выборах? Конечно, опасность, что военно-победоносный режим и лидер изнасилуют демократию — такая опасность есть. Правда, сомневаюсь, чтобы это относилось к Черчиллю — когда он проиграл выборы, он сказал: «Это демократия, за это и воевали».

Вот что интересно — к вопросу о психологической подготовке к войне. Я где-то читал, что Гитлер уже к концу войны говорил: «Я проигрываю не потому, что был недостаточно жесток по отношению к евреям, к славянам, — тут-то все в порядке. Но я был недостаточно жесток по отношению к немцам. Если бы я сделал то, что сделал Сталин в 1937 году, если бы я заранее истребил эту чванливую сволочь, то мы выиграли бы войну». А чванливая сволочь — это прусачество, юнкерство, то самое немецкое офицерство, которое блестяще сражалось.

Д.Дондурей. Он ведь, как известно, вермахт недолюбливал.

А.Вишневский. Даже если Гитлер так говорил, думаю, он ошибался.

Л.Радзиховский. Он как диктатор понял, что не нужен талантливый полководец, нужен тот, кто трясется со страху и кого можно гнать, как пушечное мясо. А тот, кто бережет солдат — такой не нужен.

А.Вишневский. Вообще со временем мне все труднее сопротивляться мысли о том, что и ход, и исход войны определялись не в Москве и не в Берлине. Я думаю, что даже самый заклятый антиатлантист согласится с тем, что ни американцы, ни англичане не хотели победы Гитлера, не могли ее допустить, это было для них слишком опасно. В то же время и самый ярый поклонник атлантизма не станет утверждать, что они думали в первую очередь о трагедии сражавшегося Советского Союза, а тем более жаждали усиления Сталина и советского режима, открыто обещавшего «раздуть мировой пожар». Они были нашими союзниками, но преследовали при этом свои интересы, да иначе и быть не могло. На таких вещах и держатся союзы.

Современные западные исследователи признают, что между союзниками существовало негласное разделение ролей: западные страны участвовали в войне в основном капиталами, продуктами, техникой, а Россия — живой силой. При этом нельзя сказать, что союзники совсем не воевали. Они сокрушили Японию, разгромили Роммеля в Африке, высадились в Нормандии. Но их вклад в Победу был дозированным. Они, в отличие от России, были далеки от исчерпания своих ресурсов и могли сокращать или наращивать свое участие по мере развития событий, исход которых был заранее предрешен. Ни Россия, ни Германия позволить себе такой роскоши не могли.

Можно давать разную моральную оценку действиям Рузвельта и Черчилля, не спешивших открывать второй фронт. С точки зрения миллионов советских матерей, вдов и сирот, оплакивавших своих детей, мужей и отцов, положенных под Киевом или под Сталинградом, они, конечно, заслуживают осуждения. Но с точки зрения американских и английских женщин и детей, к которым их сыновья, мужья и отцы благополучно вернулись после Победы (совокупные потери США и Англии не достигли и одного миллиона человек), может быть, они были и не так уж не правы. В конце концов, американцы и англичане для того и вручали им руководство своими странами, чтобы они защищали их интересы.

Но если вообще оставить в стороне моральные оценки — как это нередко делают у нас, восхищаясь необыкновенной хитростью Сталина, который якобы искусно маневрировал в сложных хитросплетениях мировой политики, — выяснится, что в этих хитросплетениях он и запутался безнадежно, из-за чего, в числе прочего, мы и пришли к Победе самым тяжелым, жертвенным, хотя и героическим, путем. Но прошло 60 лет, и мы продолжаем гордиться этим путем, считая, что он был единственно возможным. Где здесь миф, а где реальность?

Д.Дондурей. Речь как раз идет о восприятии реальности. Почему террор, вполне сопоставимый с фашистским, не воспринимался в Советском Союзе как террор? А воспринимался как нормальный ход жизни, как договоренность, некий здравый и необходимый консенсус. В трудный период военных действий реальность, конечно, тяжелее, чем в повседневной жизни, но ее можно принимать, с ней можно мириться, постигать ее законы.

Л.Радзиховский. Конечно, многие люди были недовольны, но ненависти к власти, к советскому режиму — как естественного человеческого чувства по отношению к тем, кто без всякой причины вас унижает, оскорбляет, — ее ведь не было. Я уж не говорю о том, что вас грабят, насилуют и убивают. У нормального человека это вызывает чувство прямой и однозначной ненависти.

Д.Дондурей. Развивая вашу мысль, можно сказать, что при встрече двух геноцидов наш оказался покрепче.

Л.Радзиховский. К своим покрепче, да.

Д.Дондурей. Но мы — победили! Землю свою отвоевали, язык, культуру. Правда, людьми пожертвовали.

Л.Радзиховский. К той же логике: повысят цены на десять копеек — будем драться до последнего, повысят в сто раз — не заметим, за курильский остров Шикотан пасть порвем, а потерять половину Советского Союза — ну и хрен с ним! Ведь вот что интересно! Когда сейчас пытаются объяснить, зачем нам нужен Советский Союз, — пытаются объяснить это рационально, и получается полная абракадабра. Потому что как только отношения с бывшими республиками СССР переводят на экономические рельсы, тут же выясняется, что он нам не так уж и нужен. Что это тогда? Религия, мифология, психоз «нашей земли» — этого сказать никто не может. Да и не поймут сейчас этого люди.

Д.Дондурей. Это значит, что природа советской государственной эффективности — жесткость плюс мифологическая ловкость: насилие объясняешь целями патриотизма, тогда люди умирают во имя чего-то абсолютно ценного. Получается, что жестокость Сталина умножила народный подъем, привела к Победе, которая усилила и легитимизировала сталинизм.

А.Вишневский. Подождите. Тут я хочу сослаться на одну книгу: во французском переводе, который я читал, она называется «Очарование нацизма» (La fascination du nazisme), а название немецкого оригинала я бы перевел как «Ослепительное сияние третьего рейха» (Der Schöne Schein des Dritten Reiches). Она как раз рассматривает формы пропаганды, формы искусства, которые создавали для рядового немца мифологический мир, порождавший очарование фашизмом. То же самое было здесь с социализмом. Не забывайте, что в этой, можно сказать, не прекращавшейся гражданской войне были проигравшие, но и выигравшие тоже были. Не только те — кого, но и те — кто.

Д.Дондурей. Выигравшие сразу же стали мощно использовать идеологическую и мифологическую машину — ради тех, кого потом убивали. Вот где двойное сознание. Знаменитое российское сознание, где уживается терпимость к насилию с верой в то, что все это делается ради каких-то благих целей. Ради защиты Отечества, предоставления возможностей для большинства, справедливого распределения общественных благ. Человек пребывал как бы в двух системах измерения. И легко или мучительно переходил из одной в другую. Мог презирать доносительство, но при этом говорить всю эту советскую чепуху. И верить в нее. Это был особый навык — у народа, у элиты — умение жить в двух, казалось бы, абсолютно нестыкующихся системах. Особый навык менять, вернее, совмещать коды...

Л.Радзиховский. ...терпимости к насилию.

А.Вишневский. Вы знаете, из всего того, что вы сказали, я бы выкинул слово «российское». Потому что это совсем не обязательно наша национальная черта. Несколько лет назад был конфликт между двумя французами — редакторами «Черной книги коммунизма». Один написал, что преступления советского режима сопоставимы с нацистскими, а другой не мог этого принять. Этот спор захватил многих людей на Западе. И это не такой простой вопрос. Ты вчера во что-то верил, а сегодня у тебя начинают закрадываться сомнения, потому что ты многое узнаешь, многое видишь по-иному, но расстаться со своей верой ты не можешь. Сознание очень сильно заблокировано.

Д.Дондурей. Культурными матрицами? Мне мой отец говорил: «Я был часто счастлив во время войны». Но это же ужас.

А.Вишневский. Это очень сложный — и политический, и психологический, и социальный феномен. Если его сейчас упрощать, то непременно появится ложь. Там действительно было все перевернуто. На днях я видел по телевизору, с какой гордостью Вячеслав Никонов, внук Молотова, показывал свою книгу со снимками, где соратник Сталина играет с детишками.

Д.Дондурей. Но Молотов — и не он один из той плеяды сталинских палачей — сегодня подается и воспринимается, после огромного количества мемориальных исторических телепрограмм, в одном ряду с Аллой Пугачевой — как суперзвезда великой эпохи. Не как изверг, подписавший смертные приговоры десяткам тысяч людей, а как Петросян, Жириновский...

А.Вишневский. Я пытаюсь уйти от обличительной установки и просто указать на парадоксальность эпох — и ушедшей, и нынешней.

Д.Дондурей. Мы обостряем исключительно для того, чтобы попытаться понять суть событий того времени. Понять одну вещь, чрезвычайно актуальную по своему значению, а вовсе не академически историческую. Предположим, к началу войны у нас было бы гражданское общество, правозащитные институты: что, мы бы не победили?

А.Вишневский. Я учился в университете с одним парнем, который был на несколько лет старше, он участвовал в войне. Он рассказывал разные вещи, в частности, как стоял в оцеплении с собаками, когда наши военнопленные возвращались. Их с музыкой встречали на станции, а потом сразу же отправляли в фильтрационные лагеря. Он считал, что это правильно, и не мог подумать, что сам мог оказаться среди них. Чтобы столько людей посадить, нужно столько же доносящих, допрашивающих, охраняющих... И ни о чем не задумывающихся. Только когда пытаешься представить всю мозаику связей и отношений, начинаешь приближаться к правде.

Л.Радзиховский. Знаете, мы пытаемся, естественно, исходя из собственного опыта, логикой, так сказать, «мирной» жизни поверить логику жизни «военной».

Какая жизнь была у людей? Их выселили из деревень, они приехали в города, жили в бараках, получали питание по карточкам. Надеть костюм было событием, о квартире, естественно, никто и не мечтал. Кроме коммунальной, где тридцать человек ходят в одну уборную, разговора нет. При этом они еще знают, что на собрании должны кричать: «Расстреляйте и уничтожьте врагов, которые у нас отбирают эту счастливую жизнь». Конечно, в таких условиях человек меньше дорожит своей жизнью, чем французский таксист. У него другое отношение к жизни, а следовательно, и к войне. Мне кажется, что к ней плохо подготовились в техническом смысле, но хорошо — в психологическом. Заранее ценность человеческой жизни обнулили.

Д.Дондурей. То есть обеспечили победу идеологически. Но это рабская психология в стране великой культуры...

Л.Радзиховский. Ну да. Сталин ведь даже когда пытался изобразить из себя гуманиста, максимум что у него получалось: «люди — самый ценный материал». Дальше этой гуманистической формулы он пойти не мог. То есть, конечно, материал, но ценный. А на самом деле он знал, что материал этот абсолютно не ценный, потому что бесплатный.

А.Вишневский. Я не думаю, что кто-то этим процессом психологической подготовки сознательно управлял, это объективный исторический процесс. Я уже говорил о мифологии революции, она порождает огромный подъем. Наполеоновская армия прошла всю Европу на таком подъеме. Вера в миф — это реальность. Язык лозунгов, плакаты, над которыми мы сейчас смеемся, вроде «Не болтай!» — все это воспринималось совершенно серьезно.

Конечно, были несогласные, сомневающиеся, но шла селекция — повсюду, в верхах в том числе. Те, кто не соглашался, отстранялись, отсеивались, уничтожались. Даже если вас не посадили, а просто отстранили от возможности писать, печататься, что-то делать, то и этого достаточно. Государственная машина уже работала определенным образом. И была еще страшная борьба за власть — это тоже не надо забывать. Поэтому когда Сталин боролся с очередным своим врагом, то он его обвинял во всех грехах от имени общества. Понятно, что вся экономика, вся жизнь были подчинены страшному мобилизационному напряжению. И оно до сих пор у нас сохранилось.

Л.Радзиховский. Но как только появляется демократический режим, все меняется. Попробуй в Думе скажи: «Для того чтобы быть великой державой, давайте отменим отсрочки от армии, увеличим — в разы! — налоги, запретим выезд за границу...» Да разорвут!

Д.Дондурей. Если говорить о культурном коде, который мы обсуждаем, получается, что тяжелее было бы с победой «при чистых туалетах»... «Чистые туалеты» не допустили бы такого тоталитаризма, государственного насилия...

Л.Радзиховский. Почему? По-другому бы готовились, по-другому бы воевали.

Д.Дондурей. Известно же, что немцы взяли Данию без единого выстрела. Не хотели датчане умирать, они свои туалеты ценили.

Л.Радзиховский. Да, но бессмысленно было и сопротивляться.

Д.Дондурей. Получается, что наш тоталитаризм — пусть и в союзе с западными демократиями — спас человечество от страшного врага? Обобщения тут сокрушительно опасны. Они могут стать безотказным оружием в руках тех, кто сегодня спекулирует на недовольстве людей, уверяя их, что сегодняшних врагов — бедность, преступность, терроризм — можно победить только с помощью сильного кулака. Жестокости. Возвращения к Сталину.

А.Вишневский. Да, эта опасность — реальная, хотя общество постепенно меняется. Тогда главная пропагандистская идея заключалась в том, что мы осаждены врагами: «Утес, окруженный океаном буржуазных государств», — повторял Сталин свою давнюю речь в фильме «Клятва». И хотя, как уже говорилось, вместе с «буржуазными государствами» мы и выиграли войну, сразу после Победы надо было снова от них отгородиться — тогда-то и появил-

ся этот фильм. Конечно, не все верили этим заклинаниям, но большинство верило, было зомбировано пропагандой. И если что и важно понять, так это причины такой восприимчивости к пропаганде — тогда. И — сохраняется ли эта восприимчивость теперь. Я думаю, что тогда эта восприимчивость была связана с доверием к власти, от которой — вопреки тому, что утверждает Леонид, — масса людей получила очень много. Или, во всяком случае, так им казалось. Недавно я видел, как по телевидению выступала актриса и, одновременно, депутат Думы.

Д.Дондурей. Это Драпеко, она в теневом правительстве коммунистов занимает пост министра культуры.

А.Вишневский. Так вот, она говорила: если бы не советская власть, то ни я, ни мои родители не могли бы получить образование. Может быть, это и мифология, но она отражает то, что произошло. Миллионы людей действительно перешли из одного состояния в другое: крестьяне стали горожанами, неграмотные — образованными и т.д. Скорее всего, это и при другом устройстве жизни случилось бы, это *везде* происходило в XX веке. Но наши люди связывают эти перемены с социалистическим строем, при котором это случилось у нас. В этом смысле люди в войну на самом деле сражались за себя, за свои интересы.

Л.Радзиховский. Да, это то же самое, что и «лампочка Ильича»: люди искренне верили, что электричество придумал Ленин. Ведь фактически в деревнях электричество и радио появились при коммунистах.

А.Вишневский. Сейчас эта вера тоже сохраняется у многих, но все же, повторюсь, мне кажется, что, удаляясь от той эпохи, общество меняется, в частности, становится и менее восприимчивым к мобилизационной мифологии. Хорошо это или плохо? Современное обращение к урокам Победы как будто призвано хотя бы отчасти восстановить былую мобилизационную готовность — разумеется, не только в военном смысле. Но вот здесь-то и возникает вопрос: была ли эта готовность и ее результаты реальными или мифологическими. Нужно ли беречь миф о Победе, созданный тем, кто объявил себя ее главным организатором (напомню, кстати, что после Победы почти все окружавшие Сталина ключевые фигуры военных лет мгновенно были либо уничтожены, либо отодвинуты в тень), или следует кардинально переосмыслить то, что произошло шестьдесят лет назад.

На этот счет есть разные точки зрения, и это неудивительно. Жизнь продолжается, а кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее, — не нами сказано. Но именно поэтому общество должно сохранять бдительность. Нашему национальному самолюбию может льстить подретушированная картина славного прошлого. Однако преувеличение своих успехов в прошлом не позволяет извлечь из него правильных уроков и ведет к поражению в будущем.

Д.Дондурей. И все-таки вопросы остаются. Может ли цена Победы быть беспредельно высокой, измеряться решимостью «мы готовы на любые жертвы»? Или только через величину потерь и меру страданий определяются масштаб трагедии и значение Победы? Как меняются в античеловеческих условиях повседневные человеческие отношения, мотивы поведения, всегда мучительная связь с государством? Каким образом человек реализует навык самосохранения, когда он сталкивается одновременно с насилием «чужих» и «своих»? И еще: а жив ли сегодня на нашей территории тот культурный код, который позволил выиграть эту очень Большую Войну?

Три миллиона метров войны

К 60-летию Победы в Союзе кинематографистов России открылась фотовыставка «Фронтовым кинооператорам посвящается». Это собрание уникальных фотографий, сделанных на фронтах Великой Отечественной.

Все события войны, которые мы сегодня видим на кино- и телеэкранах, — результат их военных съемок. Тогда каждый кадр, снятый ими, был на вес крови — каждый пятый из 252 фронтовых кинооператоров погиб, почти все оставшиеся в живых ранены или контужены. Сегодня каждый кадр войны — на вес золота.

Они оставили нам в наследство три миллиона метров военной хроники — зримую память войны. Как показала послевоенная история документального кино и телевидения, это богатство неисчерпаемо и продолжает раскрывать историю войны, событий и судеб, являя нам все новые грани, помогая понять значение тех героических 1418 дней.

Стенды с фотографиями фронтовых кинооператоров экспонировались и ранее, но такую масштабную фотовыставку удалось представить впервые. Основу ее составила коллекция Музея кино, полученная им в наследство от разоренной Центральной студии документальных фильмов. Нам удалось собрать и фотографии неизвестные или малоизвестные ранее. Их привез из Таллина один из пяти оставшихся в живых фронтовых кинооператоров Семен Школьников, еще один — Михаил Посельский — прислал из США вместе с рукописью своей книги, многое передала с оказией из Минска режиссер Маргарита Касымова, многое нашли в семейных архивах жены и дети тех, кого уже нет с нами.

Мы не могли представить всех фронтовых операторов. Во-первых, у нас бы не было места, где мы могли бы разместить такое количество фотографий, во-вторых, не было времени отыскать их (выставка готовилась месяц с небольшим) и, в-третьих, найти фотографии всех 252 кинооператоров, скорее всего, практически невозможно.

Но среди представленных в экспозиции — последнее фото Семена Стояковского: в этот день, 12 апреля 1945 года, в боях за Вену он погиб; последнее фото Виктора Муромцева — за несколько секунд до гибели при съемке танковой атаки недалеко от Триеста 30 апреля 1945 года.

Мы впервые скомпоновали выставку по принципу хронологии, следуя за ходом событий — от года к году войны, и получили совершенно неожиданный эффект: события выстроили не только историческую, но и эмоциональную драматургию выставки. За отдельными фотографиями вдруг стал угадываться весь ход войны — пусть не в последовательной связи событий, а в неуловимой смене настроений.

Сегодня от этих лиц невозможно оторвать глаза.

Джемма Фирсова

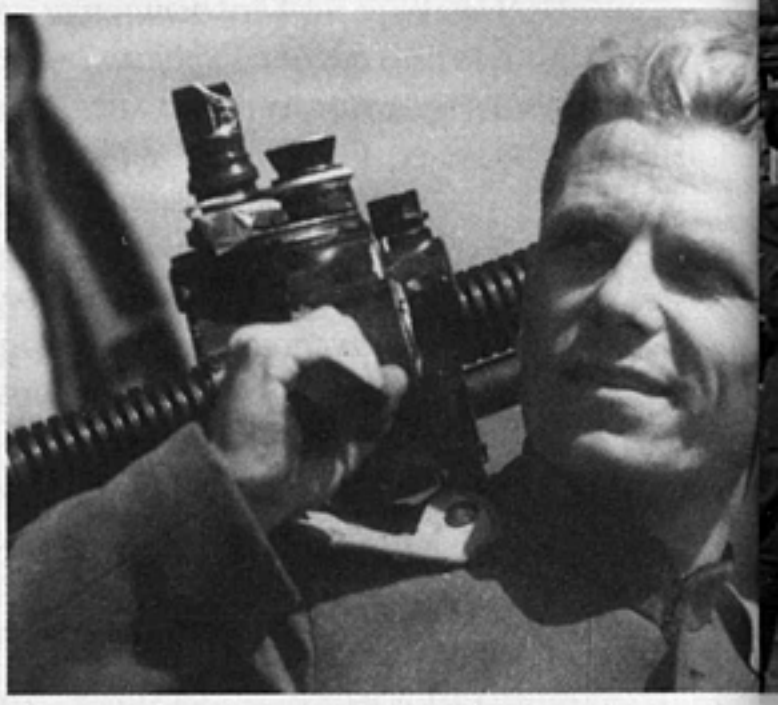
Материалы номера иллюстрированы фотографиями с выставок «Фронтовым кинооператорам посвящается» (СК России, май — июнь 2005 года), «Посвящение» («Новый Манеж», май 2000 года), а также снимками из личного архива Владислава Микоши.

Выражаем благодарность Джемме Фирсовой.

Оператор И.Сокольников. Австрия. 1945

Группа фронтовых операторов

Оператор Л.Аристакисянц и режиссер В.Беляев. Будапешт. 1945



Оператор Е.Яцун

И.Хейфиц, А.Зархи, В.Микоша, М.Ошурков и М.Посельский на съемках подписания капитуляции Японии на линкоре «Миссури»

М.Посельский. Берлин. 1945, май

Группа операторов по дороге на Южный фронт. 1941, 24 июня

А.Кричевский и Е.Халдей в районе Туапсе. 1942

Группа операторов, снимавшая Сталинградскую битву

Б.Соколов, М.Посельский и Р.Кармен. Берлин. 1945, апрель

В.Муромцев за несколько секунд до гибели. Югославия. 1945, 30 апреля

Р Е П Е Р Т У А Р

«Солнце», режиссер Александр Сокуров

ТАТЬЯНА МОСКВИНА

Одиночество совершенства

Если бы в жизни Александра Сокурова было место случайностям, то и неуспех «Солнца» у членов жюри Берлинского фестиваля 2005 года нетрудно было бы объяснить как сплетение превратностей. Но Сокуров давно вышел из круга судьбы и случая, он существует в полях других напряжений. «Солнце» проигнорировали так же, как в одном эпизоде фильма американские фотографы проигнорировали японского императора, когда тот соизволил выйти: ну, не может в их представлении император ужасной и воинственной державы так выглядеть. А русские не имеют, видимо, права делать картины о чем-либо, кроме как несчастной родины. Русский режиссер, снимающий фильм об историческом столкновении японского и американского сознания, ведет себя дерзко и вызывающе. Вмешивается, что называется, без спросу в разговор старших. Упорно осуществляет одинокий голос русского человека на европейской кинематографической равнине духа. Кроме того, его картина демонстрирует высокий уровень развития всех кинематографических искусств на его несчастной родине. Мастерски отделанный, без лишнего слова сценарий Юрия Арабова, великолепное изображение, фантастический звук, отличные актерские работы, костюмы, бутафория — все без изъянов. Это уже совсем ни к чему. Надо отдать себе отчет: несмотря на новые времена, Россия по-прежнему ощущается Европой *как угроза*. Изысканно вежли-

«Солнце»

Автор сценария **Ю.Арабов**
Режиссер и оператор **А.Сокуров**
Художник **Е.Жукова**
Композитор **А.Сигле**
В ролях: **Иссэй Огата, Роберт Доусон, Каори Момои, Сиро Санно и другие**
«Никола-фильм», Proline-Film, Downtown Pictures, MACT Productions, Riforma Film при поддержке Федерального Агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации
Россия
2005

вый, усиленно смиренный с виду Сокуров — все равно, в их глазах, варвар и еретик, занятый главным русским делом: экспансией.

И трудно было бы полностью отрицать такое отношение. Русская духовная угроза — не только Европе, всему миру — существует. Пока лишь в немногих, отдельных людях. Высокий уровень художественных притязаний Сокурова, его несомненная дерзость и потрясающая способность концентрироваться на своих задачах — это следствие непрестанной и сильной духовной работы. «Он в черепе сотней губерний ворочал, он взвешивал мир в течение ночи», — сказал поэт Маяковский о вожде Ленине. Сокуров тоже взвешивает мир, ни больше ни меньше. Согласен ли мир встать на сокуровские весы? — это не русский вопрос. Мир будет взвешен, измерен, описан, ему будет поставлен диагноз и назначено лечение, хочет он того или нет. Пусть сто тысяч умников уже на пальцах, как детям, объяснили нам, что искусство никаких познавательных и воспитательных задач выполнять не в состоянии и права не имеет, что этот милый или раздражающий пустячок всего лишь некий аппендикс цивилизации, — Сокуров знай себе тихо улыбается в усы.

Да и есть чему улыбаться. То, понимаешь ли, стоят на трибунах полки откормленных долдонов и вещают, что литература, кино, театр, живопись и т.д. обязаны воспитывать народ. То вместо их появляются полки обдолбанных жуликов, утверждающих — с той же чугунной категоричностью, — что литература, кино, театр, живопись и т.д. обязаны никого не воспитывать. Понятно, их хозяин — отец лжи, им приказано умножать путаницу и подмену. А в случае Сокурова, цена вопроса — вся жизнь. Он тратит на свои фильмы все, что имеет. В том числе и немалый педагогический дар. Потому его картины о вождях XX века — это еще и учебное пособие по психологии не Богом данной власти...

«Солнце», третий фильм Александра Сокурова из задуманной им тетралогии, своим художественным совершенством покорил даже тех, кто был равнодушен к творчеству режиссера; однако некоторые поклонники Сокурова были чем-то раздражены. «Он что, решил снимать *хорошие художественные фильмы?*» — язвительно сказал мне один эзотерический философ, прежде ценивший Сокурова за невнятность, негладкость, личное безумие, неправильность и несовершенство манеры. Нынешняя форма — красивая, блистательно отделанная — его оттолкнула. Между тем философ мог бы не волноваться: совершенство этого фильма специально изобретено именно для этого фильма. Это искусно созданное, стилизованное совершенство — способ *созерцания непостижимого*, взятый Сокуровым на вооружение из японской культуры. В центр картины помещена удивительная фигура — живой человек, он же иероглиф императора. Произведения искусства, придерживающиеся принципа ложной занимательности, предлагают восприятию разгадать и понять нечто, до поры утаенное. Сокуров же ничего не утаивает — разгадки нет, иероглиф не читается, что он означает — неизвестно, изображение, предельно внятное, — непостижимо.

Непостижимо, как весь Божий мир, наполненный Божьими тварями, — и сколько ни созерцай их разнообразие и совершенство, замирая от восхищения, никогда не поймешь, почему тут усики, а здесь полоски, зачем они ведут себя так, а не иначе. Накануне американского вторжения, следуя неколебимому распорядку дня, император в фильме Сокурова занимается научными исследованиями, он — гидробиолог. Но исследования сводятся к тому, что император рассматривает редкого моллюска, награждая его сравнениями и эпитетами, а сомлевший от почтения и, вероятно, голода слуга записывает для потомства эту поэтическую атрибуцию. Столь же внимательно, почтительно, с нарастающим восхищением рассматривает добрый зритель поразительного исторического «моллюска» — японского императора Хирохито. Иронический вопрос бравого генерала Макартура: «И что, вот такие правят миром?» — можно дополнить десятком других. И это — один из главных военных преступников XX века? Это он виновен в гибели сотен тысяч людей? Он управлял чудовищем японского милитаризма? Вот этот — крошечный, с детским тельцем, безукоризненно вежливый и неизменно выдержанный, с оттопыренными губ-

ками, шевелящимися в такт неслышному внутреннему монологу, маленький сумасшедший, намертво изолированный от жизни?

Японский артист Иссэй Огата прекрасен. В каждой сцене Император предстает разным, он меняются, меняется и способ, и масштаб восприятия его, но никогда перемены не будут резкими, карикатурными — все мягко, без подчеркиваний и ненужных усилений, точно в такт мягкому, незаметному монтажу. Зрителя не дергают эффектными склейками, ежесекундной сменой планов — изображение течет плавно, сопровожденное еще и тихим голосом режиссера, читающего русский текст. Эта принципиальная сокуровская тишина, уважительно-старинная игра в «пойми сам», конечно, находится в вопиющем контрасте с аудиовизуальной агрессией современности. Яркие краски, громкие звуки, примитивные слоганы, энергетический напор стали чуть ли не главным свойством, непременным условием современного аудиовизуального товара. «Люди разучиваются воспринимать слабые сигналы, тихие звуки, — говорил как-то Сокуров в одном интервью, — а ведь именно они несут самую важную информацию о мире». Художественная тишина свойственна так или иначе всем картинам Сокурова, но здесь она совпадает с японскими традициями эмоциональной герметичности, постоянной работы с проявлениями личных чувств (конечно, полная противоположность русской традиции!).

О том, что японцы в страхе и отчаянии ждут неминуемой капитуляции, мы узнаем по деталям — то старый слуга свалится в ноги императору с жалобной просьбой есть на ночь лепешки (Его Величество похудел, и, застегивая пуговицы на форменной рубашке, слуга трепещет от скорби и любви); то военный министр покрывается обильным потом, говоря дежурные слова о неслыханно возросшем патриотизме народа, поскольку ничего хорошего сказать не может; то сам император с милой, слабой улыбкой спросит окружающих, что же свидетельствует о его божественном происхождении, когда на его теле даже нет никаких о том знаков? Катастрофа уже произошла, но в распорядке дня императора она не предусмотрена. В этот день ему удалось выполнить четыре пункта — военный совет, научные занятия, дневной сон и письмо сыну. После чего, переодевшись в европейское платье, император отправился к генералу Макартуру, осторожно — видимо, впервые — поглядывая из окна автомобиля на руины своей столицы. Он спокоен — притворяется спокойным — поражен настолько, что впал в аутизм, — не верит происходящему — да попросту безумен, может быть? Может быть...

В том, как Сокуров подает своего Императора, нет гневных, саркастических, презрительных, сатирических интонаций. Перед нами не выскочка, не террорист, не демагог, изнасиловавший землю. Император правит по закону, как прямой потомок богини Солнца, он исполняет волю своего народа, *олицетворяет* ее. Император — полновесное дитя своей изумительной островной культуры — замкнутой, игрушечной, детской, церемонной, великолепной, сложной, изысканной; Япония Сокурова — это Япония духа, сотворившего герметичное чудо на таинственном острове, откуда тут взяться сатире? Ласковая ирония, мягкий юмор — предел возможного отстранения.

Избранная манера рассказа исключает плакатные подсказки. Да, не повесил режиссер на своем герое написанный крупными буквами лозунг «Это — преступник». Не вынес русского приговора, не решился на прямое осуждение. Я больше скажу. Мне кажется, в ходе работы над картиной Сокуров... полюбил императора. Не того, исторического, про которого мало что понятно, а своего чудика, затворника, одинокого ученого и поэта, который обязан исполнять приказы национальной агрессии, волю своего взбесившегося народа и который достойно встречает абсолютное поражение.

Русский культ искренности и справедливости, страсть к прямым значениям и обозначениям не совсем пригодны для восприятия сокуровского «Солнца» — тут скорее требуются доверие и душевная пластичность. Точно ли изображение, следует ли оно исторической правде? Что касается обстановки, среды, вещественных деталей — нет и сомнения. Сокуров дотошен и верит в магию пластического воскрешения. Но это сокуровский император, а потому сверка с оригиналом бессмысленна. Чем убедительнее блистательно

выверенные подробности существования императора, тем сильнее подозрение об их призрачности, символичности. История человека, назначенного быть Богом и постигшего в роковую минуту, что он — не Бог, это ведь не только история конкретного лица, японского императора Хирохито, это метаистория. А именно метаисторию и расследует Сокуров, последовательно осуществляя свою тетралогию.

Власть не от Бога — таково убеждение режиссера. Власть людей над людьми дается людьми. Когда обладатель бренного смертного тела покушается на обладание историей, пространствами, массами во зло людям, его гордыня и мнимое избранничество будут наказаны, в том числе и отчуждением от собственного тела.

Но императору в сокуровской метаистории словно бы вышла... поблажка, что ли. Наказанию тут некуда падать: невозможно казнить иероглиф. Феноменальное отчуждение героя от времени, от судьбы и событий делают его словно бы неуязвимым. Но и не только поэтому для него нет казни.

Индивидуальность императора существует — под толщей мифологизированного сознания есть ручеек его собственных мыслей и чувств. В нем ни страха, ни отчаяния, но живо чувствуются растерянность перед неведомым и огромная усталость. Так устают великие актеры, надорвавшиеся от слишком усердного исполнения большой сложной роли. Бомбардировку Токио он представляет как феерическую картинку из японской сказки, где гигантские рыбы носятся, роняя детенышей, над полыхающей огнями водой. Но в альбоме с фотографиями семьи припрятано заветное — снимки знаменитых голливудских актеров. Император разглядывает их, дивясь: чем-то притягательна для него эта чужая, американская сказка. В которую ему предстоит попасть.

Американцы появляются в «Солнце» как нечто невероятное и неотвратимое. Когда император выходит из резиденции, чтобы отправиться к Макартуру, на его газоне двое дюжих молодцов ловят «райскую птицу». Они обыкновенного американского роста, отчего все вокруг кажется крошечным, игрушечным. Птица убегает и несколько раз жалобно-возмущенно кричит. Через некоторое время произойдет невероятное — императору придется самому открывать и закрывать двери. «Это у вас слуги, а у нас слуг нет», — скажет ему надменный «свободный мир». Уперев руки в боки, генерал Макартур (Роберт Доусон) насмешливо посмотрит на сумасшедшую марионетку в нелепом цилиндре.

В первую встречу генерал не сомневается, что «главный военный преступник — невменяем». Хотя ничего безумного император не делает и не говорит. Он просто не соизмеряет свои слова с обстановкой, не учитывает собеседника. Переводчик японец (Георгий Пицхелаури) с ужасом смотрит на падение «Солнца», но само «Солнце», будучи в униженном положении, унижения не чувствует. Абсолютная самодостаточность сопряжена в нем с таким же абсолютным достоинством, невольно внушающим род уважения. Даже во время фарсовой сцены позирования американским фотографам, когда, обнаружив сходство таинственного императора с маленьким бродягой Чаплина, они непочтительно кричат «Встань сюда, Чарли!», он вне суеты, вне пошлости. Император выполняет предначертанное, идет своим путем, как положено солнцу. Во вторую встречу генерал Макартур изменит свое мнение об императоре и вообще несколько сбавит безапелляционный тон высшего судьи.

Оказавшись в европейском пространстве, в нарядном особняке, где свечи горят в высоких подсвечниках, а пища подана на старинном фарфоре (обстановка в резиденции императора аскетична, еда скудна — судя по тому трепетному изумлению, с которым воспринимают слуги американский подарок, ящик шоколада «Херши»), Император производит впечатление умного и глубокого собеседника. Хотя реакции его замедленны (никаких спонтанных проявлений, все следует обдумать, взвесить и только потом сказать веско и красиво свое драгоценное императорское слово), он понимает, что ему говорят. Его реплики отточены и остроумны, а непроницаемые черные глаза подозрительно и напряженно впиваются в глаза врага. Тут понимаешь, как посмел крошечный Остров бросить вызов Миру — оттого и посмел, что он этого Мира не знал, не понимал и не принимал. Духовная изоляция придает огромную си-

лу, тая в себе в то же время величайшую опасность, поскольку противник до такой степени неведом и непостижим, что о победе, в сущности, и речи нет. В эстетике подобного самоосуществления наилучший выход — героическая, красивая смерть.

Однако император и сам остается в живых, и подданных удерживает от смертельных жестов. Постепенное проявление и накопление человеческого — через унижение — размывает строго очерченную маску, размыкает рамки вековых ритуалов. Отлучившись, генерал Макартур, незамеченный императором, при возвращении с улыбкой наблюдает, как тот ребячески шалит, гася свечи, танцуя на воображаемом балу. Кажется, Макартур понимает тут, до чего одинок и несчастен этот человек, как он измучился, устал воплощать, соответствовать, изрекать... И когда император, завершая свою японскую сказку, принимает решение отречься от божественного происхождения, он получает классическую награду: из укрытия к нему возвращается жена.

На русский взгляд эта сцена имеет комедийный оттенок — невозможно представить, чтобы русский муж, какой бы он пост ни занимал, не ринулся к любимой жене после разлуки. Но здесь — японский театр во всей красе, на все есть манера, все чувства обязаны пройти строгий контроль, все жесты размерены и упорядочены. На островах прошедшему времени некуда деваться, и оно сворачивается в узлы традиций; может, оттого островная жизнь так тяготеет к консервации, к выделке формы (маленькому пространству не выдержать, не вместить объем новизны). Законченность формы завораживает, особенно континентальные бесформенные нации (Россия и Америка в их числе), Япония завораживает, сокуровский иероглиф императора завораживает — приятно, когда предельная ясность формы непонятна, непостижима в сути. В конце фильма так же ясно и непостижимо будет стоять в черно-синем небе луна...

В отличие от «Молоха» и «Тельца», «Солнце» обладает щегольской, самодовлеющей красотой. Специальный химический способ обработки изображения придал картине рембрандтовский колорит — ни одной кричащей, грубой краски, поразительное разнообразие тускло-благородных бликов и оттенков. Кадры можно рассматривать отдельно и любоваться ими, но эта красота не в японском духе и вкусе. Сокуров Японию любит и чувствует, но не подражает формам и приемам японского искусства. Его портрет императора на фоне поражения — не японский, а сокуровский.

Так или иначе, одинокий страдающий человек — специальность Сокурова. Его предмет — художественный, философский, педагогический. Более одиноких людей, чем вожди XX века, трудно себе представить, и Сокуров исследует их исковерканную душу, их вызывающее существование, их духовную изоляцию не без пристрастия. Гитлер взят им в минуту отдыха, Ленин — в болезни, Хирохито — в миг поражения. (Кстати сказать, выясняется, что Гитлер не способен отдыхать, Ленин не смиряется с болезнью, а Хирохито не осознает поражения.) Все эти люди не ничтожны, они — необычны, необычайны. На каждом шагу не встретишь, даже в истории такие редко попадаются. И самооценка, и уровень притязаний у них титанические — да только они сами далеко не титаны. Неизвестно, какие даймоны к ним слетали, какие потусторонние дудочки пели и какими ветрами в эти злосчастные головы надуло столько гордыни. Впрочем, возможно, вожди XX века концентрировали в себе главный источник войн — агрессию масс, об этом очень убедительно напомнил недавно неигровой фильм Ивана Твердовского «Большие игры маленьких людей». В любом случае эти белковые тела слишком много взяли на себя. Этого людям — не положено.

Но император-то сокуровский понял это. Его отречение от божественного происхождения — отречение от проклятой миссии. Из-под зловещей, жестокой маски властителя Острова выглядывал забавный, инфантильный вроде бы человеческий зародыш — а потом он взял да и свергнул тяжкую маску. «Я не Бог»! — сказал себе и людям счастливый наконец-то человек...

Я предложила читателю всего лишь собственное прочтение Иероглифа.

НИНА ЦЫРКУН

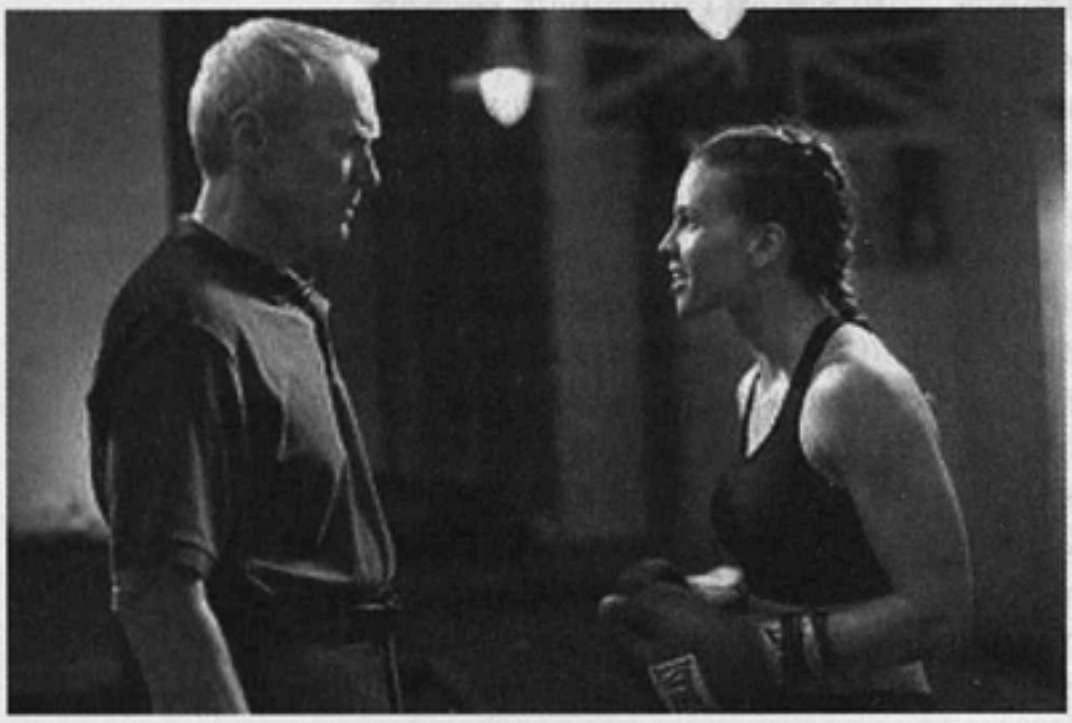
Ересь простоты

Его фильмы такие же мускулистые и «поджарые», как и он сам. Ничего лишнего, ни грамма лишнего веса. Все в точку, все в дело. Те, кто поспешил назвать «Малышку на миллион» спортивной драмой, ошиблись. Это фильм не о спорте; точнее — о спорте в той мере, в какой спорт — это сама жизнь. Неизвестно, какова мера реального, то есть имевшего место в действительности, заключается в книге менеджера профессионального бокса Джерри Бойда, в семьдесят лет написавшего книгу «Обжигающие канаты. Истории из угла ринга», вышедшую под псевдонимом Ф.Х.Тул. Возможно, сама коллизия и придумана (хотя зачем тогда скрываться под чужим именем?), но жизненной правды там наверняка немало.

Клинт Иствуд, экранизировавший эту книгу, всю жизнь играл в фильмах мужского действия, потом снимал фильмы мужского действия. В последние годы он снимает фильмы о смерти. Или — о жизни перед лицом смерти. То есть о смысле жизни. «Смерть — это выстрел в упор», сказал Пьер Паоло Пазолини. Не берусь сказать, что имел в виду классик. По-моему, речь идет вот о чем: что бы мы ни успели навоображать себе по поводу смерти, она придет неожиданно, и нельзя предсказать, что именно мы успеем о ней подумать и понять в самую последнюю минуту. О смерти, как о финале, апофеозе жизни.

Трудно снять фильм о смерти, тем более о смерти молодой женщины, не успевшей вроде бы и пожить-то по-настоящему, то есть, с точки зрения обыденного смысла, полюбить, нарожать и вырастить детей, — без сантиментов. Снять строго, даже сурово.

Двадцать пятый фильм Клинта Иствуда как режиссера стал лучшим в его карьере. Даже на фоне такого



«Малышка на миллион»
(Million Dollar Baby)
По книге Ф.Х.Тула «Обжигающие канаты. Истории из угла ринга»
Автор сценария **Пол Хэггис**
Режиссер **Клинт Иствуд**
Оператор **Том Стерн**
Художник **Генри Бамстед**
Композитор **Клинт Иствуд**
В ролях: **Хилари Суонк, Клинт Иствуд, Морган Фримен**
Warner Bros., Lakeshore Entertainment, Malpaso Productions, Albert S.Ruddy Productions
США
2004

бесспорного шедевра, как «Таинственная река», принесшего двум его актерам — Тиму Роббинсу и Шону Пену — по «Оскару». «Малышка на миллион» тоже принесла по «Оскару» двум актерам — Хилари Суонк и Моргану Фримену, — и еще два были получены в номинации «Лучший фильм», а также самый ценный — «За режиссуру».

«Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту», писал Пастернак. Вот Иствуд и впал. История рассказывается от лица Эдди Скрэпа (Морган Фримен) — сухо, строго по фактам, и голос звучит почти без интонаций, без акцентов, низко, хрипловато. Этот голос рассказывает о том, как девушка (уже не слишком молодая, за тридцать), приехавшая с берегов Миссури в Лос-Анджелес, приходит в спортзал, чтобы упросить Фрэнки (Клинт Иствуд) сделать из нее боксера, как он не соглашается, а она настаивает, как он потом сдается, готовит из своей ученицы претендентку на чемпионский титул, как она получает смертельную травму на ринге, оказывается безнадежно прикованной к больничной койке и умоляет тренера отключить ее от аппарата искусственного дыхания, как он не соглашается, а потом сдается.

Итак, это фильм не мужского действия, но в том, что заглавная героиня — боксерша, нет ничего экстравагантного; бокс сегодня у женщин в большой моде. Другое дело, что она-то стремится на ринг не в погоне за модой.

В этой «спортивной драме» вообще на редкость мало действия, игра актеров низведена до абсолютного минимализма. В таком же минималистском ключе написана Иствудом и партитура: отрывистые, тяжело падающие, как крупные, медленно растекающиеся капли, звуки фортепьяно словно бесстрастный метроном, отсчитывают время экранного действия, время движения к концу. Самые важные сцены в картине — самые статичные. В сущности, весь фильм — цепь стазисных эпизодов, невероятно усиливающих молниеносный, резкий, взрывной решающий момент, когда Мэгги Фицджералд получает внезапный убийственный удар на ринге от своей соперницы. Взять, например, эпизод разговора Мэгги и Скрэпа в буфете, во время которого тот рассказывает девушке о том, как ослеп на один глаз. Скрэп, как всегда, лаконичен и скуп на жесты, и никакой видимой реакции от Мэгги: ни словечка, ни кивка, ни «понимающей» или «сочувствующей» мимики — только неотрывный взгляд в глаза. Или другой эпизод, когда Фрэнки спрашивает у Скрэпа, чего это он не сменит дырявые носки, а тот отвечает, что он в них спит, а днем и так не видно, что они дырявые, — эта вроде бы бессмысленная словесная перепалка длится очень долго, больше минуты экранного времени. Или еще эпизод, когда Мэгги и Фрэнки едут в машине после встречи с ее семейством, завершившейся так неудачно. Мэгги, чье детство прошло в трейлере, заработав первые деньги на боксе, исполнила детскую мечту — купила матери и сестре с ее ребенком дом. Но мать недовольна — из-за этой нежданно свалившейся на нее собственности она может лишиться пособия. «Над тобой все смеются!» — зло бросает она дочери, а та, хоть и боксерша, с унылым послушанием проглатывает обиду. А по дороге назад в машине она рассказывает Фрэнки историю, которая трагической рифмой отзовется в финале, про отца и любимую собаку, ставшую немощной и зарытой отцом возле трейлера. «У меня никого нет, кроме тебя, Фрэнки», — говорит она. И в этой сцене — никаких обычных в таких случаях «мистических» скользящих по лицам персонажей цветных огней, только свет и тень, так искусно использованные в «Таинственной реке», чаще тень, в которой их лица пропадают, и слышны только голоса, попадающие в ритм этой визуальной «партитуры».

Как в «Полночи в саду добра и зла», как в «Таинственной реке», здесь преобладают ночные сцены, общие планы — ни одного крупного. И диалоги такие же «общие» — речь идет о простых, обыденных вещах, вроде дырявых носков, но на фоне этого повседневного хлама вырисовываются характеры и судьбы. «Сколько весит твоя дочка?» — спрашивает Мэгги, вместо того чтобы спрашивать о том, почему дочь возвращает отцу письма нераспечатанными.

Камера начинает движение к лицам персонажей лишь в финале, когда Фрэнки должен вот-вот сделать то, о чем просила его Мэгги. Вот-вот мы увидим их лица вблизи — но нет: камера с полпути начинает движение назад,

и самого главного мы не увидим. Ничего лишнего: эллиптический выпуск оставляет нас наедине с собой, а не с героями, их нужно оставить одних. Мудрый Иствуд не стал терзать наши нервы сценой агонии, как это сделал Алехандро Аменабар в такой же ситуации.

Тем не менее все, что необходимо, мы узнаем от первого лица. «Я получила все, что хотела. Получила все... Не дай мне забыть это. Не отбирай это у меня», — говорит Мэгги, и против такого аргумента Фрэнки нечего возразить. Он знает, что значит потерять все; видимо, сам он пережил момент, с которого начался путь вниз, и не может желать того же пути для Мэгги. Его собственной тайны мы не узнаем, известно лишь, что уже двадцать три года — именно с такой точностью — он каждое утро ходит к мессе и донимает священника неудобными вопросами, приводя его в ярость. Не узнаем мы того, почему он учит гэльский язык и не расстается с книжкой ирландских стихов. Но на ринг в Ирландии Мэгги выходит в шелковом изумрудном халатике, а он в зеленой куртке — это дань уважения национальному цвету Изумрудного Эрина. Зрители приветствуют девушку криками: «Ма кушла!» Мэгги несколько раз спрашивала Фрэнки, что значат эти слова, тот отмалчивался. Ответ прозвучал только в финале: «Ма кушла» означает «моя кровь». Это был ответ и на фразу Мэгги, сказанную в машине: «Ты напоминаешь мне отца». Только отец, признавший родство, мог пойти на такой шаг, только очень любящий человек, не боящийся взять на себя ответственность за судьбу дочери.

Это не значит, что он не станет себя казнить за то, что с ней случилось. Голос Скрэпа сообщает нам о том, что больше он Фрэнки не увидел; на экране — его тающий смутный силуэт за матовым стеклом ресторанчика.

Фрэнки сделал из Мэгги боксера, ринг довел ее до смерти, но он, как самый близкий и родной человек, всю вину берет на себя. «Я убил ее!» — выкрикивает он Скрэпу, и мы видим то, чего не видели никогда, — слезы на лице Клинта Иствуда. «Ты дал ей шанс», — парирует Скрэп. Он дал ей шанс исполнить свою мечту, выбраться из ямы, перестать быть отребьем. Она использовала этот шанс до конца, она сполна выполнила свое жизненное предназначение. Ушла с ринга непобежденной, наказала боксершу с репутацией убийцы по прозвищу Синий медведь. Почувствовала себя человеком. Обрела отца. Забыть все это, неуклонно превращаясь в растение на больничной койке? Ну уж нет[1].

В последние годы появилось немало фильмов об уходе из жизни. Наблюдали мы оптимистичный, жизнеутверждающий франко-канадский вариант — «Нашествие варваров» Дени Аркана, эксцентричный английский — «Последняя воля» Фреда Скеписи, последовательно убеждающий в праве каждого на эвтаназию испанский — «Море внутри» Алехандро Аменабара. Самым трагичным оказался американский, победивший на оскаровском ристалище своего главного соперника — «Авиатора» Мартина Скорсезе, по всем параметрам стопроцентно американскую картину. А Клинт Иствуд, живое воплощение самого традиционного, почвенного американизма, представил фильм, самым неожиданным образом переворачивающий все представления об американизме, американской этике и голливудском кино, прикрыв свое беззащитное детище ироничной этикеткой «Малышка на миллион». Впрочем, удивляться нечему: просто он прошел свой путь четкого представления о морали и границах кино до логического конца, утверждая в фильме «немужского» действия «адамистические» ценности мужественного отношения к жизни. И, само собой, к смерти. Как ее неотъемлемой части.

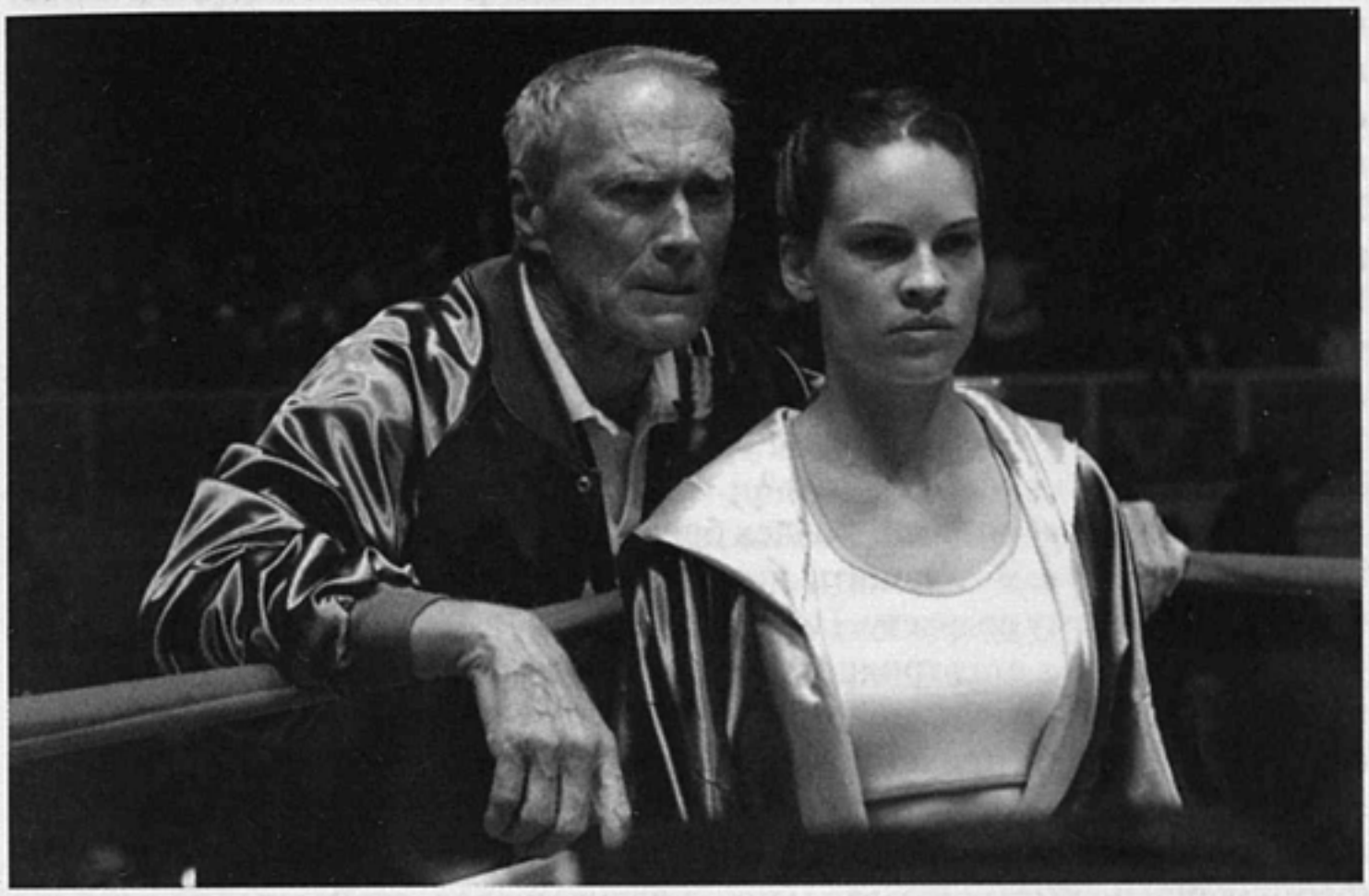
---

[1] Вскоре после выхода на экраны Америки «Малышки на миллион» в Америке разгорелся скандал в связи с судебным решением штата Флорида об отключении от питательной трубки Терри Шьямо, пятнадцать лет пребывавшей в коме. Президент Буш в экстренном порядке издал закон, запрещающий прерывание искусственного поддержания ее жизни. На экране телевизора на разных каналах весь вечер мелькало бессмысленное лицо Терри, с которой проводила какие-то манипуляции сиделка. Вряд ли кто из здравомыслящих людей захотел бы, чтобы его законсервировали в таком виде во имя химеры, которой иной раз становится жизнь. Сильно обострилась эта проблема благодаря достижениям медицины. Мне в таких случаях вспоминается модернизированный парафраз евангельских заповедей, еще в XIX веке предложенный британцем Артуром Клафом: «Ты не убий, но и не лезь из кожи, чтобы в живых оставить тоже». Гуманизм — понятие явно относительное.

КЛИНТ ИСТВУД:

«Зритель ничего не должен знать»

БЕСЕДУ ВЕДЕТ ЭМИ ТОБИН



Эми Тобин. Ваш голос по телефону намного моложе, чем тот, что мы слышим в фильме «Малышка на миллион». Он вообще сильно отличается от всех тембров вашего голоса в кино.

Клинт Иствуд. Это зависит от того, какую роль я исполняю на этой неделе. Но обычно это все тот же старый я.

Эми Тобин. «Малышка» — один из самых сильных и пронзительных фильмов в вашей режиссерской карьере. В частности, это картина о разочаровании в жизни, которое человек не в силах осознать до конца. Какое чувство вы хотели вызвать у зрителя в финале фильма?

Клинт Иствуд. Ответить на этот вопрос не менее сложно, чем сделать фильм. Да, мой герой утратил душевные силы. Он не смог создать семью и более не настроен вступать с кем-нибудь в длительные отношения. Героиня Хилари Суонк становится для него кем-то вроде «суррогатной дочери». Она возвращает ему силы, помогает преодолеть бремя возраста. Ее желание подняться со дна жизни и достигнуть успеха прекрасно знакомо и самой Хилари, выросшей в бедноте. Хотя ее мечта стать боксером и таким образом самоутвердиться, найти свое место в мире кажется наименее очевидной, не совсем традиционной. Скрэп, герой Моргана Фримена, тоже мечтал о славе боксера. Но он так и не стал тем, кем мог бы стать. Хотя, несмотря на поражение, ему все равно удалось сохранить веру в людей: он помогает и симпатизирует даже тому умалишенному парню, которому, что очевидно, в боксе ничего не светит. Когда происходит трагедия, Фрэнки должен пройти через самый тяжелый поединок в его жизни. Чем он закончится — неизвестно. Никто не может знать, как поступил бы в его ситуации. И я тоже не знаю. Тут не может быть никаких гипотез.

Эми Тобин. Если перед вами никогда не стоял подобный выбор, как вам удалось вжиться в своего героя? Какие средства вы для этого использовали?

Клинт Иствуд. Для меня процесс работы над ролью всегда одинаков. Меня-

ются только обстоятельства, в которых предстоит существовать и мне, и моему персонажу. Не слишком трудно было представить себе, что чувствует и ощущает мой герой. Думаю, что благодаря воображению можно поставить себя на место почти каждого человека. За свою жизнь я видел много взлетов и падений — их хватило и на эту роль, хватит и на десять других. Прочтя сценарий, я сразу же, не раздумывая, взял себе роль Фрэнки. Что касается выбора других актеров, я знал, что у Моргана не возникнет никаких трудностей с его героем. Я всегда восхищался ролями Хилари, даже теми, которые не были столь яркими, как в картине «Парни не плачут». Она приносит на экран особую личностность, реалистичность, достоверность. Очень целеустремленный человек, Хилари работала без продыха, тренируясь по четыре часа в день в течение четырех месяцев, набрав мышечную массу и около восемнадцати фунтов веса. И стала *этим* человеком, малышкой Мэгги. Мы все стали теми, кого играли.

Эми Тобин. На вашей съемочной площадке актерам позволено выходить из роли?

Клинт Иствуд. Я всегда держу персонаж в себе, хотя могу параллельно думать совершенно о других вещах. Да и вообще, персонаж уже должен находиться внутри тебя, даже если ты не приступил к исполнению роли. Это как в театре. Разница только в том, что в кино нужно входить в роль по сотне раз в день.

Эми Тобин. Вам нравится играть?

Клинт Иствуд. Знаете, да. Я боялся бросить актерство, но, возможно, такой порыв был механизмом защиты, потому что не так уж много хороших ролей, подходящих моему возрасту. Поэтому я лучше буду стоять за камерой. Причина, по которой я стал тридцать семь лет назад режиссером, была в том, что я думал, что мое присутствие на экране когда-нибудь станет непереносимым. Мне казалось, придет момент, когда, глядя на меня на экране, кто-то — или я сам — скажет: «Всё. С него хватит. Достаточно». Я получил потрясающий опыт, режиссируя «Таинственную реку» и не участвуя в ней как актер. Но Фрэнки сильно заинтересовал меня, я почувствовал, что смогу справиться с ним.

Эми Тобин. Роли, сыгранные вами за последние десять-пятнадцать лет, невольно воспринимаются в контексте вашей классической харизмы. Очень интересно, как возраст повлиял на ваш образ. Этот аспект превращает, скажем, «Кровавую работу» в нечто большее, чем просто триллер. Если бы вы начинали как возрастной острохарактерный актер, то такого эффекта не было бы. Каждая ваша работа, и актерская, и режиссерская, становится частью авторского проекта под названием «Клинт Иствуд». Что вы думаете об этом? Наверное, требуются огромные усилия, чтобы продолжать двигаться вперед, зная, что всякий раз тебя будут сравнивать с неким стереотипом.

Клинт Иствуд. Тут мне помогает либо упертость, либо мужество. Я стараюсь быть реалистом. Если и есть какие-либо преимущества у одного возраста перед другим, то это знания и опыт. Можно сказать: «Да, сорок лет назад я был тем парнем, который бегал с пистолетом в руке». Не в том дело, что сейчас я на это не способен, а в том, что это будет неправильно. Правильно играть то, что соответствует твоему возрасту и нынешнему состоянию. Я был рад специально состариться для роли в «На линии огня», но теперь пора признать, что действительно стареешь и будешь продолжать в том же духе. Конечно, я могу покрасить волосы и заявить, что мне снова тридцать пять. Но куда лучше воспользоваться преимуществом возраста и сыграть Фрэнки, человека, наделенного уличной, неписаной мудростью.

Эми Тобин. Как проходила работа над этим образом?

Клинт Иствуд. Поначалу мы много и долго размышляли над характерами героев, обсуждали их. Но в какой-то момент понимаешь, что нужно быть органичным. Когда перестаешь беспокоиться по поводу исполнительской техники, когда отстраняешься от реплик, написанных для твоего персонажа, начинаешь сознавать, что нужно искать героя в себе и пытаться вытащить его наружу. Это органичная форма искусства. Речь не о том, что актеры не должны

мыслить. Я играю постаревшего человека. Значит, мой голос становится другим — как и движения, и пластика. Все физическое состояние трансформируется — одновременно с тем, как развивается, раскрывается история. Чем больше мой герой сталкивается с неодолимыми препятствиями, чем труднее решения, которые ему суждено принять, тем больше он изменяется. Пока не становится другим человеком.

Эми Тобин. Сейчас вы рассуждаете как актер. Но как договариваются между собой актер Иствуд и режиссер Иствуд? Как вы контролируете свою игру и режиссуру в те моменты, когда находитесь в кадре?

Клинт Иствуд. Это самое трудное: быть в образе и контактировать с другими актерами, точнее, с их героями, и при этом удерживать себя от режиссерской критики исполнителей, не вмешиваться в процесс игры, в которой участвуешь сам. «Почему она кривит рот? Зачем эти эмоции?» Нужно быть сдержанным. Иначе даст о себе знать эффект «стеклянных глаз», излишне жестокого, холодного взгляда со стороны, появится равнодушная дистанция и будет сложно проникнуть внутрь сцены так, как она того требует. Но все сцены – разные. Иногда нужно, чтобы ты вел себя так, как в обычной жизни, требуется простое, но слегка озабоченное присутствие в кадре. В иных случаях нужно нажимать, давить на себя, спускаться на самое дно сцены, находиться там с другими актерами и при этом не думать о камере, забыть о ее присутствии. Такой профессиональный опыт приходит с годами. Когда я только начал ставить фильмы, мне было необходимо в них сниматься. А потом пошло-поехало — я продолжал играть в собственных картинах, потому что актеры, которых я хотел бы снимать, или были недоступны, или к тому моменту уже ушли из жизни. Обстоятельства определили такой путь. И вот мне уже семьдесят. И я по-прежнему у станка. До сих пор есть вещи, которые меня волнуют. Я благодарен за это судьбе.

Эми Тобин. В «Малышке» все актеры показывают превосходные результаты...

Клинт Иствуд. Моя цель состоит в том, чтобы все звучало так, будто произносится впервые. Для меня важно первое звучание, и я всегда стараюсь запечатлеть его. Конечно, не всегда можешь добиться идеального результата с первой попытки. Но она всегда является для меня показательным моментом, который определяет дальнейшую работу. В зависимости от первого дубля иногда приходится менять ритм, темп сцены, убирать в тень те вещи, которые раньше стояли в центре, и, наоборот, высвечивать те, что находились на периферии. При этом нет единого стиля, которому подчинялись бы все сцены. И нет никаких непреложных правил. Правило в том, чтобы не ограничивать себя в средствах. Самое главное — понимать людей, с которыми работаешь. И создать такую атмосферу, в которой все чувствовали бы себя легко и свободно.

Эми Тобин. Почему вы так долго шли к тому, чтобы самому написать всю музыку к фильму? Вы сделали это только на последних двух картинах.

Клинт Иствуд. Я написал несколько тем к «Непрощенному», к «Мостам округа Мэдисон» и «Натянутому канату». Вне зависимости от того, пишу ли я музыку к фильму, или нет, для меня всегда очень важен темп картины, темп каждой сцены. И если я приглашаю композитора, то такого, который тоже чувствует музыку ленты.

Эми Тобин. Что вы думаете о женском боксе? И о боксе вообще?

Клинт Иствуд. Когда я рос, чемпионом по боксу был Джо Льюис. Я восхищался им. Мальчишкой я считал, что бокс — прекрасное занятие. Когда работал в кино, то тренировался. Это интересный спорт. Мне нравится, когда он хорошо сработан. О женщинах в боксе ничего не могу сказать. Считаю, что люди должны быть в состоянии заниматься тем, чем хотят. Наверное, у меня меньше предрассудков по поводу женского бокса, чем у Фрэнки, но одно время я считал, что женщинам не следовало бы выходить на ринг.

Эми Тобин. С изобразительной точки зрения, «Малышка» — темный, мрачный фильм. Не часто увидишь американскую картину, где темная цветовая палитра выдержана от начала до конца.

Клинт Иствуд. Светлое и темное освещение очень важны для меня. Я стремился к тому, чтобы фильм не выглядел абсолютно современным. Такая картина могла бы быть снята и в 30-е, и в 40-е годы. Только автомобили и звуки радио сигнализируют в «Малышке» о конкретном времени. Чтобы добиться эффекта вневременности и сбавить власть конкретной эпохи, я активно работаю с цветом и светом. Я часто применяю старый световой гэг, которым пользовался Джон Форд: начинаю поочередно выключать осветительные приборы и смотреть, как лучше — со светом или без. Для этого фильма мне нужна была картинка в духе noir.

Эми Тобин. Вносили ли вы изменения в первоначальный сценарий?

Клинт Иствуд. Я сказал Полу Хэггису, автору сценария, что если мне захочется что-нибудь изменить, я обращусь к нему. Речь шла даже не об изменениях, а о том, что какие-то вещи будут регулироваться, корректироваться непосредственно во время съемок, по ходу дела. Такие сдвиги носят спонтанный характер и совершаются, к примеру, в процессе работы с актерами. Это все равно что осматривать съемочную площадку и видеть, что лучше, если свет падает с этой стороны, а не с другой. Сценарий — это воплощенная архитектура, а не ее описание, не архитектурный план на бумаге. В отношениях со сценарием нужно быть свободным.

Эми Тобин. Меня интересует один аспект в характере Фрэнки. Он — католик. И очень старается быть прилежным католиком. Ходит каждый день на мессу, в свои духовные поиски посвящает священника. Все это заставляет прочитать финал фильма в определенном контексте. Но когда Фрэнки совершает то, что совершает — отключая «Малышку» от аппаратов и лишая ее жизни, он идет против церковного закона. Думали ли вы над тем, что бы это была за история, если бы религия не играла столь большую роль в жизни Фрэнки?

Клинт Иствуд. История выглядела очень логичной. Фрэнки Данна я представлял себе католиком, выходцем из Ирландии. Подозреваю, что Ф.Х.Тул, автор истории, по которой написан сценарий, тоже является ирландским католиком. Сам я не католик, но понимаю их догму. Она касается сложных вещей. Любовь-ненависть к Господу, неуверенность в собственной вере замучили Фрэнки. Отчаявшись, в ключевой момент он приходит к священнику и просит, чтобы он его утешил, успокоил. Священник произносит решающие слова: «Забудь о Боге, о Небесах и аде, обо всех этих вещах. Если ты совершишь то, что запланировал, ты навсегда себя потеряешь, потеряешься на глубине собственной души и никогда не сможешь от этого излечиться, стать прежним». То есть священник говорит не о церковной догме, а об эмоциональном душевном аспекте того поступка, который герой обдумывает. О фатальном и необратимом психологическом сломе, который его ожидает.

Эми Тобин. Вы не хотите ничего сказать по поводу эвтаназии — особенно сейчас, когда эта проблема столь актуальна, так активно обсуждается, в том числе и в правительственных кругах. Вы не думали о том, что может значить ваш фильм в такой момент?

Клинт Иствуд. Тема эвтаназии, ухода из жизни всегда провокационна, вне зависимости от того, какое время на носу. В определенный момент всякий задумывается о таких вещах, как жизнь и смерть. И есть ли сегодня действительная причина, почему некоторые люди выработали догму против этого вопроса? Что ж, люди могут иметь догму по поводу многих вещей. Но когда начинаешь думать об эвтаназии, сознаешь, что вне зависимости от того, на чьей вы стороне, решение этого вопроса все равно будет невероятно трудным. Для Фрэнки было бы мучительно тяжело просто ожидать смерти этой девочки. Мой герой совершает поступок не в духе доктора Кеворкяна, когда тебя кто-то просит помочь умереть и ты выполняешь просьбу больного, делаешь ему одолжение. Фрэнки сильно привязался к героине Хилари. Из эгоистических соображений он хочет, чтобы она осталась с ним. Тогда как она хочет уйти из жизни. Вот и дилемма.

Эми Тобин. В конце фильма, когда Фрэнки по длинному коридору идет к выходу из больницы, возникает слабая, мерцающая надежда, что даже если этот

парень никогда и не узнает, что поступил правильно, то космос уж точно знает, что он все сделал верно.

Клинт Иствуд. Этого мы и добивались. Зритель ничего не знает наверняка. Двусмысленность в финале — та же, что сопутствует образу Фрэнки на протяжении всего фильма. В последнем кадре мы понимаем, что герой Моргана Фримена пишет письмо дочери Фрэнки. Мы приближаемся к маленькому ресторанчику и видим кого-то в его окне. Возможно, это Фрэнки. Возможно, нет. Стал ли он, по словам священника, потерянной душой? Испытывает ли ностальгию по тому времени, что он и героиня Хилари провели вместе? Неизвестно.

Эми Тобин. Ваши фильмы основаны словно бы на урезанных, купированных сценариях, где есть вещи, о которых очень хочется узнать, и мы ждем этой информации, но они все равно остаются неизвестными. Например, нам не дано узнать, что послужило причиной разрыва между Фрэнки и его дочерью. Вам нравится такой тип сценария?

Клинт Иствуд. Нравится. Есть кино, которое относится к зрителю так, словно он не будет сидеть в зале, если ему не объяснят каждую мелочь. Не могу даже сказать, сколько раз меня спрашивали, что означает финал в «Таинственной реке», когда Кевин Бэйкон нацеливает палец на Шона Пенна. Собирается ли он убить его, или это знак в духе «я знаю, и ты знаешь, и с этой тайной нам предстоит жить всю оставшуюся жизнь». Я люблю недосказанность, которая тревожит, беспокоит зрителя уже после того, как фильм кончился. Но многие сценарии выглядят как «объясняловки». Или в них наступает момент, когда начинают всплывать ответы на все вопросы, или есть кто-то, кто непременно растолкует, что тут происходит. Словно зритель обязан все знать. А зритель ничего не должен знать. Он обязан думать, размышлять — на пару с режиссером. Ты провоцируешь определенные эмоции, а дальше пусть работает зрительское воображение. По-моему, это куда увлекательнее. Конечно, не нужно быть излишне двусмысленным, а то зритель начнет скучать. В любом случае оставить что-то нераскрытым куда предпочтительнее, чем открыть свою тайну и тем самым разочаровать зрителя, который хотел бы, чтобы разгадка оказалось совершенно другой.

Эми Тобин. Я всегда вспоминаю эпизод в «Искателях» («Отправившихся на поиски»), когда герой Джона Уэйна находит труп своей сестры и говорит: «Никогда не спрашивайте меня, что я видел». Разумеется, все оставшееся время зритель гадает, воображает, что же это было.

Клинт Иствуд. Это одна из лучших ролей Уэйна. И одна из самых смелых, потому что он не побоялся сыграть открытого расиста. Когда смотришь в его глаза в тот момент, понимаешь, что он увидел нечто чудовищное. То есть настолько ужасное, что вы наверняка стали бы негодовать, начни он рассказывать, что же он увидел...

Film Comment, 2005, January—February

Перевод с английского Е.Гусятинского

КОММЕНТАРИИ

СЕМЕН ЭКШТУТ

История злопамятнее народа

В ночь с 23 на 24 апреля 1945 года по радио был зачитаны приказы Верховного главнокомандующего, возвестившие о начале боев за Берлин. На многих предприятиях возникли митинги. Все слились в едином порыве: «Когда мы в цехе услышали, что Красная Армия ворвалась в предместье Берлина, люди как бы остолбенели, а потом бросились целоваться. Я никогда не видел подобного тому, как люди работали на этот раз. Кажется, гору могли бы своротить». 25 апреля газета «Правда» напечатала передовую статью с красноречивым названием «Историческая битва»: «Настал двенадцатый час преступной гитлеровской Германии. Героическая Красная Армия ворвалась на улицы немецкой столицы и ведет историческую битву за Берлин». Но и без передовых статей было ясно, что приближается долгожданная Победа, а с ней — и мирная жизнь. По решению правительства в Москве с 30 апреля была отменена светомаскировка. Столица засверкала тысячами окон и уличными фонарями. Это был настоящий праздник. В эти дни рабочие столичных заводов, обсуждавшие между собой вопрос о том, как от имени всего советского народа отблагодарить товарища Сталина, предложили присвоить ему звание Великий. Эмоциональный подъем царил не только на заводах, но и в наркоматах. «Всех объединяло одно: мы одолели врага, и в данном случае не так уж важно, кому и где довелось принимать участие в борьбе. Незабываемый день! Кажется, вся Москва, вся страна жили тогда одними чувствами, забывая пережитые невзгоды. Победа», — вспоминал нарком ВМФ адмирал флота Н.Г.Кузнецов.

День Победы ознаменовался двумя казусами. Рабочие и служащие знали, что день 9 мая объявлен нерабочим днем — Праздником Победы, но все же многие из них пришли на свои предприятия: за четыре года войны все привыкли работать без выходных и отпусков. И только нерасторопная советская торговля оказалась не на высоте. В этот торжественный день в обычных магазинах продавались только крупяные изделия и яичный порошок: не было ни мясных, ни рыбных продуктов и полностью отсутствовали в продаже спиртные напитки. Люди хотели выпить и закусить. «Как же обидно, что нечем отметить праздник». Зафиксировав недовольство части москвичей по поводу отсутствия в магазинах выпивки и закуски, справка организационно-инструкторского отдела МГК ВКП(б) от 9 мая 1945 года деловито констатировала: «В коммерческих магазинах отмечены очереди, главным образом за водкой».

В этот день многим москвичам запомнился седой полковник танкист с Золотой Звездой Героя Советского Союза на груди. На углу Петровки и Столешникова он выкупил у продавщицы мороженого целый короб с ее товаром, перекинул лямку ящика с мороженым через свою красную шею и стал бесплатно раздавать встречным ребятишкам вожделенные брикеты. Мороженое продавалось только по коммерческой цене и стоило очень дорого. Для многих детей оно было недоступным лакомством. Короб с мороженым быстро опустел. Тогда полковник подозвал к себе вторую продавщицу. Кто-то участливо заметил ему, что он и так уже достаточно много потратил. Полковник возразил: «Товарищ дорогой... Я за эту детвору жизни своей не жалел. Так неужели же в такой праздник я буду рубли рассчитывать...»

Праздничная эйфория прошла быстро, и уже через неделю все поняли, что рубли рассчитывать все-таки придется. Начались будничные заботы мирной жизни. Люди, пережившие самую страшную в истории человечества войну, не боялись обсуждать насущные проблемы предстоящей им мирной жизни. Все чаще и чаще стали вестись разговоры о необходимости перехода на восьмичасовой рабочий день, об отмене военного налога и сверхурочной работы, особенно работы в ночное время. Возникали резонные вопросы, почему в Москве не отменено осадное положение и продолжают действовать законы военного времени. Мобилизованные и закрепленные за предприятиями в период войны рабочие выражали недовольство тем, что и после Победы им не был разрешен свободный переход с одного предприятия на другое. Люди хотели наесться досыта, хотя бы хлеба, и надеялись, что в связи с окончанием войны норма отпуска хлеба рабочим будет увеличена с пятисот пятидесяти до восьмисот грамм в день на человека. О большем и не мечтали. Все сильно пообносились и с нетерпением ожидали, когда в магазинах появятся товары широкого потребления, нехватка которых столь остро ощущалась все военные годы. «В годы войны мы отказывали себе во всем, понимали, что все должно идти для победы. Теперь война кончилась. Хочется, чтобы о нас побольше проявили заботы», — так сказал один рабочий в дни первой послевоенной недели.

Власть прекрасно была осведомлена об этих настроениях: штат многочисленных информаторов работал четко. Но не прошло и десяти дней мирной жизни, как в разговорах появились новые нотки. Распространился слух, что в Москве окончание войны будет праздноваться в течение трех дней и назывались даже даты — 20, 21 и 22 мая. В первый день должна была состояться торжественная встреча победоносных войск и их прославленных полководцев Жукова, Конева, Рокоссовского на Белорусском вокзале. Их ожидал всенародный триумф. Молва утверждала, что «от вокзала до Красной площади будут настланы ковры, по которым пройдет народ и пронесет на руках маршалов». Во второй день должен был состояться молебен в знак памяти воинов, павших в боях за Родину, а в третий день — пройти народная демонстрация. Этот слух не мог не озадачить власть. Сегодня народ пронесет маршала Жукова от Белорусского вокзала до Красной площади, а завтра — на руках внесет триумфатора в Кремль. Были приняты своевременные меры. Москвичам было позволено торжественно встретить простых солдат и офицеров, но о прибытии в столицу маршалов москвичи узнали лишь из газет и были этим глубоко разочарованы. Агитаторам постоянно задавали вопросы о том, когда и где состоится встреча полководцев с рабочими и жителями столицы. Агитаторы не были проинструктированы по этому поводу и отвечали общими словами, которые никого не удовлетворяли. Встреча маршалов-победителей с народом так и не была организована.

К правому делу Жуков десницы
Больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
Хватит для тех, кто в пехотном строю

Смело входили в чужие столицы,
Но возвращались в страхе в свою.
Иосиф Бродский

24 мая правительство устроило в Кремле прием в честь командующих войсками Красной Армии. Прием подходил к концу, когда Верховный главнокомандующий товарищ Сталин взял слово и провозгласил последний тост — за здоровье русского народа.

«Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего Правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города... покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое Правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!»

Авторитет Сталина был непререкаем. Современному человеку просто невозможно себе представить такое отношение к носителю верховной власти, какое было у всех или почти у всех в эти майские дни 1945 года. Сталин сказал народу, что победа была бы невозможна без того доверия, которое народ оказал власти, — и власть это доверие оправдала. А раз власть его оправдала, то она вправе рассчитывать на доверие народа и впредь. Вождь, прежде чем дать разрешение на публикацию своего выступления, собственноручно выправил и тщательно отредактировал стенограмму. Перечисляя выдающиеся качества русского народа, он решил упомянуть о его «крепкой спине», но затем вычеркнул эти слова, ибо не хотел нежелательных ассоциаций.

Терпение было провозглашено важнейшей чертой русского народа, а сам он назван руководящей силой всех народов Советского Союза. Иными словами, все народы страны должны учиться терпению у «наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза», ибо никаких изменений, никаких послаблений в ближайшее время не предвидится. Лишь единицы, подобно одной работнице швейной фабрики, выразили свое несогласие: «Тов. Сталин поднимает тост за здоровье нашего народа, за то, что наш народ стойкий и терпеливый, за то, что он завоевал победу, а почему же после победы т. Сталин ничего не дал народу?» Дело было не только и не столько в страхе. Да, боязнь репрессий была велика: законы военного времени еще не были отменены. Слова вождя изменили умонастроение народа. После слов Сталина народ если и выражал свое нетерпение по поводу отсутствия перемен, то виновными в своих бедах считал не власть, а свое непосредственное начальство.

25 июня 1945 года наметившийся в умонастроениях людей перелом был усилен речью Сталина на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, состоявшегося днем ранее.

«Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки милли-

онов людей. Это — скромные люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как основание держит вершину».

Слова о «винтиках» были сказаны не случайно. 24 июня 1945 года Парад Победы должен был завершиться общемосковской демонстрацией трудящихся. Рабочие и служащие столичных предприятий и учреждений с нетерпением ожидали этого дня: последняя демонстрация в Москве была 1 мая 1941 года. День 24 июня выдался дождливым, однако, несмотря на дождь, Парад Победы состоялся и стал важной вехой в истории страны. Первоначально Верховный главнокомандующий намеревался, восседая на белом коне, лично принять этот исторический парад. У Сталина не было достаточных навыков верховой езды, и он решил потренироваться в манеже. Но конь оказался с норовом и сбросил с себя незадачливого кавалериста. Сталин был вынужден отказаться от своего замысла. Парад Победы на том самом белом коне принимал маршал Жуков. На трибуне мавзолея вождь с трудом скрыл обуревавшие его чувства. «Не часто улыбавшийся и малоразговорчивый, он в этот день был приветлив и охотно говорил со всеми находившимися там. И все же, присматриваясь к нему, я не мог заметить лишних эмоций и выражения восторга», — вспоминал адмирал флота Кузнецов.

Колонны демонстрантов со знаменами и транспарантами под звуки духовых оркестров двигались по направлению к центру города. Все сильно промокли, но на душе у людей было радостно. Люди хотели увидеть не только Верховного главнокомандующего, но и прославленных маршалов: «Этого счастливого дня мы ждали четыре года». В районе Манежной площади демонстранты были остановлены цепью милиционеров и военных и не допущены на Красную площадь. Из репродукторов прозвучало: «Граждане! Демонстрация отменяется. Просьба расходиться по домам». Никто не поверил этим словам. Многие посчитали их провокацией и продолжали стоять на месте под проливным дождем, ожидая опровержения, ведь до Красной площади оставалось каких-нибудь десять минут ходу! Прошло более четверти часа. «...Люди поняли, что их обманули. Это было печальное зрелище. Только что веселые лица стали сумрачными и отчужденными. Никто не знал настоящей причины отмены демонстрации, но каждый почувствовал себя оскорбленным». Демонстрация была отменена по распоряжению Сталина. На следующий день в печати было сообщено, что это было сделано «ввиду усилившегося дождя». Вождь проявил поразительное неуважение к тем, кого четырьмя годами ранее он назвал «братьями и сестрами», но так и не позволил состояться встрече народа с полководцами-победителями. Лишь единицы посчитали отмену демонстрации правильной и расценили это «как факт проявления сталинской заботы о людях». Большинство же не скрывали своего разочарования — и на следующий день после отмены демонстрации Сталин произнес слова о «винтиках». Каждому, от солдата до маршала, было указано его место. Однако «винтики» не забыли пережитую обиду.

Сразу после окончания Парада Победы маршалы Советского Союза написали в Президиум Верховного Совета СССР представление, в котором просили присвоить Верховному главнокомандующему товарищу Сталину высшее воинское звание Генералиссимуса Советского Союза и высшую степень отличия — звание Героя Советского Союза, а также наградить его высшим полководческим орденом «Победа». 26 июня 1945 года были приняты соответствующие указы Президиума Верховного Совета СССР, а через день опубликованы. В этой связи на московских предприятиях состоялись митинги. Прошло всего-навсего три дня после отмены демонстрации москвичей. От недавнего энтузиазма «винтиков» не осталось никакого следа — и там, где не было проведено подготовительной работы, беседы и митинги прошли «без должного подъема». На заводе № 381 на объединенном митинге трех цехов присутствовали всего лишь сто пятьдесят че-

ловек из шестисот работающих. «В помещении, где проходил митинг, из-под пола выступила вода. Поэтому люди вынуждены были разместиться вдоль стен. Ораторы выступали перед пустой площадкой, заполненной водой. Все это создавало неприглядное впечатление. Митинг прошел без подъема». В Московском инженерно-строительном институте на митинг пришли не более шестидесяти из почти двух тысяч студентов. На заводе «Памяти революции 1905 года» выступающие читали свои речи по бумажке: невнятно, с большими паузами, делая оговорки. Стахановцу Миронову речь написали заранее, но не успели отрепетировать ее произнесение: «Речь ему написали от руки, неразборчиво, читал ее с большими интервалами, не отрываясь». Дело было не столько в недостатке времени для подготовки митингов, сколько в отчужденности собравшихся. В общем, митинги прошли без энтузиазма. Но это был лишь кратковременный эксцесс.

Обида «винтиков» была недолгой. Простые люди расценили слова Сталина своеобразно. Великий и мудрый Сталин знает и помнит о каждом из них, ибо все они — части единого государственного механизма. А вот непосредственные начальники не следуют завету вождя и не учатся у него внимательному и заботливому отношению к ним — простым людям. Сам Сталин поручил заботу о них, «винтиках», непосредственному начальству, а оно по своей нерадивости с этим справляется из рук вон плохо.

В эти первые мирные месяцы победного 1945 года закладывались основы будущей жизни советских людей на ближайшее десятилетие. Первые послевоенные месяцы стали временем обманутых надежд. Не было речи ни о либерализации режима, ни об облегчении жизни «винтиков». Их мечты о более свободной и не такой тяжелой жизни не сбылись. 22 ноября 1947 года были отменены льготы и ежемесячные денежные выплаты, которые ранее предоставлялись награжденным орденами и медалями. А 24 декабря того же года день 9 мая вновь стал рабочим днем. Может быть, не стоило вспоминать все это в праздничные дни 60-летия Великой Победы, ведь народная память предпочла забыть об этом. Однако, как некогда написал Николай Михайлович Карамзин: «История злопамятнее народа!»

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

АЛЕКСАНДР ХРАМЧИХИН

Разделять режим и Отечество

О Великой Отечественной войне кощунственно писать неправду и чрезвычайно сложно писать правду. С нашей стороны ее вел преступный тоталитарный режим, притом совершенно преступными по отношению к собственной стране методами. Однако без малейшего преувеличения именно наша страна отстояла свободу для всего человечества, причем, вполне вероятно, ценой будущего самой России (потери оказались настолько велики, что восстановление человеческого потенциала стало, похоже, невозможным). Ни одна страна, ни один народ в истории человечества не спасали сразу всех homo sapiens. Только нам это удалось. Однако не только «мир спасенный» мало что помнит и помнить не хочет, но и мы сами собственную историю оценить не способны. Та, которую нам сегодня предлагают, состоит из тотальной лжи советского официоза, которая еще в 70-е начала вызывать рефлекторное отторжение, и весьма своеобразных «современных интерпретаций». Война бессовестно используется в современной политической борьбе. И все это накладывается на конкретное, очень разное ее восприятие гражданами России, каждый из которых так или иначе причастен к ней. Ложь, особенно официозная, оскорбляет не только участников войны, но весь народ. Правда бывает очень жестока и потому очень неприятна. И никто не может вырваться из этой «вилки», впрочем, никто, похоже, и не пытается.

СССР в войне с Германией имел беспрецедентно большое количество предателей. Речь идет и о тех, кто прямо воевал против своей страны с оружием в руках в нацистской форме, и о «добровольных помощниках» или «хиви» (от Hilfswillige — буквально «готовые помочь»), занимавших в вермахте множество вспомогательных должностей. Они хотя напрямую и не участвовали в боях, но дали возможность воевать немцам. Как писал немецкий генерал Мюллер-Гиллебранд, «этот персонал большей частью честно нес службу вплоть до завершающего этапа войны, оказывая войскам реальную помощь и освобождая немецкий личный состав для использования в боевых действиях». По состоянию на октябрь 1943 года (уже после Курской битвы!) в штате обычной пехотной дивизии вермахта на Восточном фронте числилось 10 708 немецких военнослужащих и 2005 «хиви», то есть последние составляли почти 20 процентов личного состава.

Очень многие из этих людей помогали врагу совершенно сознательно. А другие просто хотели облегчить себе кошмар плена. В плен этот их в подавляющем большинстве случаев загнало «родное» командование. Более трех миллионов попавших в плен в первые месяцы войны — цифра, не имеющая аналогов в мировой истории войн. Вдвойне потрясает то, что страна, понесшая

такие потери, в конечном счете войну выиграла.

С беспрецедентным количеством предателей сочеталось беспрецедентное по героизму сопротивление тех, кто сдаваться не стал. Ни с чем подобным на Западе немцы не встречались. Летом 41-го вермахт вполне успешно реализовал план «Барбаросса», многократно превосходящая его по силам группировка РККА была рассечена танковыми клиньями и почти полностью сгинула в гигантских «котлах». Но вопреки всем канонам военного искусства многие подразделения нашей армии дрались в буквальном смысле до последнего солдата, связывая немецкую пехоту и таким образом замедляя или вообще останавливая танковые прорывы Клейста, Гудериана, Гота и Гепнера. Танки не могут слишком далеко отрываться от своей пехоты, а пехота останавливалась теми, кто дрался до последнего солдата. Многие из них не только не похоронены, но и вообще не учтены, ни в каких списках не значились. Именно они спасли страну, дав возможность создать РККА-2. Она тоже в основном сгинула в «котлах» осени 41-го. Все повторилось в точности, но танковые клинья немцев все же затупились, потеряли до двух третей боевых машин в боях, а оставшиеся завязли в русской грязи и замерзли от русских морозов. «Генерал Грязь» и «генерал Мороз» сыграли огромную роль в поражении немцев под Москвой и в переходе войны в стадию затяжной, а следовательно, заведомо губительной для Германии. Непонятно, почему этого надо стыдиться. Ведь это наши солдаты и офицеры, непохороненные и неучтенные, сделали так, что немцы не добрались до Москвы в хорошую погоду. В 42-м ситуация повторилась еще раз, немцы дошли до Волги и Эльбруса. И захлебнулись наконец в русских просторах, русских снегах и русской крови.

Безвозвратные потери советских вооруженных сил (*убитые, умершие от ран, не вернувшиеся из плена*) даже по официальным данным, представленным в *канонизированных официозных справочниках «Гриф секретности снят» и «Россия и СССР в войнах XX века»*, составили 8668,4 тысячи человек. Внимательное знакомство с названными справочниками выявляет ряд нестыковок, из чего становится понятно, что реальные потери были существенно больше. Особенно, конечно, в начале войны. Не значившиеся в списках составили, видимо, не один миллион.

Собственно, Минобороны сегодня вынуждено признать сам факт существования не значившихся в списках, то есть тех, кто был призван, но до части не добрался. Или добрался, но еще не был занесен в ее списки, а вскоре погиб или попал в плен. Или был занесен в списки, но вся часть сгинула вместе со списками. В вышеупомянутых справочниках их число оценивается в 500 тысяч (они не входят в 8668,4 тысячи). Именно так, с точностью до сотен тысяч, в то время как по другим категориям потери приводятся с точностью до одного человека! (В технических и естественнонаучных вузах за сравнение величин, точность оценки которых различается на пять порядков, двойку ставят сразу.) Число 500 тысяч — типичное «среднее потолочное», не имеющее к жизни, точнее — к смерти никакого отношения. На сколько нужно умножить эту величину — мы не знаем. Есть предположение, что как минимум в шесть раз. Если это «клевета на наше славное прошлое», то ее надо опровергнуть научно, а не с помощью произвольно написанной цифры, на которую навешана советская демагогия.

Впрочем, и в победные заключительные годы войны потери были, скорее всего, намного больше официально признанных. Германия на всех фронтах потеряла не более 2,5 миллиона военнослужащих убитыми и умершими (*ее союзники* — еще до 700 тысяч). Впрочем, на Восточный фронт пришлось не менее 80 процентов этих потерь (*а у союзников Германии — почти 100 процентов*).

Катастрофическое начало войны, да и ее продолжение, хоть и победное, но ненамного менее кровавое, породило в советских воинах комплекс поражения, который так и не был изжит. В начале 80-х мой учитель труда рассказывал про то, как в мае 45-го он на броне Т-34 шел на Прагу и по дороге их колонна в прямом смысле раздавила немецкую пехотную часть. И какое удовольствие испытали от этого наши бойцы, потому что *не все же им нас бить*. Так

он прямо и сказал применительно к последним дням войны, когда уже пал Берлин! И это чувство в нем осталось и через тридцать пять лет после Победы. Правда, с той стороны тоже был комплекс. Комплекс ужаса перед русскими.

Служба на немецких подводных лодках была чрезвычайно трудна и физически, и психологически. Люди месяцами были заперты в тесных железных ящиках, болтающихся на океанских волнах в тысячах миль от своей базы, в абсолютно враждебном окружении, когда любой боевой корабль, любой самолет — вражеские, желающие сделать твою лодку твоим гробом. Немецкий подводный флот хотя и создал союзникам колоссальные проблемы, но и понес колоссальные потери — 80 процентов подводников погибли в боях и катастрофах. Ни в одной из воюющих стран ни один род войск не понес таких высоких относительных потерь в личном составе.

Осень 1942 года. Уже три месяца лодка U-181, которой командует один из самых результативных немецких подводников Вольфганг Лют, находится в боевом походе в Южной Атлантике. И один из матросов, подавленный «тяготами и лишениями службы», начал открыто демонстрировать недовольство, морально разлагая экипаж, что делало ситуацию смертельно опасной для лодки в целом. Командир имел и формальное, и моральное право пристрелить паникера, но он поступил гораздо эффективнее — пообещал по возвращении на базу немедленно отправить его на Восточный фронт. И матрос мгновенно преобразился, стал демонстрировать образцовое отношение к своим служебным обязанностям. Болтанка в железном ящике в Южной Атлантике с возможностью безвозвратно сгинуть в ее глубинах (возможно, предварительно задохнувшись) показалась ему делом гораздо более приятным, чем оказаться на твердой земле, но лицом к лицу с русскими. Перед противниками с Запада они подобного ужаса не испытывали.

Франция, получив в мае 40-го такой же удар, какой мы испытали в июне 41-го, развалилась и сдалась практически мгновенно. После войны французы, которых лично де Голль включил в число победителей, создали интересную сказку о Сопротивлении, в которую сами до сих пор верят (для справки: в рядах Сопротивления погибли примерно двадцать тысяч французов, а в рядах вермахта на Восточном фронте — не менее сорока тысяч). Они не были готовы драться не только до последнего, но, как правило, и до первого солдата. Про другие западноевропейские нации и говорить нечего. Братья-славяне (поляки и югославы) сопротивлялись немцам более активно, но и они не имели шансов. Свободолюбивая Европа покорилась тоталитарному режиму Гитлера и приспособилась к нему, дожидаясь, что их освободят другие. Если у нас было много предателей, то народы Европы почти целиком оказались такими. В отличие от советских людей, у них не было оснований обижаться на собственную власть, она им не устраивала гражданскую войну, раскулачивание, голодомор и ГУЛАГ. Европейцы предали самих себя, свои декларированные идеалы. Они не понесли чудовищных потерь, как мы, не посчитали свободу той ценностью, за которую стоит умирать, и «великодушно» дали возможность другим умирать за их свободу.

Англосаксы воевали лучше континентальных европейцев. Они, как и мы, умирали, спасая не только себя, но и других. Более того, есть подозрения, что если бы нам пришлось вести такую войну, как американцам и англичанам на Тихом океане и на Атлантике, в лучшем для нас случае она бы закончилась вничью. Если война носит воздушно-морской характер, противника нельзя завалить своими трупами. Главную роль начинает играть техника и умение ее использовать. При всех выдающихся качествах танка Т-34 или штурмовика Ил-2, они гораздо проще в производстве и эксплуатации, чем авианосец типа «Эссекс» или стратегический бомбардировщик В-29. Вспомним Цусиму. А ведь русский императорский флот и по качеству кораблей, и по уровню боевой подготовки личного состава был на голову выше советского флота времен Великой Отечественной.

Надо, однако, признать и другое. Если бы англосаксам пришлось вести такую войну, как нам, с фронтом от Баренцева до Черного моря, они бы даже вни-

чью ее не закончили. Они бы проиграли, разве что не так быстро, как Франция. Без СССР победа над Гитлером была невозможна в принципе. Либо Германия и Япония получили бы контроль над континентальной Евразией на долгие годы, либо дело дошло бы до обмена ядерными ударами. Напомним, что ракетная техника в Германии в начале 40-х была развита гораздо лучше, чем в США или Великобритании. Освободить Европу, не имея Восточного фронта, американцы и англичане не сумели бы ни при каких обстоятельствах. Все, кто хоть что-то знает об истории второй мировой, это понимают.

Однако мы, отстояв свободу человечества, не получили ее сами. Более того, мы принесли свою несвободу в Восточную Европу, сменив для ее жителей одну оккупацию на другую. Причем наша продлилась гораздо дольше немецкой, из-за чего и сложилась нынешняя дикая ситуация — значительная часть не только политиков, но и простых граждан этого региона из того, что Сталин был плохой, начинают делать вывод, что Гитлер был не такой ужасный.

Кроме того, мы слишком много врали и продолжаем врать о войне в фильмах, книгах, газетах. Война стала важнейшим оправданием коммунистического режима, фактически единственным фактором его моральной легитимации, оказавшись единственным событием советской эпохи, которым действительно можно гордиться! А при этом очень сложно объяснить, почему за победу пришлось платить такую ненормально высокую цену. И получается, что нет никакой легитимации, а есть еще одно преступление режима. Но если признать его преступным, то за что воевал советский солдат?

Он воевал не за Сталина и уж тем более не за коммунистическую партию. Он воевал за родину. Не мог принять иноземного вторжения — таков уж национальный характер. Стремление к свободе оказалось у нас сильнее, чем у европейцев. Как писал немецкий генерал Меллентин, «русский солдат любит свою «матушку Россию», и поэтому он дерется за коммунистический режим, хотя, вообще говоря, не является политическим фанатиком». На протяжении всей российской истории солдату удавалось разделять режим и Отечество. Режим потом благополучно это эксплуатировал, причем в советское время эта практика достигла апофеоза.

Оно ведь и до сих пор так. И режима того как бы нет, нечего вроде бы оправдывать. И реальных, а не тыловых фронтовиков тоже почти не осталось. А тема эксплуатируется в том же стиле. Ветеран получает унизительную подачку и приторно-фальшивое торжество к 9 мая, из которого максимальную пользу пытается извлечь начальство. Оно у нас осталось советским и по старой традиции ищет своей сегодняшней легитимации за счет чужого подвига.

В ходе торжества нам в очередной раз расскажут о величии товарищей Сталина и Жукова, тех, благодаря кому Россия заплатила за победу такую чудовищную цену. Кто-то, может быть, даже вспомнит, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Это благодатная тема, учитывая, что никто (кроме небольшого количества энтузиастов) ни последнего, ни предпоследнего хоронить не собирается. Сами же солдаты, живые и мертвые, станут элементом декоративного оформления мероприятий. Главное место в освещении юбилея займет мелкое сиюминутное политиканство.

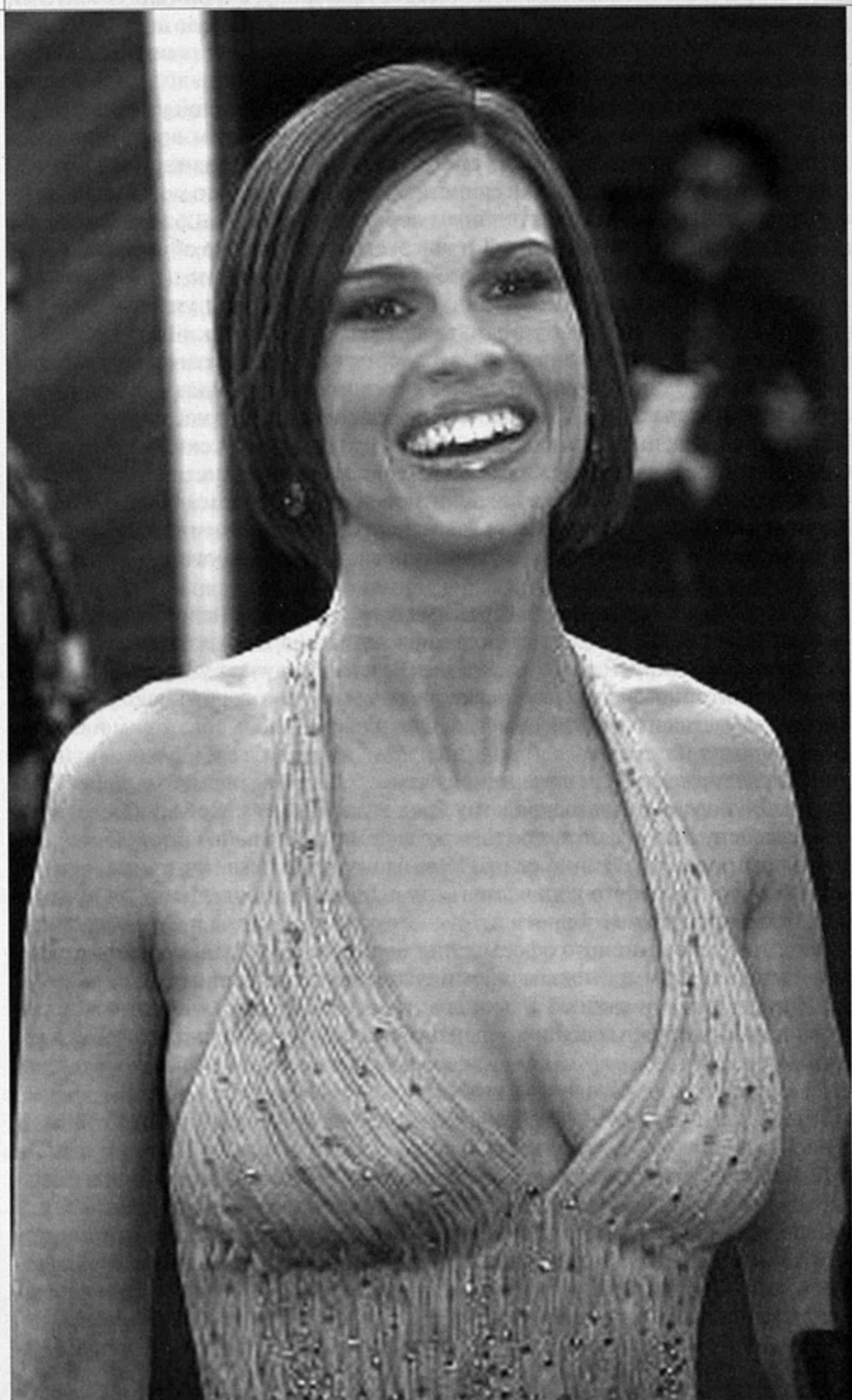
Между тем описанный Высоцким в песне «Черные бушлаты» морпех, один из замечательных собирательных образов нашего солдата, хотел совсем немного.

Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.

P.S. За последние пять лет я написал много сотен статей, больших и маленьких, на самые различные темы. Данный текст дался мне труднее, чем все предыдущие вместе взятые. У меня было постоянное чувство, что я пишу что-то не то и не так. Если кто-то из реальных фронтовиков на меня обидится за него — приношу глубочайшие извинения. Наверное, о той войне нельзя писать, не побывав на ней.

4 Зка. 5200

И М Е Н А



Хилари Суонк

НИНА ЦЫРКУН

Птичка на проволоке

Как правило, у нас гораздо благожелательнее относятся к западным артистам, чем к своим. Конечно, наших тоже любят, но они все же свои, доступные, а те — почти небожители, стало быть, непогрешимые, всегда неотразимые, всегда правые. Но в случае с Хилари Суонк ситуация возникает нестандартная. Узнав о награждении ее первым «Оскаром» — за фильм «Парни не плачут», — никто серьезно не отреагировал: фильм не посмотрели, актрису не знали. А вот к оскаровской церемонии 2005 года все были готовы; кто не видел «Малышку на миллион», тот все равно знал Хилари Суонк по недавно прошедшим на наших экранах историческому боевику «История с ожерельем» и триллеру «11:14». Мнение было почти единодушным как среди зрителей, так и среди критиков. В интернетовских форумах возмущались тем, что «Оскар» достался мужеподобной бабище неизвестно за что, критики презрительно писали о просчитанной на сто процентов слезовыжималке, и только «Магия кино» (недаром телеканал называется «Культура») воздала должное и Клинту Иствуду, и Хилари Суонк.

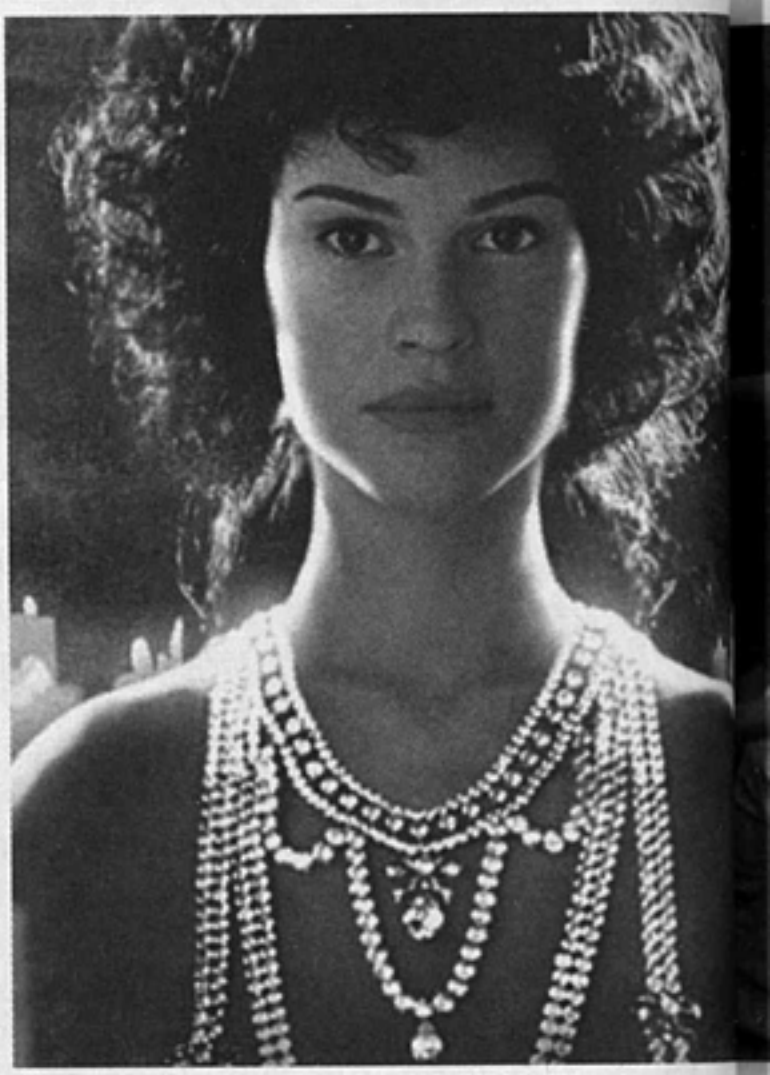
Так или иначе, странно все же: почему столь неполюбившаяся у нас актриса сумела за пять лет получить два «Оскара», причем оба за главные роли, став самой молодой (за историю наблюдений) дважды «оскароноской»? На мой взгляд, ответ напрашивается сам собой. Суонк — довольно редкий андрогинный тип, который привлекает к себе эротически заряженное внимание как мужской, так и женской аудитории. К этому типу относились органический андрогин Грета Гарбо и искусственно культивированный тип Марлен Дитрих. У Суонк нет того декадентского надлома, который был свойствен дамам «золотого века»; это здоровая — по моде эпохи — молодая женщина с крепкими зубами, челюстью бультерьера и прямым взглядом. Но если слегка «потереть» внешнюю оболочку, обнаружим ту же самую суть. С великими предшественницами Хилари роднит ее скрытая, неафишируемая сексуальность — на экране ей ни разу не пришлось ни раздеваться, ни заниматься сексом. И в картине, сделавшей ее знаменитой — «Парни не плачут», — она играет не лесбиянку, не транссексуалку, а девушку, которая ощутила себя мужчиной, загнанной в капкан женского тела.

Актрису для фильма «Парни не плачут» искали три года и отобрали из восьмисот претенденток. Нужно было очень точное попадание, чтобы не возникло никакой фальши. Все-таки это была подлинная история, взятая из жизни. В 1993 году вся Америка содрогнулась, узнав о диком преступлении — изнасиловании и убийстве Тины Брэндон, девушки, которая выдавала себя за парня и считала, что ей по ошибке природы досталась женская оболочка. Хилари Суонк, расставшись с длинными волосами, пришла на пробы и храбро заявила, что никто не сыграет эту роль так достоверно, как она, ибо ей, как и героине, двадцать один год и она тоже родом из города Линкольн, штат Небраска. На самом деле ей исполнилось двадцать четыре, а родилась она в Беллингэме, штат Вашингтон, недалеко от канадской границы. Когда ее потом уличили во лжи, Хилари безмятежно ответила: «Так ведь и сама Тина точно так же поступила бы на моем месте!»

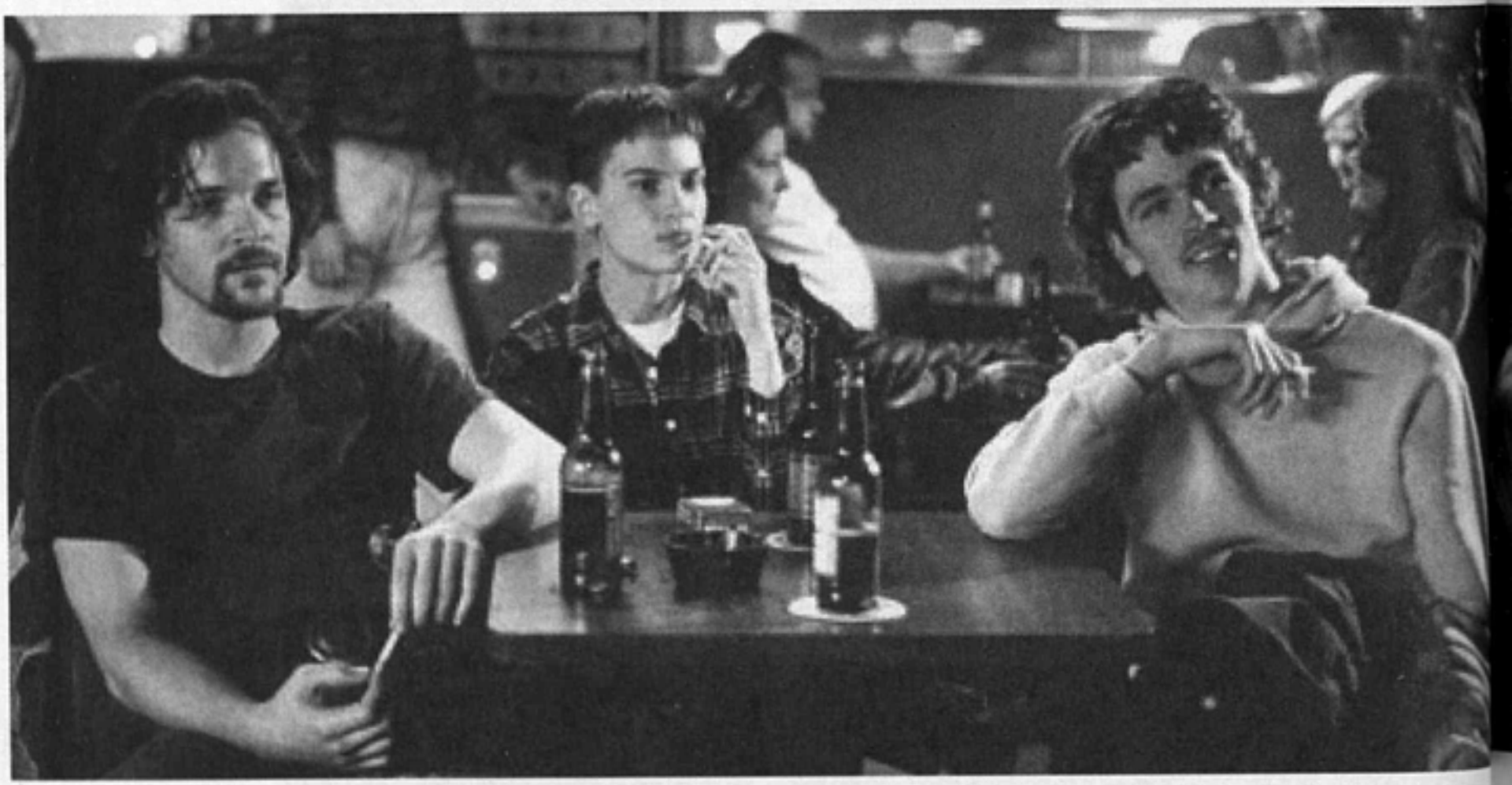
Ей от рождения было предначертано амплуа травести и определено играть роли мальчишек. Самой первой ее ролью на подмостках — в девять лет — был Ма-

Хилари Суонк

«11:14», режиссер Грег Маркс



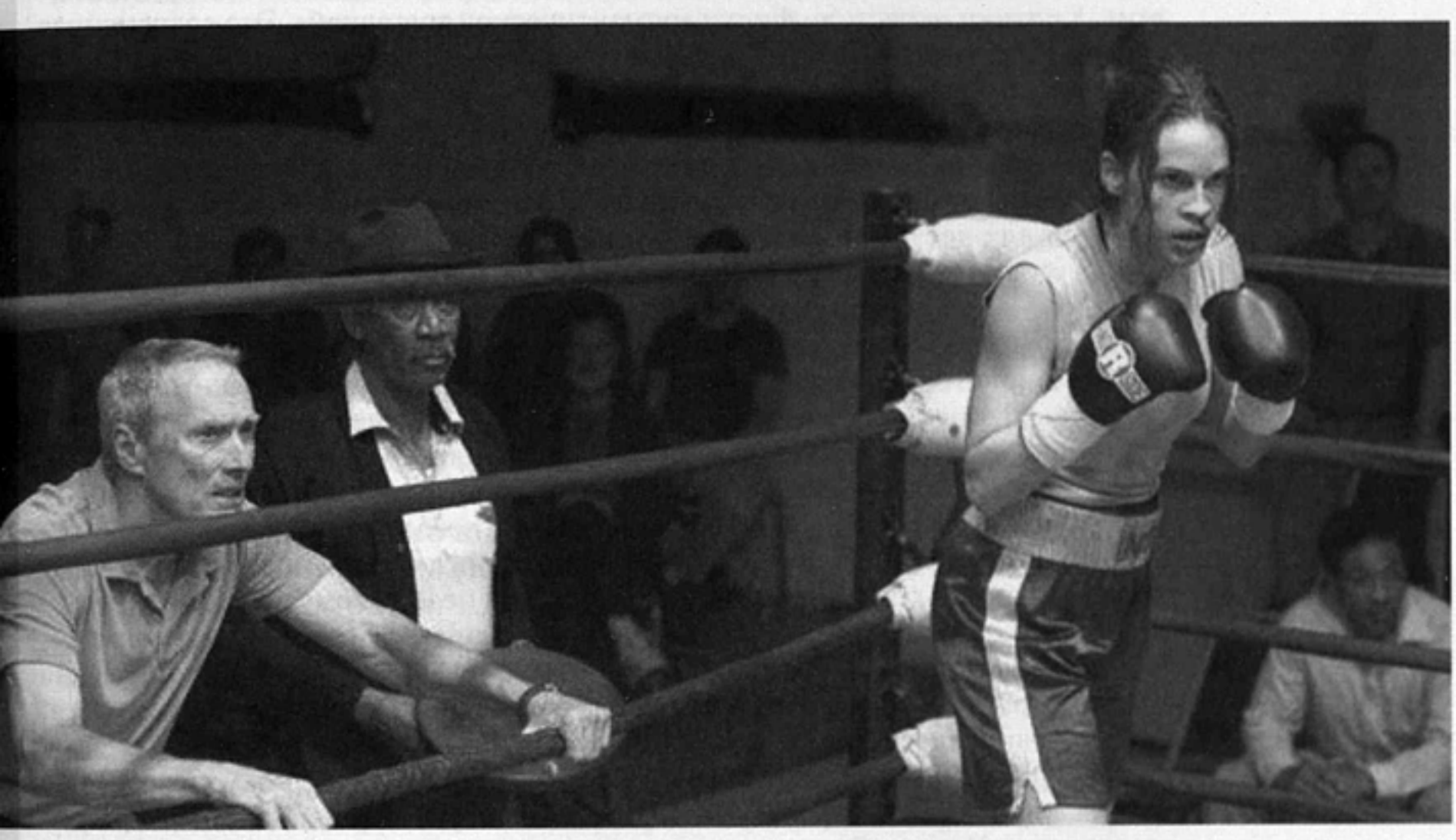
«История с ожерельем», режиссер Чарлз Шайер



«Парни не плачут», режиссер Кимберли Пирс

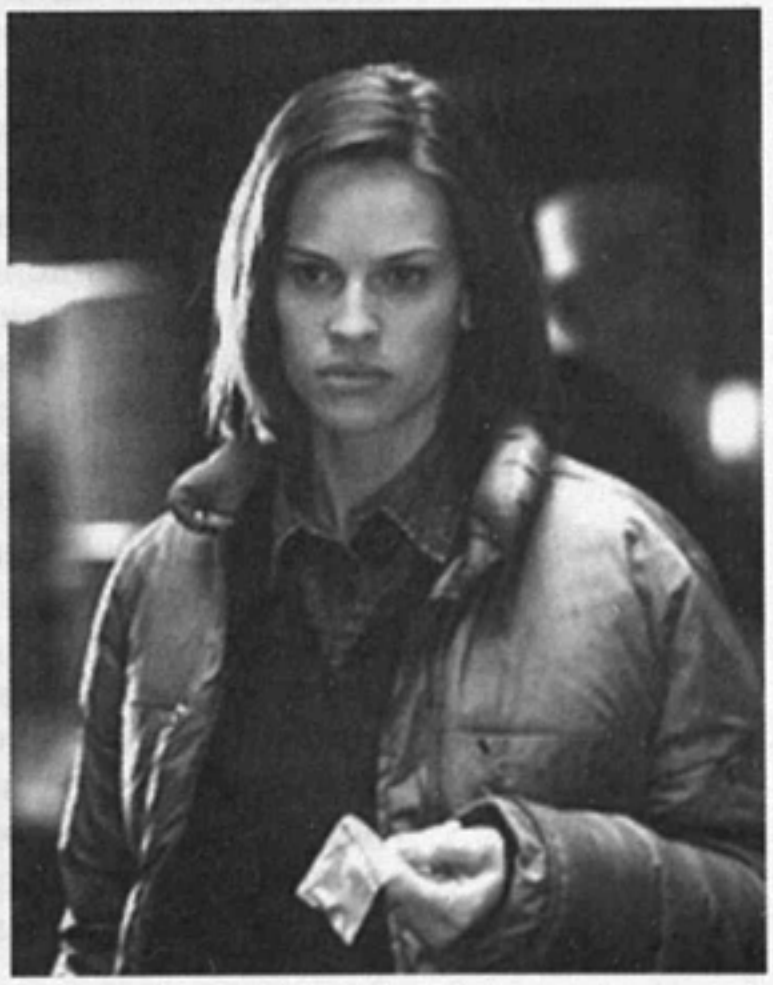
«Бессонница», режиссер Кристофер Нолан

«11:14», редиссер Грег Маркс



«Малышка на миллион долларов», режиссер Клинт Иствуд

«История с ожерельем», режиссер Чарлз Шайер



«Бессонница», режиссер Кристофер Нолан

угли из киплинговской «Книги джунглей», которого она играла в городском театре. И вообще она походила на мальчишку: куклы ее не интересовали, зато она плавала и ныряла до изнеможения, занималась рафтингом, носилась на роликах. В родном штате она стала финалисткой чемпионата по плаванию среди юниоров, выступала на Юношеских Олимпийских играх, заняла пятое место в штате по гимнастическому пятиборью — и все это пригодилось на съемках ее первой большой картины «Ребенок каратэ». А после роли Тины Брэндон продюсеры и не вспоминали, что она играла смазливую Карли в сериале «Беверли Хиллз 90210» и подружку главной героини в «Баффи, истребительнице вампиров». Она слишком хорошо вжилась в роль. Коротко постригла волосы, научилась говорить низким голосом, утянула бинтами далеко не маленькую грудь и изменила походку, так что даже прекрасно знавшие ее соседи принимали ее за приехавшего погостить младшего брата Джима. Немного грима — и вот уже она поразительно похожа на Тину Брэндон, которая, решив стать парнем, стала называть себя Брэндоном Тина.

«Парни не плачут» — не психологическое исследование, не обличающий, в стиле Кена Лоуча вердикт одноэтажной Америке, погрязшей в «бездуховности». Критики окрестили фильм «романтической трагедией». Это современная версия «Ромео и Джульетты», где главные герои оказываются в абсолютно чуждом, враждебном мире, в котором опереться могут только друг на друга. Дебютантка в большом кино режиссер Кимберли Пирс нашла верную ноту для этой смерти в прерии, в пустошах, под аккомпанемент печальной музыки кантри, в антураже бензозаправок, сигарет «Мальборо», пива у телевизора. Брэндон становится для девушки Лэны первым по-настоящему симпатичным парнем, нежным и добрым, умеющим красиво ухаживать. Она и догадывается о том, что Брэндон — не тот, за кого себя выдает, и боится это признать как данность, то есть разрушить собственную иллюзию. Тина решила покинуть родной город и родителей, которые не могут взять в толк, зачем дочери понадобилось притворяться мальчишкой, из-за чего у нее даже возникли нелады с законом. Она переворачивает имя и фамилию, становится Брэндоном и приезжает в городок Фоллс-сити, преисполненной надежд начать новую жизнь. Теперь правильнее говорить «он», а не «она». Он честен и открыт, у него красивое лицо, тонкие руки и обожание в глазах, и ему нетрудно привлечь к себе симпатию самой красивой девушки в компании. И настоящие парни не могут ему простить того, что он подверг сомнению их собственную мужественность. Они решают доказать, что на самом деле он — никакой не парень, и делают это самым простым для себя способом. У Брэндона был выбор — залечь на дно, потихоньку скрыться, но он предпочел идти до конца, потому что испытал то, ради чего и решился на роковой шаг. Он испытал настоящую любовь, и теперь жизнь сама по себе уже нашла для него свое оправдание. В этом смысле роль Брэндона Тины предвосхитила для Хилари Суонк ее вторую «оскаровскую» роль — в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион». И, конечно, Иствуд учел это при кастинге. Но между этими двумя ролями прошло почти пять лет.

Теперь она только смеется, когда говорят, будто сниматься в историческом боевике «История с ожерельем» Чарлза Шайера она согласилась из-за того, чтобы, надев декольтированное платье и обвешавшись бриллиантами, почувствовать себя настоящей женщиной. Хотя, конечно, Хилари надоело доказывать, что она — женщина традиционной сексуальности. «Взгляните на эти двенадцатиметровые каблуки, посмотрите — я крашу губы и ресницы, я замужем, что еще надо, чтобы доказать, что я — самая нормальная женщина?» — не уставала твердить она, попав в ловушку слишком достоверно сыгранной роли. И правда, в этом проекте ее увлекла возможность стать на время женщиной необыкновенной, ослепительной, вмешавшейся в ход истории, повлиявшей на судьбу королевы и плеснувшей горючего в пламя Великой французской революции. Очень может быть, что именно из-за Жанны де ля Мотт-Валуа отправились на гильотину Мария Антуанетта с Людовиком XVI и была сокрушена монархия, просуществовавшая восемь веков. Предложение «Истории с ожерельем» свалилось на нее как манна небесная. Такие «корсетные» роли играли ее кумиры — Кейт Уинслет и Гвинет Пэлтроу. Поначалу она просто упивалась новым имиджем — приятно чувствовать себя шикарной, выпустив на свободу пышную грудь и отрастив волосы. «Вообще-то я ни капельки не изменилась — зато вокруг меня все стало другим», — говорила актриса. Но очень быстро всеобщее восхищение стало ее утомлять: «Черт, чувствуешь

себя букашкой под микроскопом, все пялятся, пытаются в тебе что-то выискать...» Хилари использовала свою известность, когда 11 сентября, работая в Центре помощи пострадавшим, приняла звонок от пенсионеров, чей лабрадор оказался заблокированным в доме неподалеку от разрушенных башен-близнецов. Хилари сумела пройти через полицейский кордон, взбежала на 31-й этаж и вызволила пса. Всего она спасла тогда больше дюжины собак и кошек. У нее на счету есть подвиги и покруче. Как-то раз она участвовала в фотосъемках для журнала Marie Claire в надежде, что редакция оплатит ей полет в космос. Дело не выгорело, зато во время съемок она познакомилась с артистами цирка и, вспомнив свое гимнастическое прошлое, решила поупражняться на трапеции. Она так здорово ходила по проволоке, что директор готов был принять ее в труппу. Что же касается космоса, то эта мечта исполнилась, но, как все у Хилари, — наоборот. Она стала астронавтом НАСА, переквалифицировавшимся в терронавта, и отправилась к центру Земли. В кино, конечно. Майор Ребекка Бек повела «подземный корабль» через Марианскую впадину в чрево нашей планеты. Режиссеру не нужна была женщина в мундире, требовался профессионал на своем месте. Так что постельных сцен с героем ее романа зрители не дождались, а когда глаза Ребекки увлажнились, то были не слезы слабой женщины, не справившейся с ситуацией, а слезы опытного профессионала, сознающего свою беспомощность перед обстоятельствами. Это могла сыграть только андрогинная Хилари Суонк.

В триллере Кристофера Нолана «Бессонница» она тоже играла «мужскую» роль — начинающего детектива Элли Бур. Недавняя выпускница полицейской академии встречает приезд в их городок у Полярного круга знаменитого коллеги Уилла Дормера (его играл Аль Пачино) с восторженными, сияющими глазами: она уверена, что этот рыцарь без страха и упрека, о котором она столько слышала, учась в академии, найдет разгадку преступления, действуя строго в рамках закона. А потом, когда она становится свидетельницей совсем других действий, глаза ее постепенно тускнеют, но это не значит, что она изменила своим принципам. И такую внутреннюю убежденность и упертость тоже могла сыграть только Хилари Суонк.

В общем, все роли, все дороги вели ее к роли Мэгги Фицджералд, девушки-боксера в драме Клинта Иствуда. Чтобы сыграть ее, актрисе потребовалось не только пройти курс специальных тренировок, но и сидеть на протеиновой диете, когда каждые полтора-два часа нужно было есть или пить что-нибудь белковое, просыпаясь для этого даже по ночам. В результате она постигла искусство бокса, которое считает теперь интеллектуальным спортом, не уступающим шахматам, и на ринге обходилась без дублеров.

По иронии судьбы и в первый, и во второй раз Суонк номинировалась на «Оскар» с Аннетт Беннинг (соответственно за роли в фильмах «Американская красота» и «Быть Юлией»), и старшая подруга в обоих случаях ей уступила. Все же такое вряд ли можно назвать случайностью. Как ни пытайся объяснить решение академиков какими-либо «вывихами», придется признать, что какая-никакая доля справедливости в нем есть. Мне кажется, очень большая. Что же касается однопланости, в которой часто упрекают актрису у нас, то, думаю, к тридцати одному году она вряд ли успела раскрыть все грани своего дарования. «У меня перед дверью стоят три пары туфель, — рассказывает Хилари. — Теннисные туфли Adidas, сабо из дешевого молла Kmart и лодочки от Chanel. Я как-то взглянула на них и подумала, что они, как ни странно, очень точно отражают мою суть. Kmart — это мое нищее прошлое, Adidas — моя разумная практичность, а Chanel — это та часть меня, которая любит приодеться и получать удовольствие».

Тонкий стилист Брайан Де Пальма увидел в Хилари Суонк идеальную исполнительницу роли Элизабет Шорт в криминальном триллере «Черный георгин». Это экранизация одноименного романа Джеймса Эллроя, в основе которого реальные факты — убийство двадцатитрехлетней девушки из низов, пытавшейся стать киноактрисой. Элизабет получила прозвище Черный георгин, потому что любила щеголять в узких черных платьях, а губы красила ярко-алой помадой, что при сливочной коже придавало ей облик настоящей femme fatale. Таким образом, и Хилари Суонк предстанет на экране в этом амплуа. Кстати, при выборе актрисы режиссер наверняка имел в виду определенное внешнее сходство между своей героиней и Хилари — еще один штрих, роднящий ее с персонажами «золотого века».

Владимир Фаворский. Из иллюстраций к «Слову о полку Игореве». Фрагмент

АЛЕКСАНДР ШПАГИН

Религия войны

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О БОГОИСКАТЕЛЬСТВЕ В ВОЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Великий миф, когда-то гениально придуманный в соответствии с негласным общественным договором и устраивавший все слои населения, миф сложный, глубокий, отнюдь не кондовый и не похожий на все остальные советские мифы гласил: война есть великий подвиг советского народа, война есть проверка на прочность всех человеческих качеств, благодаря войне мы спасли свою страну и весь мир от коричневой чумы. Война есть одна из лучших страниц всей нашей истории.

Сколь объемен и многолик он! И почти неотделим от правды. Собственно, он и превратился в правду, в ее яркий, реалистически продуманный и выверенный эрзац, эвфемизм. И дело здесь отнюдь не в идеологии, тоталитаризме, совке и прочем (хотя и в них, конечно, тоже). Миф родился и окреп в сознании масс, отвечая на их глубоко укорененные чаяния. Пробудившиеся рефлексы общинного сознания, вспышка патриотизма, ставшего коллективным неврозом, — вот его основа.

...В начале перестройки многие журналисты, учитывая интерес общества к Великой Отечественной войне, снова пошли по городам и весям в поисках новых живых свидетельств. Кто-то обращался к тем же очевидцам и ветеранам, кого уже интервьюировал раньше. Результаты превзошли все ожидания. Очевидцы событий — а иные из них жили в деревнях без телевизоров и едва слышали о какой-то там перестройке — вспомнили нечто совершенно иное, порою в корне противоположное прежним их же (!) свидетельствам. Как будто им кто-то разрешил просто говорить о *другом*. Что же произошло? Эти люди были так зомбированы идеологией? Их сковывал внутренний страх? Да нет — и прежде, в 70-е, они искренне и честно рассказывали про свою жизнь. А потом пожили и поняли, так же искренне, что жизнь у них была другой! Их воспоминания на самом деле куда страшнее, точнее и реалистичнее. А главное, они полностью вырывались из рамок общего мифа.

Вот ведь занятно, как только пришла гласность — будто разверзлись небеса. И исчезли иллюзии, и куда-то подевалась эта глобальная пустота, заполняемая страхом, и люди это всё почувствовали неизъяснимым образом, и расковались — стали ближе к самим себе, к своей собственной жизни, к своей личностной истории.

Но и интеллигенция, творцы и прорабы духа, — тоже зомби. И мы все прыгаем на нитях определенного сознания, которое проецирует на нас любая эпоха. И в большинстве своем мы тоже принимаем ее мифы, ее штампы, ее заблуждения и иллюзии. Увидеть *сквозь*, прорваться *над*, войти *в глубь* видимого и общепринятого дано лишь избранным.

...Меня поразил «круглый стол» на последнем кинофестивале в Белых Столбах. Он был бы совершенно невозможен еще пять лет назад. Почти все го-

ворили о Великой Отечественной прежде всего как о великой трагедии народа. А Владимир Дмитриев в начале дискуссии и вовсе заявил: «Мы хотели посвятить «круглый стол» проблемам коллаборационизма, но побоялись — все же на носу годовщина Победы». Поразительно! Ведь если бы говорили о коллаборационизме, значит, старались бы понять его, а понять — отчасти оправдать. Продвигается, значит, общество! Усложняется, углубляется его этика! Или просто меняются духовные ориентиры и приоритеты? Попробуем разобраться.

Уж так сложилось, что военный миф в советском социокультурном пространстве существовал как миф глубоко онтологический и отчасти как замена религии, веры, замена постепенно рушащегося мифа гражданской войны как мифа о созидании нового мира. Этот последний миф не очень работал — в конце 50-х такие фильмы, как «Ветер» и «Павел Корчагин», срывались в гротеск, а через гротеск — в отстранение и переосмысление; в 60-е «комиссары в пыльных шлемах» возникали откуда-то из глубокого ретро, бродили, подобно призракам, по «заставе Ильича», доходили до Кремля и растворялись в метафизическом небытии; а в начале 70-х вычурное название фильма о революции «И был вечер, и было утро...» уже отдавало самопародией.

Но миф Великой Отечественной работал. Так, например, в фильме 50-х «Дело «пестрых» следователь долго пытался расколоть преступника, тот не поддавался, и тогда был выложен последний аргумент: «Знаешь ли ты, кто был твой отец?» Преступник не знал, поскольку воспитывался в детдоме. А отец-то, оказывается, герой войны, погиб за тебя, а ты вот мешаешь нам строить коммунизм! И преступник мгновенно раскалывался и раскаивался. В колхозной комедии 60-х «Яблоко раздора» председатель приходит в дом к спекулянтке и стыдит ее: «Ты ж, Петровна, в войну вместе с нами была, партизанам помогала, а теперь вон как!» И она заливалась краской и навек завязывала со спекуляцией. В 70-е герои картин «Маленький реквием для губной гармошки» (представители «золотой» молодежи) и «Если это случится с тобой» (дети из современного пионерлагеря) попадали в 41-й год — и война проявляла их характеры, они излечивались от своих пороков и обретали силу духа: циники из одной картины становились правильными советскими людьми, а дети проявляли лучшие пионерские качества, избавлялись от трусости и раздолбайства — и потом, окончательно исправленные, и те, и другие возвращались назад, в 70-е. У всех этих и подобных героев происходило обращение в советскую веру, они проходили своего рода таинство причастия, и наградой им было духовное очищение.

Миф Великой Отечественной войны замешан на самых светлых, почти божественных началах. Отсутствовала в нем, правда, первая христианская заповедь: «Не убий!» Но именно тайным присутствием дьявола она мерила все советские мифы.

«Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе», — спел на заре перестройки Гребенщиков, впервые внятно сформулировав общую советскую проблему и общую советскую беду. Только вот вопрос: когда же «эта земля была нашей»? Ведь «увязание в борьбе» началось еще тогда, когда формировался первый советский миф — миф справедливого общества. Первые его пророки, будь то Чернышевский или Добролюбов, конечно же, пошли за свою веру на костры и потому превратились в мучеников. А далее общество впервые сказало: «Убий». Поначалу — себя («Иди и гибни! Дело верно, когда под ним струится кровь»), а потом — чужого, врага (точкой отсчета можно считать процесс над Верой Засулич, в результате которого она была оправдана за убийство губернатора и на руках вынесена из зала ликующей интеллигенцией). А дальше — «толстая красная линия» тянется сквозь фронты гражданской непосредственно к сталинским лагерям.

Война и стала глубочайшим экзистенциальным опытом советского общества. Через постоянное ощущение непредсказуемой смерти, которая всегда рядом, через бесконечный и тотальный конфликт ее с жизнью проявилось подспудное ощущение богооставленности, а значит, впервые возникла коорди-

ната Бога. В искусство тех лет прорвалась невозможная доселе великая грусть, которая еще не могла найти метафизического выхода и потому воплощалась в тяжелых, депрессивных формах. Кинематограф выразил подобное состояние наиболее внятно и зримо.

Вспомните, сколь безнадежны по своей атмосфере военные фильмы — «Радуга», «Нашествие», «Непокоренные», «Однажды ночью», «Простые люди» — практически все они о жизни в тылу. Именно в них и возникла тема переживания нового духовного опыта, напрочь отсутствующая в фильмах о фронте, о котором авторы, как правило, знали только понаслышке и воссоздавали его мир по стандартным лекалам. Зато в «тыловых» лентах состояние выражено абсолютно четко — люди в них и говорят тихо, и ходят как-то медленно, и почти никто не улыбается (за исключением гадов и мерзавцев). А уж тьма какая на экране и сказать невозможно — изображение темно-серое, кадры мрачные. Как будто на всех свалилась некая непосильная ноша, исчез свет, и люди растерялись. Они попали в свой советский Аид, а как вести себя в нем, не знают. Раньше знали прекрасно, жить было «лучше», жить было «веселее» — всех гнали стадом куда надо, хоть бы и в лагеря. И несмотря на то что цели советской власти меняли свою «ориентацию» от года к году и зависели исключительно от воли верховного руководителя, а также от конъюнктуры момента, выражены они были всегда с известной определенностью: «работай от забора до обеда» и не забывай обезвреживать врагов. А тут — цель затуманилась. Хотя вроде бы чего уж проще: бей фашиста, вот тебе и цель. Ан нет! Люди, бьющие врага на фронтах, искусство не создавали (не до того) и в лучшем случае могли зафиксировать свой собственный опыт поверхностно — далее простого перечисления событий, перемежающегося страхом, болью и усталостью, как правило, не шли. Но что делать оставшимся в тылу, ожидающим? Пространство жизни освободилось на время от идеологии, на ее месте обозначилось голое, выжженное поле. Пора было осознавать себя в своей отдельности от массы, но никто еще не умел этого делать. В военных фильмах герои жмутся друг к другу, существуют коллективно, но коллектив отныне не спасает, а лишь проявляет трансцендентный ужас происходящего — и люди как будто не знают, что сказать тому, кто рядом. В «Нашествии» А.Роома, созданном по пьесе на редкость «несоветского» Л.Леонова — изящного, парадоксального, отстраненного, — все это состояние коллапса выражено с наибольшей силой. Леонов схватил главное: в пустое пространство, окончательно утерявшее Бога и оставленное Антихристом (сиречь советской властью), пролезают демоны, оборотни, пузыри земли — нелюди. Одни, как Федор Таланов, герой О.Жакова, возвращаются из тюрьмы (а может, из лагеря? — кто его, кстати, оттуда выпустил, уж не фашисты ли?), другие — вообще из небытия, как «бывшие люди» Фаюнин и Кокорушкин в исполнении В.Ванина и Г.Шпигеля. Конечно, в этом Аиде тени и начинают устанавливать свою власть. Обретает силу мир выморочный, ненастоящий, в котором все действия становятся хаотическими, теряют смысл. Пытается вырваться Федор Таланов — выходит в город на борьбу — кажется, что в городе хотя бы воздух есть, а значит, и свет, и цель найти можно, но это тоже иллюзия, — и он гибнет очень быстро, в общем-то, ничего не успев совершить. Но хитер и странен Леонов — какая-то сила движет им, и он показывает: тени-то, монстры-то находят тут свое пространство жизни, им очень даже хорошо, они вершат свой бал, ведь в их «бывшей» жизни смысл был, и потому они прекрасно обустраиваются в этом ненастоящем мире, налаживают здесь быт. Идеологическое и метафизическое спорят в этой картине. Фаюнин — явно плохой человек, бывший домовладелец, эксплуататор, но в нем есть смысл, и потому он легко творит свою реальность подобно булгаковскому Воланду (хотя тот тоже «человек» нехороший, а точнее, и вовсе дьявол). Но совсем оригинален финал: советская армия входит в город, тучи рассеиваются, и вроде как воцаряется свет. Однако что мы наблюдаем? Молодой солдат, видя, что Фаюнин щеголяет в дорогой шубе, просто стреляет в него — убивает без суда и следствия: если хорошо одет, зна-

чит, сволочь. Привет родной власти! Такое вот «освобождение» она с собой несет, и что станется с остальными героями, неведомо.

«Нашествие» — собирательный образ военного кинематографа, его метафизический камертон. А рядом, в других фильмах об оккупации, вдруг проявляются религиозные мотивы, мотивы жертвенности. Черты Богоматери обретает Олена Костюк в «Радуге» М.Донского, в крестный путь превращается жизнь Вари из фильма «Однажды ночью» Б.Барнета. Метафизика прорывается на экран совершенно естественным образом — авторам необходима какая-то внутренняя опора, поскольку отстраниться, подобно Леонову и Роому, у них не получается — не позволяет советское мышление, въевшееся в плоть и кровь и отстранения не терпящее. Поэтому наружу лезут онтологические смыслы. Но перед нами ложная онтология, ложная религия, поставленная с ног на голову и извращенная тоталитарным дьяволом.

Так, Олена Костюк из «Радуги», подобно Деве Марии, отдает своего ребенка на заклание миру, приносит его в жертву. Характерен известный кадр из фильма — в центре стоит с ребенком в руках героиня, как Сикстинская Мадонна, а позади нее два... скажем так, человека. Правда, ребенок у Олены на руках мертвый, убитый до того у нее на глазах, а люди по обе стороны — немецкие автоматчики с закрытыми от мороза лицами, монстры смерти, почти что лишенные глаз. Богоматерь отпускала своего сына в жизнь, интуитивно зная, что он должен пройти *духовный путь*, прежде чем станет Мессией. Здесь же женщина, опустошенная ненавистью и страданием, на руках несет смерть, и другая, собственная смерть, поджидает ее за спиной. Смерть вообще главная составляющая «Радуги», она буквально распирает фильм.

На бессмысленную смерть посылает ребенка молодая крестьянка — он должен отнести хлеб пленной Олене и погибнуть — мать потом почти спокойно его похоронит в сенях и подытожит: «Наверно, не надо было отпускать Мишку... Нет, надо. Надо было». (А зачем? Во-первых, Олену как-никак, но кормят, а во-вторых, гибель ее неизбежна.) Но цепная реакция смерти продолжается. Чтобы узнать, куда делся труп ребенка, фашисты берут в заложники пятерых и расстреливают их.

Пространство фильма сочится смертью, смысл обретается только через смерть, и потому радуги на экране нет. Лишь в середине фильма немецкий офицер роняет: «Радуга появилась. Хороший знак». Но самой радуги в кадре нет. В финале М.Донской о ней как-то забывает, да здесь ей и не место. С приходом Олены в деревне погибают несколько человек — так эта ложная богоматерь превращается в ходячую смерть с трупом сына-младенца на руках — она и лелеет, и привносит в мир этого мертвого «псевдо-Богочеловека» (язык не поворачивается назвать так младенца, прожившего несколько часов, но куда деться от настойчиво навязываемых режиссером христианских аллюзий?) — и холодный, умирающий, застывший мир деревни перевоплощается на экране в тотальный образ небытия, едва ли не сладострастно стремящийся к радикальному самоумерщвлению.

«Это наш Бог, наш, — говорит один из партизан, показывая на икону. — Он немцам не продается». Да уж воистину ваш, товарищи! Только с одной оговоркой: на иконе должен быть запечатлен лик Сталина, дьявола. А лучше вообще ничего — некий абрис без лица (или без глаз). Бог умер. И тыловой Аид — обычный образ фильмов военных лет — превращается в Ад. Донской в силу своего темперамента и таланта пытается перепрыгнуть сразу в религиозный экстаз войны, отдаться этой волне ненависти без остатка, принося и принося ей новые жертвы (уже не важно, какие, лишь бы были) — и, конечно, мгновенно попадает в лапы дьявола. Характерный, кстати, путь для режиссеров, выбравших себе в поводыри бога войны вместо Бога, чей лик узреть им было не дано.

Борис Барнет — едва ли не единственный режиссер 30—40-х, пытавшийся остаться внутри жизни как таковой, текучей, неоднозначной, плохо подчиняющейся идеологическим идентификациям, и каждый раз выходивший на бой с тоталитарным мифом, подобно Ивану-дураку, дравшемуся со

Змеем Горынычем (чаще побеждал Змей). Он и в «Однажды ночью» остается самим собой — создает грустную полуприключенческую ленту о том, как девушка спасает раненых бойцов в оккупированном городе. Получается метафизический триллер. Сон. На экране предстает абсолютно разрушенный мир — развалины и руины. Жить тут практически невозможно. Да никто и не живет, лишь изредка бродят странные существа без внятно определенных целей. Кто какую позицию занимает, сказать сложно — тем более что «положительных» и «отрицательных» здесь играют одни и те же актеры (зачем это было нужно Барнету — вот загадка; скорее всего, причиной является какая-то производственная необходимость). В начале фильма фашисты собирают сходку в цирке (кажется, туда приходят все жители), заканчивающуюся расстрелом. После чего складывается ощущение, что в городе вообще никого не осталось, лишь снуют чудные тени, преследующие друг друга. В этой вымороченной обстановке героиня совершает и совершает ежедневные действия по выхаживанию раненых бойцов — несмотря ни на что, — как заведенная. И таким образом приближает свою жизнь к духовному *подвигу*. Она устала, она испугана, время от времени падает в обморок, у нее часто случаются истерики, с лица не сходит гримаса ужаса. В финале она не погибает, а (вот запредельный финал, характерный для советского кино, да еще и 40-х годов!) сходит с ума. Барнет продолжает тему «Нашествия»: жизнь не в состоянии совладать с навалившейся на нее метафизикой смерти — противопоставить смерти нечего. Но если персонажи фильма Роома сбиваются в спасительный коллектив и там теряют себя поодиночке, то героиня Барнета вынуждена выбирать посреди ада индивидуальный, личностный путь просто потому, что рядом с ней никого нет. И она тоже не справляется — ее *подвиг* не становится путем, а приводит к саморазрушению, ибо отсутствует духовная опора, — и вот результат: в экстремальной ситуации нацеленный на добро нормальный человек, оставшийся наедине с собой, превращается или в камикадзе (Федор Таланов в «Нашествии»), или в зомби.

Война потому и привнесла на опупевшую от дьяволизма землю религиозные смыслы, что впервые выявила на метафизическом уровне состояние советского человека как человека внебожественного, вырвав его из спасительного коллективно-идеологического сознания и ввергнув в мир смерти, в мир, где каждый умирает в одиночку. Наверное, похожее состояние богооставленности испытывали люди в лагерях. Но... нет, там все-таки был спасительный коллектив.

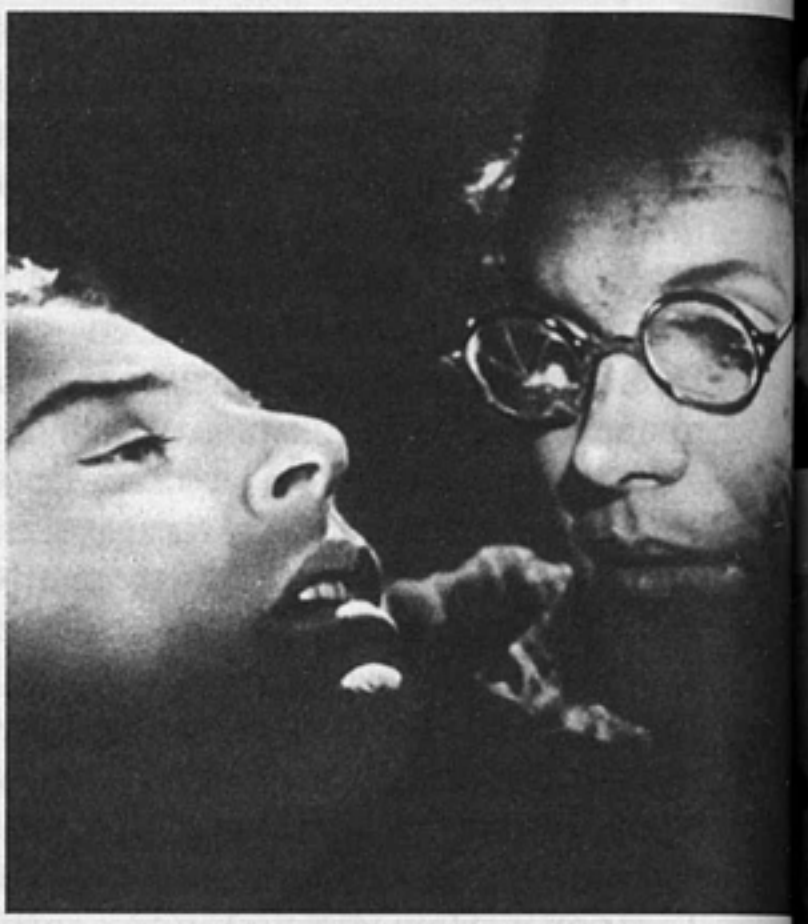
Сила коллектива спасает всех и на фронте. С врагом люди борются весело, потому что они в связке. Вон какая удаль разухабистая царит в «Двух бойцах», в «Иване Никулине — русском матросе», а уж о «Секретаре райкома» вкупе с «Боевыми киносборниками» и говорить нечего. Даже и не очень понятно, комедии перед тобой или что-то иное. Внешняя легкость здесь — не только необходимая примета времени (фильмы должны были поднимать дух бойцов), но и защита от все той же растерянности, от непонимания, как показывать фронт, как заговорить на языке новой реальности — реальности войны. И не случайно худшие эпизоды в этих картинах — эпизоды боя, а само повествование расхристано, неряшливо и эклектично. Но зато музыкальные сцены удавались великолепно — как веселые, так и лирические песни прекрасно находили себе здесь место. И неудивительно! Ведь в них прорывался собственный опыт авторов. Беря в руки гитару или гармонь, герой фильма оставался наедине с самим собой и мог высказаться от первого лица. А вместе с ним и авторы — тут вдруг и возникало нечто подлинное и подспудно трагическое: «Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, вот и теперь надо мною она кружится...», «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...» — в этих словах и страх, и боль, но и глубинный внутренний стоицизм, осознание себя не как члена социума, а как просто человека. Экзистенциальная дистанция была предельно краткой — время исполнения песни — и духовного развития никак не предполагала. Герои, а с ними и авторы затем снова утопали в коллективном пространстве —

«Фронт», режиссеры братья Васильевы

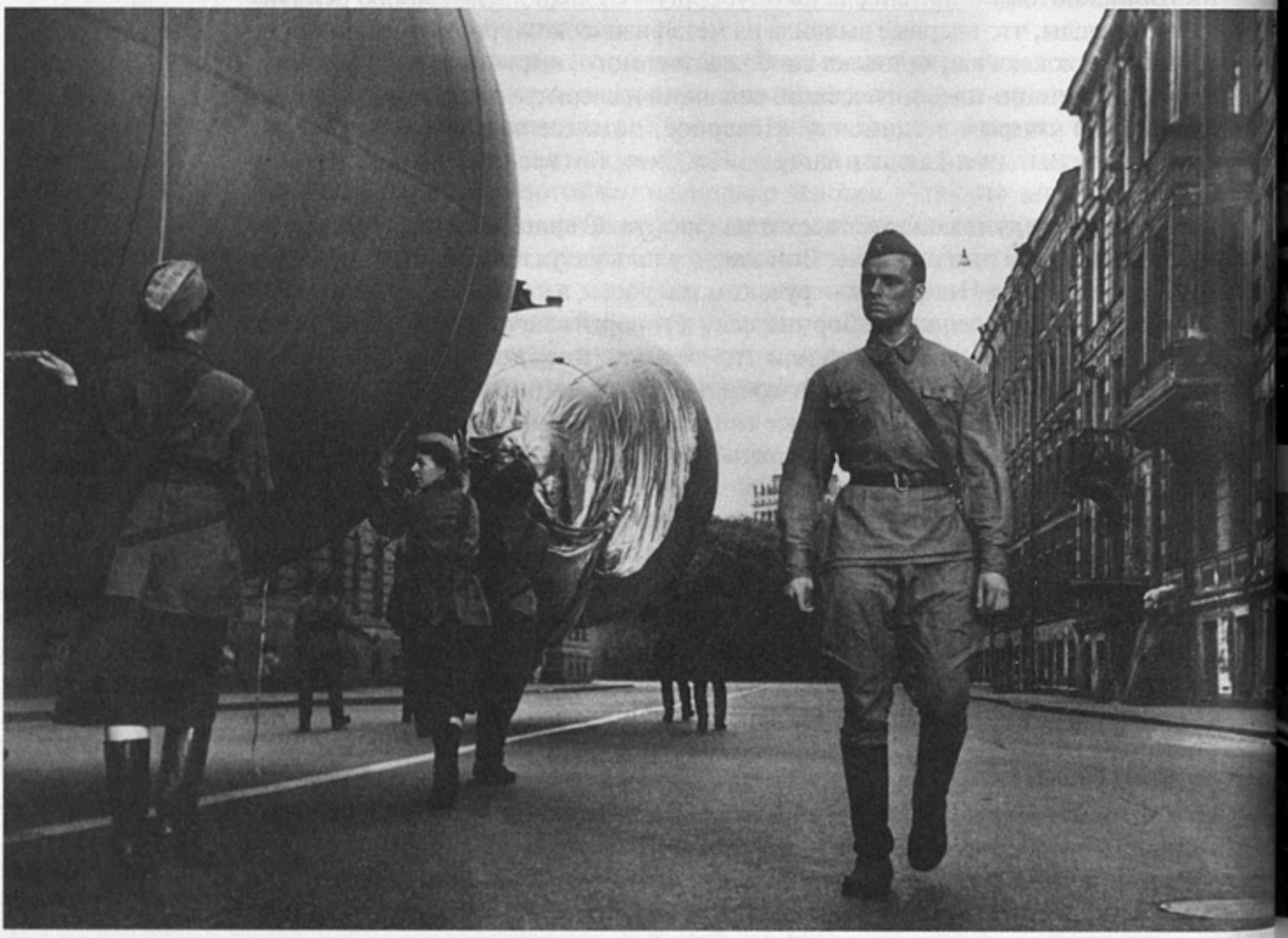
«Третий удар», режиссер Игорь Савченко

«Секретарь райкома», режиссер Иван Пы

«Молодая гвардия», режиссер Сергей Герасимов



«Солдаты», режиссер Александр Иванов



«Ленинградская симфония», режиссер Захар Аграненко

«Бессмертный гарнизон», режиссеры Захар Аграненко, Эдуард Тиссэ

«Судьба человека», режиссер Сергей Бондарчук

«Нашествие», режиссер Абрам Роом

«Радуга», режиссер Марк Донской

«Летят журавли», режиссер Михаил Калатозов

но оно вдруг лишалось своих привычных мифологических опор. На фронте коллектив не работал, да и советский миф трещал по швам — бесконечное подбадривание друг друга во время походов и боев, перемежающееся несмешными шутками, отдавало чудовищной фальшью. Поэтому нелепая комедийная интонация лезла сама собой — вот приближаются фашистские танки, а молоденькая медсестра в фильме «Фронт» рассказывает затаившемуся у пулемета солдату про то, как презирает она другую медсестру, свою соперницу. И ладно если бы свой страх заговаривала, так нет же — просто рассказывает, а солдат реагирует: и в самом деле, эка беда, танки ползут — сейчас побьем их, дело плевое! Или в финале «Двух бойцов» уж, казалось бы, убили Дзюбу или контузили. «Умер», — вздыхает Саша, герой Андреева, и раздается знаменитое: «Кто умер?» — похоже, Дзюба даже не ранен, хотя как это может быть и отчего он столь бодр, непонятно. Но в зале смеялись... И потому лучше всего у режиссеров ЦОКСа получались фронтовые комедии — в них нужно было не приближаться к реальности, а просто творить на экране откровенно условный мир. Что для режиссеров не составляло никакой сложности — они эту условность все 30-е годы на экране воплощали, она была им близка и понятна.

Но и комедийная условность вдруг обнаруживала в себе черты странной морально-этической невнятицы, оборачивающейся зловещей гнусноватостью. Характерен пример из комедии С.Юткевича «Швейк готовится к бою». Убежавший из концлагеря и крайне свободно себя ведущий Швейк (в исполнении В.Канцеля удивляющий местечковыми интонациями, щуплостью и нарочитым копированием повадок Чаплина) убивает фашистов и местных полицейских, по ходу дела (!) распевая песенки, а его друзья приканчивают немецкого офицера и зачем-то используют его в качестве манекена в витрине своего магазина. И это все должно быть смешно! Но не смешно получается, а страшновато. В чем тут дело? В гротеске. Гротеск же есть в некоторой степени возвышение над реальностью, своеобразный экстаз, «улет», но — как только война на экране приобретает экстатические черты, лезут дьяволы, лезет ад. Выясняется, что границы добра и зла у авторов слегка стерты, нравственное сознание зыбкое — они хотят воспарить над реальностью, создать ее условно-поэтический образ, а получается какой-то кошмар — обезбоженное сознание сразу выявляет свою внутреннюю пустоту.

Конечно, все режиссеры 40-х хотели быть честными, но чем больше они стремились к правде, тем больше запутывались — и в языке, и в жанре, и в структуре. Не могло их сознание совладать с навалившейся на них войной, ибо внутри него тоже происходила война — война тоталитарно-мифологического начала с онтологическим. Наверное, так чувствовали себя первые христиане в Киеве, насильно обращенные в веру.

Раньше художникам было легче — тоталитарному началу они в лучшем случае противопоставляли свое индивидуально-бытовое сознание — может, не столько личностное, сколько просто человеческое, житейское. На этом ринге и высекалась искра кинематографа 30-х, тем более что Сталин против подобного «оживляжа» ничего не имел и даже поощрял его. А вот когда метафизика вдруг начиналась (ну, например, в «Строгом юноше» или «Новой Москве»), тут-то и «падала гиря до полу» — на подобные фильмы накладывался запрет.

И все присмирели, постарались забыть про метафизический верх бытия. Но война-то его выявила поневоле — само пространство жизни стало сюрреалистическим. И задергалось художественное сознание, не в силах совладать с этим бременем. Чтобы избыть его, многие пытались уйти, «выпрыгнуть» в экстаз. У большинства не получалось — не хватало ни таланта, ни опыта, ни привычки, ни знания экстатических законов. А те, кому удавалось дойти до откровенного камлания и едва ли не транса (как Донскому), тут же проваливались в бездну. Донской, наверное, обиделся, если бы ему сказали, что он создал апологию ненависти и пропел гимн дьяволу, — он же не этого хотел.

Чувствуя разброд и шатания, власть предприняла новую попытку утвердить свой миф — привычный, тоталитарный, кондовый. Для начала нужно было найти врагов среди своих, потом «загрузить» их в форму пафосного эпоса. Сталин призвал Корнейчука и братьев Васильевых, которые и сотворили по его заказу фильм «Фронт». Ох, и занятный получился фильмец! Любопытно уже само название — не «Ошибка генерала» там какая-нибудь, а «Фронт» и точка. Вот она, правда в последней инстанции, вот как все было. Оказывается, неудачи первых лет войны происходили из-за промахов командующих фронтами — бывших полководцев гражданской войны. Если их убрать, то все будет отлично. Сказано — сделано. Генералы вместе со своими присными убраны *куда надо*, бразды правления отданы молодым командирам, порядок восстановлен, и товарищ Сталин, как говорится в финале фильма, «очень доволен». А фамилии у героев какие! У бравого, но глупого командующего — Горлов (в смысле, много орет, а толку нет), у его мерзостных подчиненных — Хрипун и Удивительный (прямо гоголиада какая-то лезет — и опять чуть ли не комедия!), у загадочного «гермеса» меж Сталиным и штабами — почему-то Гайдар (а сам он то ли еврей, то ли азиат — в общем, человек-икс), а у хорошего командира — конечно, Огнев. Точки над «i» расставлены столь жирно, что одни только точки и видны. А за точками — новый эпос, Илиада по-советски. Свои борются со своими, но те, которые хуже, строчат на «наших» доносы (!), да какие! У «хороших»-то, оказывается, происхождение подпорчено, многие из них вышли из буржуазных семей. Но просчитались доносчики — ведь только им одним неизвестно, что в советской стране «сын за отца не отвечает». Вона как.

«Фронт» еще отдает легкой эклектикой — с гротесковыми Хрипунами и Удивительными в выразительном исполнении В.Ванина и Б.Чиркова авторы, похоже, немного перестарались — они тут несколько не к месту. А дальше уже ничего такого не будет — фильм Ф.Эрмлера «Великий перелом» воистину станет великим переломом в осмыслении темы войны. Миф сформируется и затвердеет, будучи загнан в знакомую до боли тоталитарную структуру. И понесутся «третьи удары», «падения берлинов», «сталинградские битвы» и прочие «матросовы» с «заслоновыми».

И сформируется квазирелигия. И все ее примут с легкостью и облегчением. Ибо не нужно уже будет мучиться и сомневаться, в ад или куда еще попало твое нетронутое сознание в поисках нового экзистенциального опыта, и исчезнут сомнения, такая ли война, образ которой сформировался в твоих мозгах, нужна вождю и народу, или какая другая...

Постулаты религии войны чрезвычайно просты и банальны: война — подвиг, фашисты — сволочи, партия — сила, организующая и направляющая, единица — вздор, все было правильно. Фильмы после «великого перелома» имеют явно очерченную эпическую направленность, сняты они преимущественно общими планами, характеров тут нет, в центре — более или менее проявляющийся народный герой (характерно, что Матросова в фильме о Матросове не многим больше, чем Алеши Иванова — Б.Андреева в фильме «Падение Берлина», хотя первый фильм вроде как биографический — но, понятное дело, биография здесь используется в жанре жития одного из столпов нового пантеона, — главным же смыслом и центром произведения является сама эта религия), а события и сюжетные повороты не слишком внятны, ибо лишены коллизий и конфликтов — их заменяет пафос. Пафос построения нового храма — храма ненависти.

Он наполняется витальной силой, в нем постепенно прорастает тяжелая, мрачная, но весьма мощная энергетика. Казалось бы, совершенно неудобоваримые по конструкции фильмы «Третий удар» и «Падение Берлина» смотрятся, они обладают немалой выразительностью, в то время как очередной акафист во славу прежнего храма под названием «Клятва» воспринимать совершенно невозможно — чистая мертвечина.

В форму нового эпоса легко вливается и живая кровь, насыщенная приметами реальности и быта, — по этому принципу создана С.Герасимовым «Мо-

лодая гвардия». Легенда о гибели отроков — мучеников, отдавших свои жизни на алтарь Молоха, сделана легко и непринужденно, ни дать ни взять обычный реалистический фильм. Только движителем его является не жизнь, а смерть — она придает всему происходящему на экране некий эзотерический смысл. Чем больше этот смысл заполняет экран, тем меньше в фильме жизни и тем больше пафоса — кому были бы интересны судьбы отроков, если бы они не погибли в пещи огненной? Новая религия нацелена исключительно на подвиг, заканчивающийся гибелью во имя.

«Падение Берлина» М.Чиаурели стало апогеем мифа. Можно было смело констатировать, что на отдельно взятой территории откристализовалась новая религия — религия справедливой войны, религия нового мира. И не надо уже никаких революций — всё, мировая революция произошла — пусть не во всем мире, но на немалой его части. И принес ее русский Иван — или Алексей, такой, например, которого играл Б.Андреев в «Падении Берлина». Всё. Восклицательный знак, и точка.

Пять лет после этого фильма ничего о войне в нашем кинематографе не снимается. Да что в кинематографе! Замолкает и литература. Всем как-то больше вроде и нечего сказать.

Ситуацию меняют смерть Сталина и наступление новых времен, несущих с собой отдохновение от борьбы и крови. В кинематограф приходит Захар Аграненко, первым создающий принципиально иной военный бренд. Он снимает два фильма — «Бессмертный гарнизон» и «Ленинградскую симфонию». Рядом появляется Александр Иванов с точно такой же по концепции лентой «Солдаты».

Милейшие фильмы! Как, оказывается, хорошо, душевно жилось в годы войны! В блокадном Ленинграде («Ленинградская симфония») люди встречались, пели песни, ставили спектакли, радовались, смеялись, жили насыщенной духовной жизнью — и неудивительно, что прибывшему на побывку с фронта герою так не хочется возвращаться назад. Правда, и на фронте тоже неплохо — вон как здорово живут герои «Солдат» во время обороны Сталинграда, травят байки в землянках, поют песни, дружат до посинения, нравственность царит неимоверная, кто чего о женщине не так скажет — тому сразу в морду, да он и сам, глядь, уж и исправился, пока кулак до морды летел. Иногда, правда, случается ходить в атаки — не без того, но, подумаешь, беда какая, можно и пострелять чуток, все равно никто не погибнет. И лишь порою случается неприятность — вот один нехороший командир погнал взвод в атаку (а можно было и не гнать, ситуация позволяла), так ему товарищеский суд вначале устроили, а потом, конечно, под трибунал отдали — зачем такому гаду разрушать сложившийся рай? И интеллигентный еврей в очках лейтенант Фарбер в исполнении И.Смоктуновского жаждет влепить мерзавцу неумелую пощечину (как эта сцена всем нравилась! — первое появление положительного еврея на экране после недавней космополитической кампании, что ни говори, событие — и для авторов фильма в некотором роде поступок). Ладно, в Сталинграде не жизнь была, а малина, но в Брестской крепости («Бессмертный гарнизон») все-таки потруднее приходилось — там люди даже гибли. Но моральная обстановка при этом отличалась удивительной гармоничностью — в ней царили единодушие и взаимоуважение.

Снова в войне художники подсознательно искали общественный идеал. Кинематографисты середины 50-х, выбравшиеся из сталинского ада, обращались к этой теме в надежде обрести точку опоры. Война в их фильмах являлась источником подлинного света — она сплачивала нацию в великом и справедливом порыве. Люди объединялись, чтобы разогнать наступившую тьму и в этой борьбе обрести свет, — не это ли было главной мечтой революции, да и вообще доминантой социализма? И уж совершенно ясно, что они были искренни, ведь боролись со страшным злом — с фашизмом. Их действиями руководило нечто высшее — оно и привело к Победе.

Персонажи этих лент воистину прекрасны — у них светлые интеллигент-

ные лица, они философствуют, спорят о высоком, пышут благородством. И трудно здесь отличить простолюдина от интеллектуала — все подобны богам. Характерно, что во всех трех лентах взяты самые страшные «точки» войны — Брест, Ленинградская блокада и Сталинград. И не случайно подразумевающиеся экстремальность и трагизм здесь нужны только в качестве экзистенциального пунктира, ибо перед лицом смерти герои еще более морально возвышаются и еще более пылко рассуждают о смысле жизни. Они показывают пример сегодняшним, как надо жить, а потому на экране и нет смерти, потому и не умирает никто — зачем? Здесь все нацелено на продление бытия, на любовь и на радость. Смерть лишь только предполагается, в кадре она бы разрушала то воистину религиозное пространство, которое по наитию создавали режиссеры.

Так впервые война в советском искусстве обретает трансцендентные черты — она дает возможность каждому не только проявить себя в подвиге-смерти, но обрести свою подлинность — стать человеком. Чтобы нести этот свет дальше — в светлое-пресветлое будущее.

Опять война была осмыслена как нечто высшее и главное. Вера 40-х озарялась ненавистью и жаждой мщения, она вела в бой, чтобы человек отомстил, а лучше — погиб, ибо вера должна поверяться кровью. Пятидесятники повернули иначе: вера может нести с собой духовное очищение, возвышать человека, приближать его к абсолюту.

Произошел поворот в осознании религии войны. Первое прикосновение к теме произошло в трех фильмах, один из которых — «Солдаты» — стал этапным и даже культовым, что весьма не случайно.

Теперь требовалось иное (и главное!) подтверждение и оправдание веры через экстаз. Путь открыли Михаил Калатозов и Сергей Бондарчук. «Летят журавли» и «Судьба человека».

В этих фильмах разверзались небеса, земля под ногами поднималась, мир раскалывался на две половинки, рушился — и простой, ничем не приметный человек взывал к высшим силам: «За что же ты так искалечила меня, жизнь, за что так исказнила?»

Можно было бы ответить: а вот как раз за то, что был никем, вкалывал на шахте, пил по-черному да жену бил. И только пройдя сквозь страдание, впервые осознал себя в мире — может, и человеком-то стал только сейчас?..

Духовный путь сквозь бездну проходит Вероника в фильме Калатозова. Здесь тоже — погружение души в ад, прохождение своего пути и финальное растворение в космической гармонии, когда мгновение и вечность неразделимы, когда нет ни прошлого, ни будущего, когда твое горе и твоя радость уже не принадлежат только тебе. Ты становишься миром, и мир становится тобой...

В лентах Тарковского духовный путь будет уже открыто декларирован, там мы увидим своего рода лабораторные опыты с неким абсолютом души рефлектирующего интеллигента, а финал пути будет раскрыт через образ, через метафору (как, например, в «Солярисе»), к тому же еще и предварен словесной сентенцией (вроде «Я могу говорить...» — в «Зеркале»). И заговорят, и выговорят все до конца, и в который раз не найдут ответа...

Не то — в 50-е. Тут все на интуитивном уровне, до интеллигентской рефлексии героям этого времени далеко. Да и понятия такого, как авторское кино, не существует. Кстати, удивительно! По сути, предельно авторские произведения — «Летят журавли» и «Судьба человека» — не несут в себе эгоцентрического начала. В них еще нет осознания индивидуальной художнической миссии — не случайно они похожи, особенно стилем операторской работы. Изломанность изображения, субъективность камеры становились основой поэтики кинематографа, открывающего новый жанр духовного пути, духовных исканий.

Сходство лучших картин конца 50-х можно сравнить со сходством икон — разных и в то же время довлеющих к некоему единому канону. Но, собственно, все это и есть неосознанный прорыв к Богу.

Это было открытие. Великое открытие советского кинематографа XX века. Впервые возникает сюжет погружения в бездну и преодоления ее. В бездну, проходя сквозь которую, человек восходит на новые уровни в осмыслении бытия. И — просветляется душа. А может, здесь-то она и рождается. Цена обретения личности — трагедия. Трагедия и даже смерть.

Калатозов, Чухрай, Бондарчук, Алов и Наумов. Их фильмы можно воспринять во всей глубине, если вычитать за поиском правды дискурс богоискательства. И неизвестно, чего в их произведениях больше — нравственного пафоса или затаенной, подспудной рефлексии.

Сегодня, пересматривая эти фильмы, задаешься вопросами: что такое крестный путь в стране атеизма? Что обретает человек, пройдя его? И духовный ли это путь? Но задавались ли подобными вопросами авторы?

Да, они совершали прорыв к Богу, но на языческом, досознательном уровне. Новый мир и новые смыслы рождались как будто помимо воли авторов, еще не определившихся в своем отношении к ним. Почему, например, прощают Веронику — прощают за все, даже за измену? Почему Соколов — типичный, настоящий (чуть ли не идеальный) русский человек? Какой он — простой или непростой, сломленный или не сломленный жизнью?

Как ни странно, именно двойственность и делает эти фильмы шедеврами. Ибо впервые в советском кино возникают неодномерные, неоднозначные, а главное, непознанные и непознаваемые до конца герои.

Так будет задан код на 60-е годы. Пытаясь разобраться в человеке, авторы попутно вглядываются в самих себя — и все отдают на откуп интуиции — авось, вытянет! И вытягивала. Впрочем, код сей будет прочитан и разыгран по нотам чуть позже.

Пока же мифосознание общества все еще оставалось непоколебимым.

Хотя тайная борьба с мифом шла, она развивалась по своим, еще не ведомым никому законам.

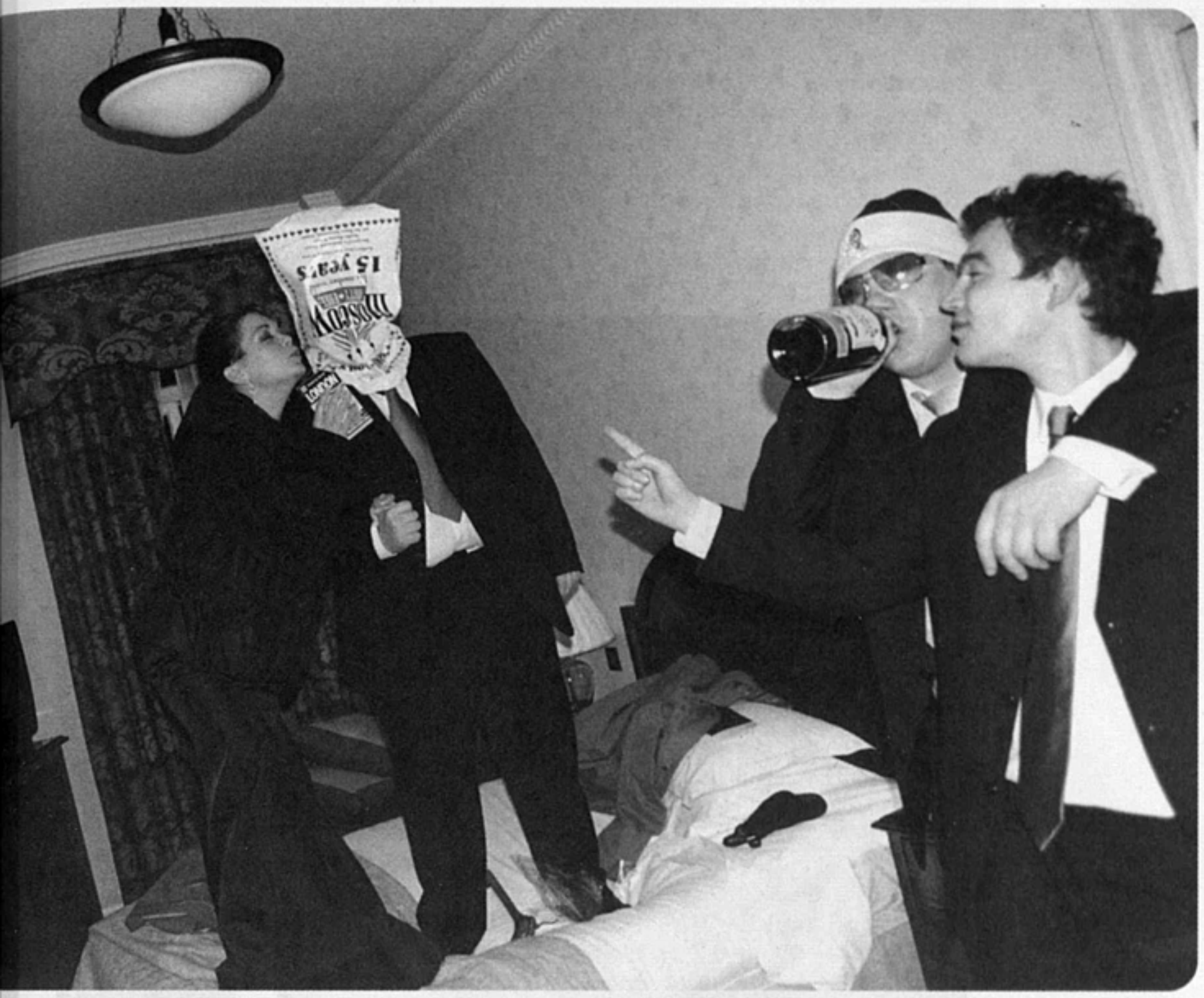
Человек, поставленный 50-ми в центр войны, обнаруживал в своей душе страх и боль, он оказывался тотально одинок. И благодаря его взгляду, в котором было одно лишь страдание, мир терял свои мифологические контуры и открывался нам как космос абсолютной трагедии. Не зря столь важен в этих фильмах момент искушения самоубийством — совершенно новаторский для советского кино. Экранный мир тут мог превратиться в груду хаотических обломков, если бы в сюжет не было заложено ощущение крестного пути, становящееся главной темой.

Все чаще и чаще чисто повествовательную структуру подобных лент нарушает интонация сказания, жития. Герои Самойловой, Ивашова, Бондарчука станут первыми пророками обезбоженного мира — мучениками, интуитивно устремленными к свету.

Финальный кадр «Журавлей» — взгляд на небо, в «Судьбе человека» — уход от камеры вдаль по земной горизонтали, в «Балладе о солдате» — взгляд с небес на землю. Иными словами, Вероника в финале обретает возможность увидеть Бога, Соколов удаляется от нас в открывшийся ему большой мир, жизнь Алеши Скворцова поверена высшим, горним взглядом. Взгляд сей — взгляд камеры сверху — начнет неотступно преследовать режиссеров 50-х годов, не давая им покоя. И напрочь исчезнет в середине 60-х, когда вместо рассеянного кружения в пространстве, которое предстоит вдохновить и осмыслить, взгляд будет обращен в глубь самого человека, стремящегося к осмыслению себя в мире.

Но перед этим возникнут два великих фильма, завершающих путь человека 50-х внутри религии войны, — «Двое в степи» Анатолия Эфроса и «Иваново детство» Андрея Тарковского.

Окончание следует



СИНЕ ФАНТОМ CLUB

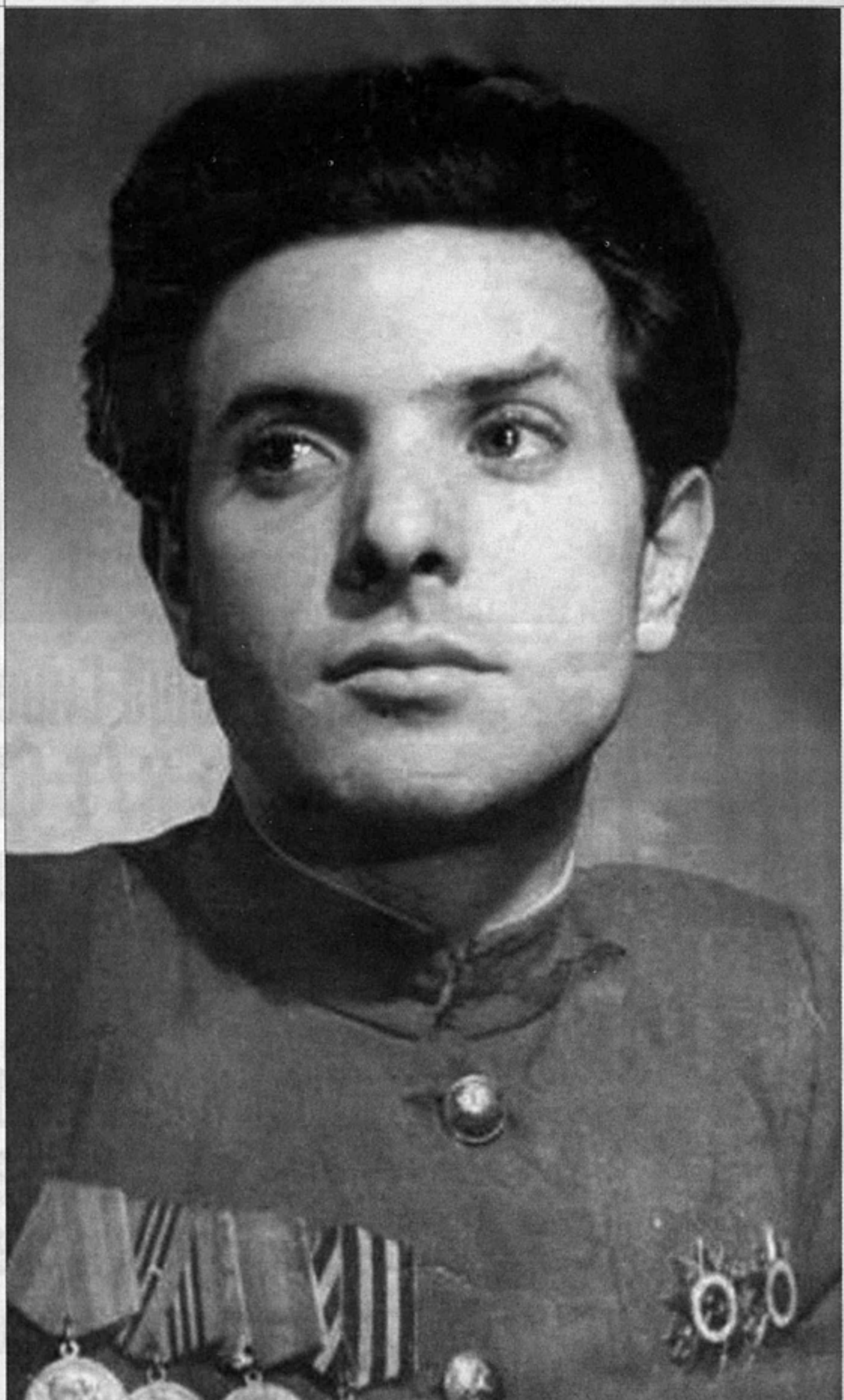
Клуб Сине Фантом в к/т Фитиль

единственное место в Москве, где показывают **настоящее кино** и обсуждают его вместе с авторами.

Каждую среду в 20.00

при поддержке

ОПЫТ



Петр Тодоровский

ПЕТР ТОДОРОВСКИЙ:

«В молодости легко быть счастливым»

БЕСЕДУ ВЕДЕТ НАТАЛЬЯ БАЛАНДИНА

Наталья Баландина. В ваших картинах почти всегда слышен далекий или близкий отзвук войны, даже там, где сюжет не связан впрямую с военной проблематикой, например в «Фокуснике» или «Городском романсе». Мне кажется, что для вас эта тема стала еще и необходимым драматургическим компонентом, придающим определенную смысловую окраску образу героя, его биографии, его отношениям с миром — в обоих значениях этого слова.

Петр Тодоровский. Вот вы всё и сказали. (*Смеется.*) Вы знаете, я специально об этом не думал, но, видимо, то, о чем вы говорите, само по себе просачивается, выползает сквозь материал. Военные годы — это молодость, такое замечательное время, — в молодости легко быть счастливым. Понимаете? Легко быть счастливым даже при всех невзгодах (я говорю о войне)... Война ведь тоже — четыре года жизни, правда, в нечеловеческих условиях. Жизни. В ней все было: предательство, бездарные командиры, героические поступки, была и любовь, обязательно, если хоть какие-то условия позволяли, то это случалось. Она не отпускает меня, война. Может быть, еще потому, что так много накоплено — воспоминания, незабываемые лица.

Вот, например, был такой капитан Пичугов (я о нем уже когда-то писал), который однажды бежал зимой в атаку, и пуля влетела в его ушанку, вытащила всю вату и застряла конусом, представляете? А в другой раз пуля попала ему в пряжку ремня и отлетела рикошетом. Мы с ним дружили, хотя я был гораздо младше, и когда мы расставались — уже после войны, в Германии, — мы обменялись фотографиями, и он мне написал: «Тодоровскому Пете на память о пережитых страхах». Мой сценарий «На память о пережитых страхах» будет опубликован в альманахе «Киносценарии». Недавно я снял «В созвездии Быка» — картина такая несчастная, такая тяжелая, такая непринятая, а я ее тем не менее люблю, потому что это тоже моя молодость. Вот так сниму один—два фильма на современном материале, а потом опять возвращаюсь туда.

Я вам объясню: там, видимо, есть какой-то резерв, уже во время работы над сценарием выползают какие-то детали, подробности, которые не придумаешь. Допустим, в истории «На память о пережитых страхах» есть такая подробность: кто хотел выжить в бою, тот искал большую лопату — у нас были маленькие саперные лопатки, и если попадешь под обстрел и грунт окажется каменистым, то это смерть. Лопаткой надо было вырыть себе хотя бы лунку для головы, и многие стали доставать немецкие лопаты, два штыка можно вырыть такой лопаткой за секунды.

Н.Баландина. В основе замысла вашего режиссерского дебюта «Верность» было желание рассказать о погибшем в первой атаке друге Юре Никитине — его имя подарено герою фильма, сценарий которого вы писали с Булатом Окуджавой. В последней картине «В созвездии Быка» воссоздан, насколько мне из-

вестно, также реальный случай из вашей жизни — из вашего детства, а прототип городского мальчика — это вы.

П.Тодоровский. Мне было шестнадцать лет, и я два года жил в колхозе, очень далеком — в шестидесяти километрах от районного центра, где-то на границе с Казахстаном. Зимой, когда пурга заносила все вокруг, мы неделями не знали, что творится на фронте, по деревне ходили слухи, что Москву давно взяли. Я тем временем вполне освоил деревенскую жизнь — и работу на комбайне, и работу на лошадях, и в бригаде летом, и мешки с пшеницей таскал по вертикальной деревянной лестнице... Деревенька эта мне очень хорошо запомнилась: среди бескрайней степи вдруг природа выдула огромный холм, который поднимался ввысь. С одним парнем зимой мы ездили за сеном: вставали в четыре-пять утра, запрягали две упряжки быков и шли около восьми километров в одну сторону. Скирда была завалена снегом, надо было пробить дорогу, разгрести сверху снег, загрузить сено, обратно мы возвращались часов в двенадцать ночи. С годами я стал все чаще и чаще вспоминать эту историю. Конечно, внешне герой в фильме получился другой — когда писал сценарий представлял себе коренастого, маленького паренька. А дальше началась эпопея поисков — вот все придумал, а найти невозможно. Мы обошли все театральные училища. Ребята приходят — у самых маленьких рост метр восемьдесят. Все такие акселераты, жуть. Все экзамены закончились, студенты уже на каникулы разъехались, и вдруг мне ассистент говорит: «Еще в цирковом училище идут приемные экзамены на факультет акробатики». Мы приехали, и вдруг вижу — выходит мой Ваня.

Н.Баландина. Личностная, автобиографическая доминанта для вас всегда является отправной точкой в работе над сценарием и будущим фильмом...

П.Тодоровский. Я это называю, как говорят в строительстве, нулевой цикл, фундамент.

Н.Баландина. Однако конкретное воспоминание, частный опыт раскрывают опыт целой эпохи, всего поколения.

П.Тодоровский. Все происходит во времени и в пространстве. Я помню, как жили, помню людей, оказавшихся в исключительных обстоятельствах, в условиях крайней нужды. Как, например, мать приносила в самое голодное время три картошки, спрятав их в панталонах. Как нас в училище в одну пору кормили одной тушеной полугнилой капустой. Недавно вышел сериал «Курсанты» по моей автобиографической повести «Вспоминай не вспоминай». Его создатели кое-что изменили, расширили, но практически все осталось — и дух этой вещи, и герои, и ситуации. Понимаете, в училище многих персонажей и событий, описанных в повести и в фильме, не было, а на фронте такое было. В этом, наверное, тоже секрет художественного обобщения — ты прессуешь характер, берешь все самое яркое, что тебя окружало, все самое интересное и замешанное на правде. Я кондовый реалист. Чтоб что-то такое далекое от реальности изобретать, мне не хватает интеллекта. (*Смеется.*) Хотя, с другой стороны, я встречал очень начитанных, очень знающих людей, а по-житейски — дурак дураком, ничего не понимает. А почему, допустим, герой «Военно-полевого романа» подставил плечо женщине, которая на фронте была королевой и была любима, а потом вдруг оказалась на дне? Разве это не проявление интеллекта — отдать свое время, чтобы снова сделать ее королевой, укрепить в ней чувство собственного достоинства?

Н.Баландина. По-моему, для вас необычайно важна тема грезы, мечты — так являются женские образы мужчинам в ваших фильмах, а иногда мужские — героиням, как в «Любимой женщине механика Гаврилова». В «Верности» героиня Галины Польских для юноши-курсанта долгое время оставалась такой грезой — недоступной, нереальной...

П.Тодоровский. Абсолютно верно, образ героя и вся драматургия были построены на том, что он не может к ней подойти, — вот когда он подошел и они договорились, что будут встречаться каждое воскресенье, этих мальчишек подняли и отправили на фронт. Константин Симонов, посмотрев картину, сказал мне: «Это война жестоким железным лезвием влезла в живое тело их судьбы, в живые души, разъединила их, разрезала».

В училище во время войны все ребята были влюблены, они почти не видели девушек, но слышали их смех, ночами стояли и слушали, как играл патефон...

Н.Баландина. Показывая войну, вы намеренно избегаете изображения батальных сцен, атак, разведок, разрабатывая сквозную тему — минуты мира на войне, напоминающие о жизни на гражданке. Наверное, переживание понятия «мирная жизнь» как нормы, которую пытается вывернуть наизнанку война, в частности, спасало в этих страшных условиях. Этот мотив тонко раскрывается в одном из самых сильных эпизодов «Верности» — танцев в поле во время встречи двух поездов — курсантского по дороге на фронт и санитарного. Герой смотрит на танцующие пары, словно видит сон, где нет той реальности, в которой он заключен наяву. Это картина гармоничного, покойного состояния человеческой души, для которого противоестественно состояние, отраженное в пейзажах сожженных деревень, мелькающих в окнах поезда в предыдущей сцене.

П.Тодоровский. Этот эпизод выстроен, действительно, как самостоятельное пространство. Если приглядеться, то видно в кадре, что дальше рельсы кончаются, дальше нет железнодорожного полотна, обрублен путь. Дальше дороги нет — будет другая жизнь. И поэтому, когда появляются санитарки, тут же забыто, что рядом война, — жизнь все равно берет свое.

А что касается атак... Я должен вам признаться, что в «Военно-полевом романе» после прощания героя с Любой в начале фильма я по дурости все-таки снял кусок, где солдаты бегут вперед с криками «ура». Посмотрев материал, я понял, что это из другого фильма. Что же делать? Как изменить финал эпизода? Вызвали Наталью Андрейченко. А на студии копали какую-то траншею — то ли газ, то ли трубопровод. Посадили актрису в кадре, перед ней положили огромную фанеру, засыпав ее землей. И когда герой постепенно уходит, то в воздухе начинается гул артподготовки, с двух сторон качают фанерку, и земля начинает дрожать, а план героини становится все крупнее и крупнее.

Н.Баландина. «Был месяц май» Марлена Хуциева, где вы участвовали в качестве актера, кажется, выражает тональность и взгляд на военную тему, близкие вашей режиссуре.

П.Тодоровский. Это картина о первых минутах тишины. У меня даже был сценарий «Оглушенные тишиной», который я решил не снимать, потому что Марлен уже сделал «Был месяц май». Когда меня спрашивают: «Что вы ощущаете в День Победы?, я отвечаю, что сейчас, через шестьдесят лет, ничего не ощущаю, но я вспоминаю *тот* день победы, 9 мая 1945-го, когда мы с тяжелыми боями вышли к Эльбе, потому что немцы до последней минуты переправляли документацию, и только рано утром все затихло. *И это было так непривычно.* Мы вышли на берег Эльбы и впервые услышали, как птички поют, как вода бежит, и это была для нас не водная преграда, которую надо форсировать, а просто река, в которой можно было искупаться. Вокруг высокая зеленая трава — май, солнце светит, и мы сбросили свои вонючие сапоги и портянки и валялись в траве вместе с лошадьми. И где-то уже играет гармошка, и пчела жужжит. А самое потрясающее — я на всю жизнь запомнил — со мной лежал рядом Сережа Иванов, царство ему небесное (мы втроем — я, Юра Никитин и он — дружили в училище, втроем на фронт пришли, Сережа был у нас запевалой), и он уснул мгновенно, а я лежал, смотрел на голубое небо и вдруг опустил глаза — у Сережи нога грязная, вся в подтеках, а на большом пальце сидит бабочка. Вонючая нога — чего она села?! И я понял, что война кончилась.

Н.Баландина. Исповедальность и душевная распахнутость — свойства, в целом присущие поколению художников 60-х. Это отражалось и в «содружестве муз», во взаимном притяжении, в жажде совместного творчества. Совершенно не случайно, что вашими соавторами и друзьями были такие выдающиеся лирики, как Булат Окуджава, Александр Володин, Геннадий Шпаликов — как органично вошли его стихи, превращенные вами в песню, в «Военно-полевой роман»!

П.Тодоровский. Не только песня нас связывает. Мы со Шпаликовым позна-

«Интердевочка»

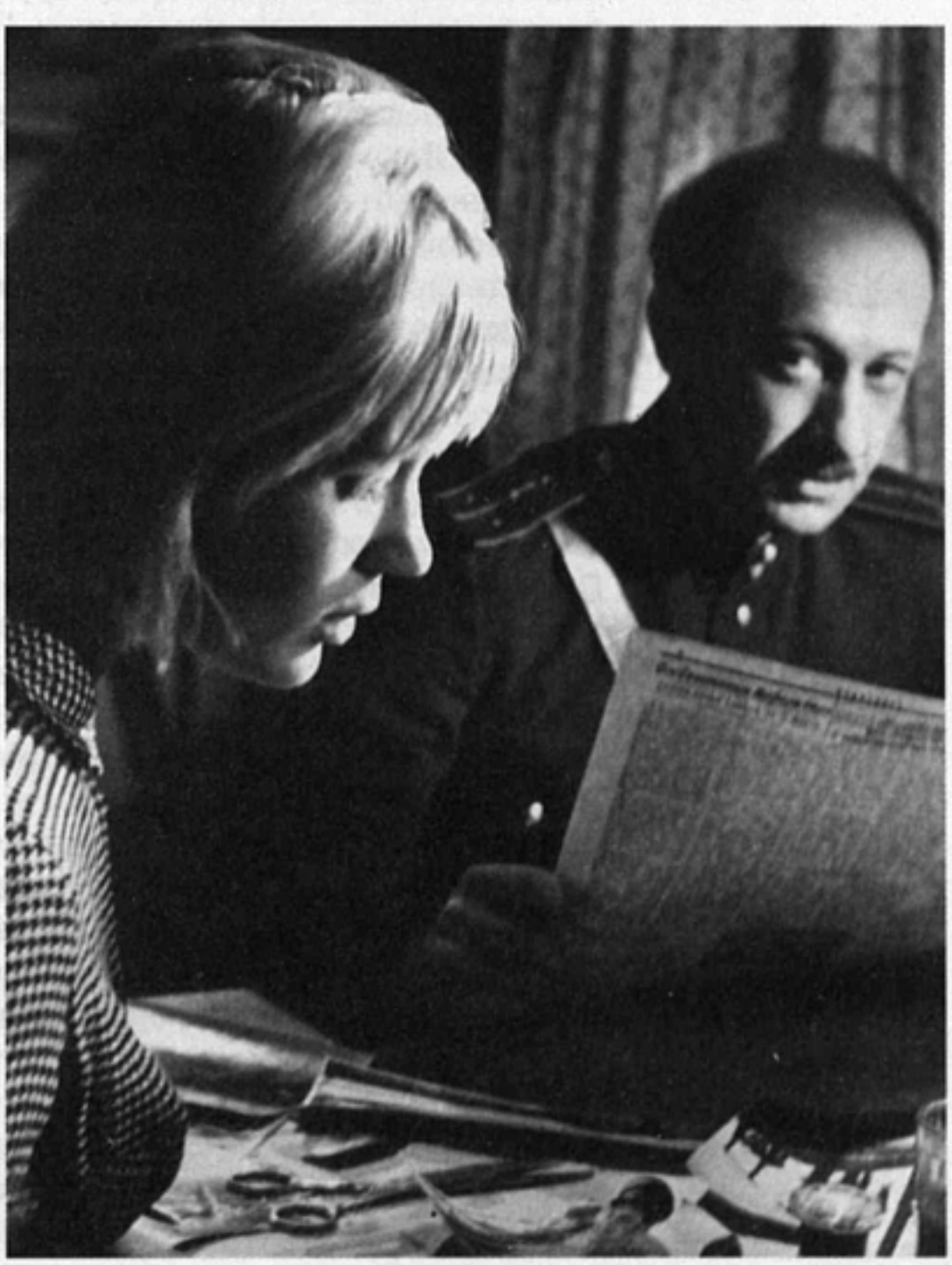
«По главной улице с оркестром»

«Военно-полевой роман»

«Никогда»

Петр Тодоровский на съемках фильма «Анкор, еще анкор!»

Петр Тодоровский



«Верность»

комились, когда они с Марленом Хуциевым писали «Заставу Ильича», и он меня попросил: «Петя, я никогда моря не видел, можешь меня вызвать в Одессу на твою картину?» Мы с Владимиром Дьяченко в это время снимали фильм «Никогда» по сценарию Григория Поженяна. И Шпаликова вызвали вроде бы на фотопробы, он целую неделю купался, пел песенки, пил вино... Сценарий Поженяна, кстати, долго лежал на студии: хорошие режиссеры почему-то не брали, плохим автор сам не давал. Решили доверить двоим — Володя только что закончил режиссерский факультет ВГИКа, а меня сделали сорежиссером и главным оператором. В этой картине в главной роли снимался Женя Евстигнеев, проявивший себя и как замечательный ударник, остроумный музыкант.

Н.Баландина. Известно, что у вас много неосуществленных замыслов, «заготовок» для кино и написанных сценариев, которые ждут своей очереди. Например, вы написали сюжет фильма специально для Инны Чуриковой — «Клоун». Расскажите, пожалуйста, об этой идее и том, что вам сейчас хотелось бы перенести на экран?

П.Тодоровский. Был период, когда я сидел и в основном писал. Сочинял быстро, легко. «Созвездие Быка», например, было написано двадцать лет назад: я тогда отложил этот сценарий из-за ощущения, что слишком часто снимаю о войне, и сделал «По главной улице с оркестром». Я, действительно, очень хотел воплотить замысел фильма, где Инна Чурикова сыграла бы клоуна, эта идея меня не оставляет, и, наверное, надо было сесть и написать сценарий. Потому что о войне мне вряд ли сейчас стоит снимать, хотя вместе с тем хочется перенести на экран «На память о пережитых страхах». Это жесткий сценарий, очень хороший, очень нужный — про выкормыша советской власти, который уничтожил прекрасную семью, погибшую не от войны — от предательства. Ко мне во взвод пришли отец и два сына — деревенские, забитые, тихие работящие люди, их история легла в основу этого сценария. Но если все будет нормально, то следующим летом я, может быть, буду снимать «Портрет, пейзаж и жанровые сцены». Пока это еще не сценарий, а проза, воспоминания о времени учебы на первом курсе операторского факультета ВГИКа. Нам дали задание — снять натюрморт. Наш мастер говорил, что натюрморт должен нести идейно-производственную мысль, и вместе с тем мы как будущие операторы должны были учиться освещать фактуру — дерево, железо, стекло, гипс. Я долго мучился и, куда бы ни ехал, все время думал о натюрморте. И тут мне снится сон: лупа — она огромная, я прикладываю ее к зубам, и у меня лошадиные зубы. Меня осенило — это же фактура замечательная! Оптическое стекло. Здесь и идейное, и производственное: сидит ученый-селекционер в кабинете, работает, сочиняет что-то — колоски, например, — а дальше уже разворачивается живая история. Над этим замыслом нужно еще поработать, поэтому ближайшее лето я пропускаю.

Н.Баландина. Тема войны для поэтов, режиссеров, литераторов, пришедших в профессию в эпоху оттепели, стала узловой, магистральной, на ее материале осознавалось настоящее время, современность.

П.Тодоровский. Вся проза Василя Быкова проецируется на наше время, те нравственные проблемы, которые он разрабатывал, актуальны и сейчас. Один из моих любимых фильмов — «Баллада о солдате», потому что это огромная перспектива доброты: если бы такой мальчик остался жив, то в будущем поколении этот ген доброты был бы очень надежным. Сейчас у нас невосполнимый дефицит доброты.

Н.Баландина. На ваш взгляд, опыт того кинематографа воспринят, усвоен нынешним поколением режиссеров, обращающихся к военной теме?

П.Тодоровский. Сегодня снимают фильмы о войне молодые ребята, то есть не совсем молодые — поколение сорокалетних. Но это, несомненно, совсем другое поколение людей: во-первых, они свободны и могут выражать все, что задумали, у них море информации, техника, позволяющая решать сложные кинематографические задачи. Мы-то всегда занимались саморедактированием: придумав хороший эпизод, мы заранее видели, что он «не пройдет», и вынуждены были отказываться от него. С другой стороны, я смотрю сегодняшние фильмы о войне, обращая внимание на то, как это сделано: хорошо или нет. Меня редко

трогает такое кино, это очень печально. Например, в «Звезде» Николая Лебедева все так технично исполнено, но вся история любви телефонистки и командира отряда провисает. Даже в старом фильме по Казакевичу, где все, естественно, было беднее, нет никаких эффектов и пиротехники, история любви сделана замечательно. В некоторых современных фильмах даже кажется, что режиссер просто хочет показать себя, свои умения, продемонстрировать, как лихо он может справиться с материалом, придумать сцену. В этом, по-моему, различие между теми фильмами, о которых вы говорите, и большей частью картин нынешнего времени. Есть и сильные ленты, например, «Свои» Дмитрия Месхиева. Хорошая режиссура, все хорошо играют, хотя сюжет со старостой мне кажется недостоверным. Во время войны мы столько читали о том, как старосты предавали евреев, партизан, поэтому это совершенно нетипичный, маловероятный случай. Балабанов — хороший режиссер, он сделал картину о чеченской войне, но и в его «Войне» следишь скорее за постановочной работой...

Н.Баландина. А как вы приняли картину вашего сына «Мой сводный брат Франкенштейн»?

П.Тодоровский. Я думаю, что это очень серьезное кино. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая» — картина об этом, если вспомнить Булата. Это антивоенный фильм, рассказывающий, к чему мы приходим, когда продолжаем «играть в войну», сеять гибель. Его хорошо принимали за границей. Но режиссерское поколение Валеры, повторяю, не похоже на нас во всем, это люди даже с другой психологией. Наше поколение — идеалисты, нам только дай снимать, получить доступ к камере. Мы заканчивали ВГИК и не знали, что с нами будет дальше: снималось восемь-двенадцать картин в год, в основном про Сталина или про его идеологию. Но многие из нас пришли в кино, когда переломилась эпоха, и мы (говорю о выпускниках операторского факультета) попали в руки к хорошим режиссерам (это тоже очень важно) — я к Хуциеву в «Весне на Заречной улице». Нам очень повезло. Я, конечно, очень хотел в режиссуру — вел записи, готовился... Когда мне предложили работу сорежиссера, я с радостью согласился: это была возможность не просто снимать, а участвовать в каком-то общем процессе — обсуждать замысел с актерами, со своим коллегой, организовывать что-то целое. Кино — это потрясающее искусство: сначала ничего нет, потом возникает идея, рождается сюжет, потом он ложится на бумагу, потом появляются живые люди — актеры. Большое счастье общаться с такими актерами, с которыми общался я: Женя Леонов, Женя Евстигнеев, Зиновий Гердт. С Гердтом мы семьями дружили до конца его дней. И о нем я мог бы рассказывать часами. Это был мощный сплав таланта, человеческих качеств и образования: меня, например, поражало, как он знал поэзию — можно было ночью его разбудить, ткнуть в любую страницу томика Блока и попросить прочитать наизусть. Ему были присущи музыкальность, необыкновенное чувство юмора.

Н.Баландина. Однажды вы сказали, что могли бы снять фильм по любой из военных песен Окуджавы, потому что в их куплетной форме уже заложена микроструктура сценария и, главное, выражен дух поколения, чья юность пришлась на годы войны, — все «болевые точки» этой темы затронуты. По-моему, такая картина — необыкновенно интересный проект, который может стать уникальным явлением культуры. Вы не намереваетесь, действительно, его воплотить?

П.Тодоровский. Не знаю, даст ли мне время реализовать эту идею. Сейчас к тому же проблемы с финансированием. Я хотел бы написать сценарий и снять фильм по нескольким песням Окуджавы: «Простите пехоте...», «До свидания, мальчики!», «Про Леньку Королёва»... Я с Булатом общался долго, интересно. Он почему-то не мог петь под мою гитару, говорил, что слишком сложный аккомпанемент. После «Верности» мы хотели продолжить вместе писать, у нас было несколько замыслов. Но пока я был чем-то занят, он сочинил сценарий «Пушкин в Одессе». Мне очень хотелось делать вместе «Военно-полевой роман», но в это время у Булата было много работы над прозой, и мне стало ясно, что нужно самому написать. Я уехал в Болшево, закрылся в номере, взяв с собой свою «Эрику». Целыми днями стучал на машинке — я так много знал, помнил, что никак не мог остановиться.

Н.Баландина. В одном из интервью вы рассказывали, что когда не знаете, как дальше будут развиваться события в сценарии, вы берете в руки гитару, и она вам подсказывает... Можно сказать, что ваш фильм часто вырастает из музыкального или поэтического образа?

П.Тодоровский. В «Военно-полевом романе» я застрял где-то посередине сценария, пока не придумал под гитару сцену в райсполкоме, где героиня встречает сильного мужчину, — это поворот истории. Стихотворение «Городок провинциальный» стало очень мощным эмоциональным фактором в драматургии, чуть ли не действующим лицом. Я сочинил во время подготовительного периода над картиной стилизацию под довоенные мелодии, стараясь, чтобы она была легкой, узнаваемой. Когда я снял основной материал, понял, что песня вроде бы звучит, а на самом деле ее в фильме нет, и возникла сцена, где героиня с дочкой лежат в кровати, напевая «Рио-Риту». Поразительно, что Гена Шпаликов, которому было в 1941 году, по-моему, четыре года, так точно почувствовал настроение первых дней войны, неуловимую атмосферу. Мы, мальчишки (мне было пятнадцать лет), да и взрослые в тот момент совершенно не понимали, не представляли даже доли трагизма положения, в котором мы все оказались.

Н.Баландина. Понятие «исторический эпос» вы всегда трактуете через историю отношений мужчины и женщины, ситуацию мелодрамы, конкретную человеческую судьбу, в которой выделена тема любви. С чем связан такой подход?

П.Тодоровский. А что важнее в жизни? Вы можете сказать? Мужчина и женщина, семья, любовь — основа жизни. Нас долго и методично учили любить страну, государство: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Неправда — мой адрес и дом, и улица, и дерево, которое растет под окном. Если взять хорошую литературу, там все раскрывается через историю отношений мужчины и женщины, через судьбу двоих. И в жизни так оно и есть.

Н.Баландина. Ваши любимые режиссеры — Чаплин и Феллини. Кого вы могли бы назвать еще в этом ряду, и какие зарубежные фильмы о войне на вас произвели наиболее глубокое впечатление?

П.Тодоровский. Я очень любил фильм по Ремарку «На Западном фронте без перемен». Американские картины о вьетнамской войне. «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. У Вайды для меня фильм номер один — «Пепел и алмаз». Это потрясающая картина, которую я могу смотреть всегда, там есть что-то подлинно польское. Это тот самый случай, когда есть и интрига, и даже детективный сюжет, а вместе с тем раскрывается целая эпоха, польский характер.

Вы понимаете, когда я смотрю Феллини и Чаплина, я их чувствую до самой глубины. Мой любимый фильм «Амаркорд», и я понимаю, что Феллини так надоела после «Сладкой жизни» вся эта светская молодежь, Рим, вся эта фальшь, что он кинулся в провинцию, в свой городок снимать про замечательных людей. Здесь все соединилось, слилось... И, конечно, гениальная музыка Нино Роты.

Н.Баландина. Вы не раз говорили, что сделано много хороших фильмов о войне, но не снят самый главный. Не написана современная «Война и мир». И вы не перестаете надеяться, что рано или поздно появится художник, который отразит эту эпоху во всей ее эпической и трагедийной мощи. Как вам кажется, что поможет человеку, родившемуся спустя много десятилетий после второй мировой войны, почувствовать и осмыслить то время так же ясно и глубоко, как в великой литературе?

П.Тодоровский. Уже пора, между прочим, потому что, если мне память не изменяет, Лев Николаевич написал «Войну и мир» спустя пятьдесят лет после войны 1812 года. Я думаю, что пока мешает наша сегодняшняя жизнь — перестройки, суматоха, у нас другая, новая страна, которая еще цепляется за ту, старую, разброд в умах, отсутствие высокой гуманной идеи в государстве, беззаконие, полюса бедности и богатства... Может быть, когда все это схлынет, появится совсем молодой мальчик, который, как Гена Шпаликов, почувствовавший, что для нас значил 1941 год, так же пронзительно и точно раскроет суть того времени. Расскажет объемно через Наташу Ростову, через Андрея и Пьера о второй мировой и Великой Отечественной войне. Это, конечно, должен быть гениальный мальчик.

ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ:

«Если рыбка плывет — схвачу»

БЕСЕДУ ВЕДЕТ ЖАННА ВАСИЛЬЕВА

Жанна Васильева. В сериале «Брежнев. Сумерки империи» по вашему сценарию главный персонаж выглядит фигурой из комиксов. Это сознательное решение?

Валентин Черных. Разумеется. Не случайно взят последний год жизни Брежнева. Тогда был абсолютный распад, все ждали, что будет дальше. Я помню, все прислушивались, не звучат ли траурные мелодии... Не случайно и то, что наш герой просыпается 14 октября 1981 года. 14 октября 1964 года был свергнут Хрущев. Я убежден, что люди помнят эмоциональные моменты: первый бой, первое убийство, первая женщина, первое предательство, первый заговор. Поэтому Брежневу снится прошлое. Хрущева сняли потому, что все в стране посыпалось. К 1982 году в СССР тоже все посыпалось: и в Афганистане завязли, и дефицит продуктов... Мне хотелось проанализировать эту ситуацию.

Ж.Васильева. Вам была интересна ситуация правителя, который не правит, не управляет?

В.Черных. Мне был интересен тот полковник, которому уже никто не пишет. И мне был интересен уход из жизни, когда человек подводит некий итог. Я сам уже в том возрасте, когда сильно задумываюсь, что сделано, что не сделано, что стоит делать дальше, а чего не стоит. Если Флобер говорил: «Эмма — это я», то я тоже могу сказать: «Брежнев — это я».

Ж.Васильева. Мне кажется, это не совсем корректное сравнение: Брежнев — человек во многом проигравший, а вы — человек успешный.

В.Черных. Как раз наоборот. Брежнев выиграл все. Он продержался восемнадцать лет. Он ушел сам, его не свергли, хотя могли свергнуть в любой момент.

Ж.Васильева. Вы считаете, он гениальный игрок?

В.Черных. Безусловно. Он один из наших самых хитроумных политиков. Может быть, один из самых хитрых и самых умных. Сталину было проще: он взял власть, когда система была уже создана. Хрущеву было проще: система работала на него. Брежневу было сложно, потому что система уже рассыпалась. Он вынужден был подпирать эту систему всеми возможными способами: орденами, должностями, нефтедолларами... Не случайно через девять лет после его смерти все рухнуло. Он тяжелое время выдержал, поэтому он мог считать себя победителем.

Ж.Васильева. Он мог бы считать себя победителем, если бы дело, которому он служил, укрепилось.

В.Черных. Система была обречена. Думаю, как умный человек он это понимал. Это же смешно — говорить о Продовольственной программе без частной собственности на землю, без рыночной экономики. Это все были жалкие попытки сдержать развал.

Ж.Васильева. С одной стороны, Брежнев — классический герой анекдотов, с другой — хитроумный политик. Тут нет противоречия?

В.Черных. А что такое «герой анекдотов»? Когда мужчины рассказывают анекдоты об импотенции — это попытка посмеяться над безнадежностью собственной ситуации. Так и с Брежневым. Он, кстати, любил слушать анекдоты, в том числе и про себя. Он только не любил анекдоты про еду. Заговор против Хрущева созрел, когда ввели талоны на муку. Как только возникает проблема с хлебом, это сразу становится поводом для бунта.

Ж.Васильева. Вы специально рылись в архивах, расспрашивали людей?

В.Черных. Я жил в это время. Я работал в программе «Время». После ВГИКа

окончил курсы режиссеров телевидения и несколько лет проработал как режиссер. Я знал многих секретарей обкомов, потому что мне приходилось ездить и снимать сюжеты для программы «Время». Знал довольно много крупных работников КГБ и МВД. Так вот, некоторые сотрудники КГБ говорили, что страна на грани развала. Они знали о коррупции в МВД. Шла непримиримая борьба между Щелоковым и Андроповым. В партийном аппарате были свои интриги. Я все это знал если не из первых, то из третьих рук. Когда я сейчас собирал материал, то что-то уточнял у Чазова, у Медведева. К тому же вышло много книг. Наконец, как я уже сказал, я такой же Брежнев, как многие.

Ж.Васильева. Почему тогда возник герой комикса?

В.Черных. Снежкин так решил. Мне кажется, это удачно.

Ж.Васильева. Корректировка вносилась во время работы над сериалом?

В.Черных. Вносилась.

Ж.Васильева. Она согласовывалась с вами?

В.Черных. Нет. Я видел уже готовые, отснятые куски. Мне повезло с режиссером. Мой вариант сценария был все-таки немножко пресноват. Кстати, его можно посмотреть в книге, которая вышла недавно. Снежкин внес необходимые перец или уксус, некоторое хамство в показе Политбюро. У него есть замечательное достоинство: он не антисоветчик и не либерал. Он нормальный человек. Он ненавидит все хамское советское, но он понимает, что империя (как российская, так и советская) имела свои достоинства. Он не верит в шестидесятников, которые говорили на кухнях очень много, а когда дошло до дела, растерялись и не смогли ни удержать власть, ни сохранить страну. Все посыпалось уже при их власти.

Ж.Васильева. Для вас империя имела плюсы с точки зрения бытовой или политической?

В.Черных. Это некорректный вопрос. Империя есть империя. Она имела свои привлекательные качества. Давала ощущение силы государства, давала ее гражданам уверенность, что империя их защитит, хотя, признаться, не всегда это делала. Не надо было думать о визах в Эстонию или Грузию. Это не значит, что у нее не было отвратительных черт. Но факт, что сейчас у многих людей возникла ностальгия по империи.

Ж.Васильева. Ностальгия возникла не столько по империи, сколько по стабильности.

В.Черных. А только империя могла больше двадцати лет не повышать цены на хлеб. Только империя могла не повышать цены на коммунальные услуги. Только империя могла обеспечивать пусть плохое, но бесплатное здравоохранение. Только империя могла гарантировать бесплатное образование.

Ж.Васильева. Это проблема экономики, но не отношений наций внутри страны.

В.Черных. Возможно. Тем не менее были законы, понятные людям: пенсия будет 132 рубля, если ты хорошо работаешь двадцать пять лет. Империя выработала правила игры, которых сейчас нет. И это было очень удобно для среднего безынициативного человека.

Ж.Васильева. Да, но вы таким человеком явно не являетесь. Вас-то что устраивало?

В.Черных. Я играл по правилам империи. Я писал сценарии. Но я был и секретарем Союза кинематографистов при Кулиджанове, а потом при Климове, во времена перестройки. Меня тоже купили, когда выбрали секретарем, потому что я получал список из Книжной экспедиции. Мог приобретать те книги, которые были недоступны раньше.

Ж.Васильева. Сейчас эта «покупка» выглядит наивной...

В.Черных. Да, конечно. Но раньше-то невозможно было книгу просто купить, как сейчас. А тогда я мог купить двадцать пять книг в месяц.

У советской власти был тщательно проработанный принцип сдерживания и противовесов. От книжек до больниц и лекарств. Будешь хорошо работать, будешь верным — получишь хорошие лекарства. Очень четкая иерархия была. Никогда не забуду, как мы с Александром Гельманом написали письмо, ко-

торое подписал Лев Кулиджанов, с просьбой отпустить «нашим ведущим драматургам лекарство «Тагомед» для лечения язвы». Нам в 4-м управлении написали на заявлении: «Отказать. Не основной контингент». И я, и Гельман впервые тогда поняли, что не стоит с этой властью так уж особенно заигрывать, если она отказывает в лекарствах. У многих, наверное, был свой момент истины.

Ж.Васильева. Что вы считаете самой сложной проблемой для человека сейчас?

В.Черных. Отсутствие четких законов, правил и жутчайшая коррупция.

Ж.Васильева. И в брежневское время в МВД была коррупция...

В.Черных. Да, но тогда КГБ все-таки их немного контролировал, и прокуратура ими занималась. Сейчас — нет. Люди в растерянности. Бизнесмены знают: можно заработать, но можно и все потерять. Пошла рискованная игра в рулетку, с убийствами. Хотя передел собственности вроде бы уже произошел.

Ж.Васильева. Что главное для сценариста — логика сюжета, характер героев, страсти?

В.Черных. Если есть идея, есть сценарий. Под идею ищется сюжет.

Ж.Васильева. Идея — умозрительное понятие. Скажем, какая идея в фильме «Москва слезам не верит»?

В.Черных. Идея захвата Москвы людьми, которые приехали в столицу и пытаются устроиться. Вокруг абсолютно враждебная среда. На самом деле это был автобиографический фильм. Я приехал в Москву, рассорился с женой. Она хотела меня заставить идти работать на завод, а я хотел идти учиться после армии. Тогда ее семья сказала: «А мы тебя не пропишем». Я все равно пошел учиться. За этим последовал развод.

Ж.Васильева. В каком году это было?

В.Черных. В 1961-м. Я тогда поступил во ВГИК. Этот эпизод моей жизни подтолкнул к рассказу о людях, которые ощущают себя почти крепостными, не имея в Москве ни прописки, ни работы.

Ж.Васильева. Что дало вам тогда силы вырваться из этой зависимости? Упрямство, вера в свои силы?

В.Черных. Драматург Юрий Арабов как-то сказал мне: «Валентин Константинович, вы — типичный протестант». Можно и так сказать. А можно — скобарь.

Ж.Васильева. Скобарь?

В.Черных. Я же псковский. В Пскове делали хорошие железные скобы для строительства, и всех псковских мужиков, которые приезжали в Петербург на заработки, прозвали скобарями. Это были беспардонные провинциалы, наглые, агрессивные.

Ж.Васильева. Вам этот образ нравится?

В.Черных. Я привожу только факты. Но народ псковский действительно очень любопытный. Под Псковом почвы плохие, подзолистые. Сельским трудом не проживешь. Люди промышляли контрабандой. Довольно сильно разбойничали на дорогах: прибить кого-то, прирезать было милое дело. Грабили. И при советской власти, и раньше. Народец низкорослый, выбитый войнами, пьющий. Не случайно в Псковской области губернатором дважды выбирали Михайлова, он был членом ЛДПР много лет, сейчас перешел в «Единую Россию».

Ж.Васильева. Почему «не случайно»?

В.Черных. А характер такой: «Вы как хотите, а мы все наоборот сделаем». В псковских есть драчливое упорство и очень низкий процент инстинкта самосохранения.

Ж.Васильева. Специфика местных особенностей по-прежнему остается?

В.Черных. Конечно. Характер народа не меняется. Герберштейн приезжал в Россию во времена Алексея Михайловича, писал довольно подробно о быте русских. Читаешь его и понимаешь, что ничего не изменилось, характер народа не изменился за несколько веков нисколько. Единственное, что женщины меньше стали пить.

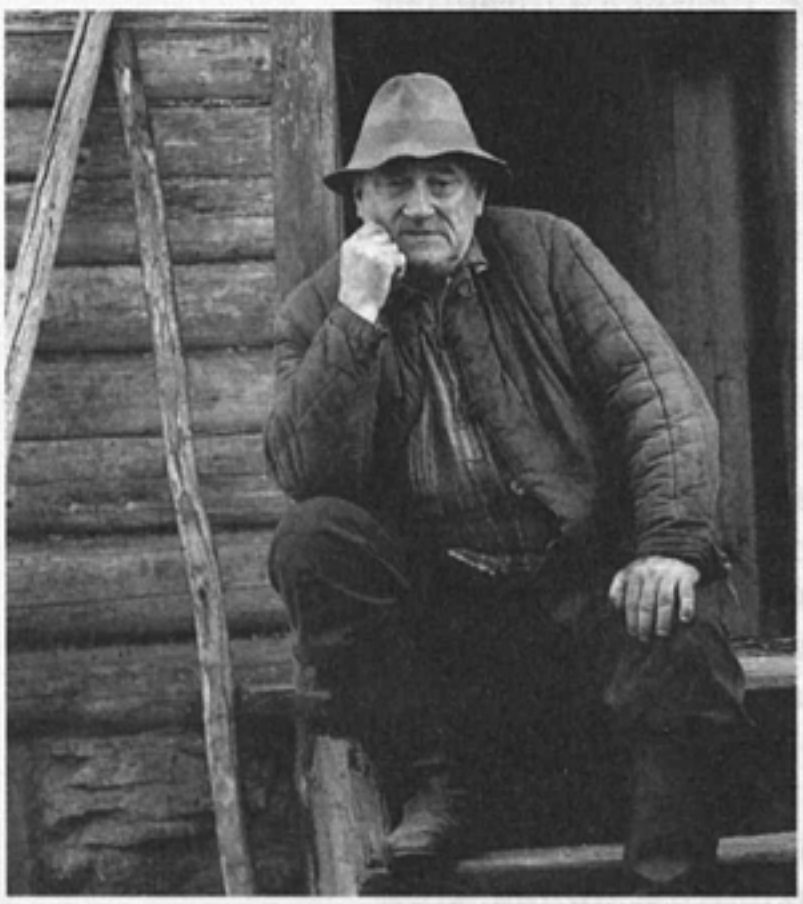
Ж.Васильева. Раньше женщины пили?

В.Черных. За милую душу. Они были закрыты в теремах. Женское пьянство было довольно сильное. Даже когда от Ивана Грозного писали английскому

Валентин Черных

«Человек на своем месте». Автор сценария Валентин Черных, режиссер Алексей Сахаров

«Москва слезам не верит». Автор сценария Валентин Черных, режиссер Владимир Меньшов



«Свои». Автор сценария Валентин Черных, режиссер Дмитрий Месхиев

«Дети Арбата». Авторы сценария Валентин Черных, Юлия Дамскер, режиссер Андрей Эшпай

«Брежнев. Сумерки империи». Автор сценария Валентин Черных, режиссер Сергей Снежкин

«Культпоход в театр». Автор сценария Валентин Черных, режиссер Валерий Рубинчик

«Любовь земная». Авторы сценария Валентин Черных, Петр Проскурин, Евгений Матвеев, режиссер Евгений Матвеев

королю об одной из дочерей царя, то среди положительных качеств будущей невесты было особо указано: «не пьет».

Ж.Васильева. Вы в Москву приехали из Пскова?

В.Черных. Нет. Из Магадана. Я женился в Магадане, жена была москвичка, поэтому я приехал в Москву. Женился бы на курской, приехал бы в Курск.

Ж.Васильева. А как вы оказались в Магадане?

В.Черных. Служил в Приморье в авиации, в истребительном полку механиком. Проездные документы при демобилизации можно было выписать только в то место, откуда человек призывался. Я решил, что если уеду сейчас в Псков, то никогда не попаду на Камчатку, Чукотку. И когда я демобилизовался, то узнал, с какого причала пойдут теплоходы на Чукотку. На них должны были везти солдат-строителей на рудники. У меня были голубые летные погоны, я перевернул их — в темноте они выглядели, как черные погоны строительных войск, с которыми я собирался плыть, — и проскочил в трюм. Меня обнаружили только на третий или четвертый день пути, далеко в море. Так я попал на Чукотку.

Ж.Васильева. Так сильно хотелось увидеть те места?

В.Черных. Рассказывали, что там есть китовая охота. Я хотел устроиться в колхозную китобойную флотилию. Но я приехал поздно, уже все замерзало, и ни в какую флотилию я не попал.

Ж.Васильева. Вы хотели заработать?

В.Черных. И заработать, и вообще — китобои, Джек Лондон, детские мечты... В результате попал в газету. В это время организовалась газета «Магаданский комсомолец», и я был одним из первых ее сотрудников вместе с Эдиком Дубровским, он стал сценаристом научно-популярного кино. Это был 1958 год.

Ж.Васильева. Неожиданная смена курса — от китобойной флотилии к газете...

В.Черных. Я в армии писал в газету, мне нравилось писать. Пришел в редакцию и говорю: «Я хотел бы у вас поработать». Они спрашивают: «А что ты можешь? Как ты провел воскресенье»? «Был на мотогонках». — «Напиши». Я написал, материал пошел, он получился скандальный, и они после первого материала взяли меня на работу. Я на Колыме провел почти три года. Последний год работал в районной газете — уехал в центр Колымы.

Ж.Васильева. Хотели увидеть золотоискателей?

В.Черных. Да просто мне было это интересно.

Ж.Васильева. А потом решили, что нужно учиться?

В.Черных. Да. Когда приехал в Москву, поступил во ВГИК.

Ж.Васильева. У вас не возникало соблазна продолжить тему «взятия Москвы» провинциалами на сегодняшнем, еще более жестком материале?

В.Черных. Я все время об этом думаю. Я вижу людей, которые находятся в более тяжелых условиях, чем находился когда-то я. Это очень опасно, потому что однажды они взбунтуются. Мы не думаем об этом, но, наверное, с этой проблемой рано или поздно столкнемся.

Конечно, в советское время был государственный заказ на фильмы о рабочих, крестьянах. Но была и потребность — показать жизнь людей. А сейчас этого нет. Я участвую в жюри многих сценарных конкурсов. В сценариях, которые приходится читать, практически нет ничего ни про деревню, ни про рабочих, будто страна только и делает, что разбирается с прошлым и с криминалом. Правда, появились сценарии про жизнь в офисах: романы, внутренние разборки и т.п.

Ж.Васильева. А вам не кажется, что герои, которые раньше идеологически воспринимались как основные, то есть рабочие и крестьяне, в новой ситуации оказались маргинальными?

В.Черных. Да, конечно.

Ж.Васильева. Тогда кто стал главным сегодняшним героем? Вряд ли таковым можно считать олигарха...

В.Черных. Есть попытки показать среднего бизнесмена как героя. А старшее поколение пишет о благородных шестидесятниках, это для них главные герои. Отдаю им должное, они все-таки протестовали, но они все проиграли.

Ж.Васильева. Почему? Вы же сами родом из 60-х.
В.Черных. Я в 60-е годы учился во ВГИКе. А они четверть века проговорили на кухнях, а когда пришла пора, то ничего не смогли сделать. Посмотрите: из них никого нет ни в правительстве, ни в Думе, а писать они продолжают о том же, о чем раньше говорили на кухнях.
Ж.Васильева. Людей в царской России готовили к управлению государством долго и целенаправленно. Если всю жизнь сидел на кухне, то очень трудно ожидать, что ты сможешь управлять государством.
В.Черных. Между тем большевики после захвата власти за несколько лет смогли выработать идеологию, кого-то расстрелять, кого-то выслать, наладить производство, провести индустриализацию, коллективизацию, создать оборонную промышленность.
Ж.Васильева. Почему, на ваш взгляд, это было возможно?
В.Черных. Потому что у них была ясная цель и они при помощи страха и репрессий довольно быстро достигали своих целей.
Ж.Васильева. Страх — единственный способ управления государством?
В.Черных. В России — да. А как жить и управлять демократически, мы только-только осваиваем. Как ни печально, но в России все прогрессивное достигалось тоже при помощи страха.
Ж.Васильева. То есть вы — прагматик?
В.Черных. Да, я прагматик и всегда был прагматиком. Я конъюнктурный прагматик.
Ж.Васильева. Почему «конъюнктурный»?
В.Черных. А я считаю, что всё — конъюнктура. Книги, которые сегодня требуются, — это конъюнктура, иначе бы их не написали и не продали. Одежда, которую носит улица, — это конъюнктура. Мода — конъюнктура. Работа художников — всегда конъюнктура, им всегда работу заказывали — папа римский, короли, большевики, Гитлер... Моя конъюнктура заключается в том, что я сам чувствую, о чем пришло время писать...

Скажем, «Свои» совсем не к 60-летию Победы сделаны. Но раз прошло шестьдесят лет после войны, то, может, уже пора подумать: а почему у нас было так много пленных? Во время предыдущих войн русские солдаты редко сдавались в плен. Почему тогда в 1941 году были уже сотни тысяч пленных? Плохо были подготовлены? Или не хотели защищать ту жизнь, где сотни тысяч сидели в лагерях? У каждого был свой сиделец, и каждый сам мог сесть. Почему такое количество погибших? Немецких солдат погибло 6 миллионов, а мы до сих пор не можем установить точное число наших погибших. Сегодня называют цифру 27 миллионов. Почему на Украине так много народу служили немцам, а в Белоруссии — нет? Почему когда начинаешь смотреть статистику, то обнаруживаешь, что практически все полицаи были из раскулаченных? Раскулачиванием была огромная обида нанесена крестьянам. Все равно разбираться нам — кроме нас никто разбираться не будет. Поэтому — «Свои».
Ж.Васильева. На пресс-конференции после показа фильма на Московском фестивале вы сказали, что Отечественная война фактически начиналась как гражданская. Это ваш ответ на вопросы, которые вы задали?
В.Черных. Нет. Я сказал, что гражданская война не закончилась в 1922 году. Гражданская война шла в России до 42-го года, потому что было сопротивление, неприятие советской власти. И только после 42-го года, когда люди поняли, что немцы страшнее своих, началась борьба за выживание страны.
Ж.Васильева. С одной стороны, было очень много пленных и погибших, с другой стороны, одновременно, был пример Брестской крепости. Из фильма Месхиева мотив героики, подвига напрочь ушел, разве нет?
В.Черных. Ну почему же. Они выживают. Война — это ведь не только подвиг или предательство, это выживание. Цель солдата — остаться живым и по возможности уничтожить противника. Брестская крепость — это особая ситуация. Во-первых, в крепости все же можно укрыться, потом там стояли пограничные войска. Это элитные войска.
Ж.Васильева. Да. Но, например, в недавнем номере «ИК» опубликованы вос-

поминания Валентина Ивановича Ежова о военных летчиках. Летчик стрелял в своего же товарища, начавшего «выживать», потому что из-за этого человека погибли трое лучших его друзей. Не кажется ли вам, что объяснение поведения на войне желанием выжить несколько упрощает ситуацию?

В.Черных. Не кажется. Я считаю, что на войне старается выжить каждый. Другое дело, что там тоже есть правила: ты можешь выжить, только если поддерживаешь товарищей рядом. Иначе тебя ударят с тыла. Это правила войны, выработанные веками. Мой отец, комиссар 213-го полка, служил в Гродно и погиб в первый день войны, 22 июня. Это был полк, подтянутый из Псковской области. Мы с мамой тоже были в Гродно, мне было шесть лет. И когда началась война, то, естественно, отступали к тетке, сестре матери, в Псковскую область. Недавно меня нашли ребята из Гродно, поисковики, которые занимаются 213-м полком. Они мне написали, что отец вместе с начальником штаба капитаном Царенком защищались до конца, взяв знамя. Когда поняли, что попадут в плен, они застрелились. Их тела обнаружил лесник, похоронил их, а знамя спрятал и передал нашим в 44-м году. Я с этими ребятами связываюсь, хочу поехать под Гродно, посмотреть, где похоронены отец и капитан Царенок. Хочу поставить там памятник. Когда я почти через шестьдесят лет узнал, как погиб мой отец, у меня было странное чувство. И чувство гордости за отца, который не сдался в плен, а застрелился. Но и: «Чего ж ты стрелялся, у тебя же двое маленьких детей и жена... Что же ты об этом-то не подумал? Если бы ты остался жив, попал бы в плен, потом вышел бы, нам было бы намного легче». Я как-то впервые задумался о проблеме выбора. Может быть, отец тогда тоже выбирал. Комиссару — сдаться в первый день войны? Да никогда свои не простили бы! Лучше уж застрелиться. Да и немцы тоже расстреляли бы. Комиссаров и евреев расстреливали в первую очередь.

Ж.Васильева. В «Своих» вы героям даже не давали имена. Есть люди, преданные советской власти, и люди, имеющие к ней счет. Вы строили характеры как схему, а потом наполняли их кровью и плотью?

В.Черных. Я с самого начала решил, что не буду давать фамилий. Я вообще считаю, что фамилии и имена в кино — условная и глупая вещь. Я, например, всех своих героинь называю именами теток, сестер матери, которых было пять. Все фамилии у меня — только фамилии родственников. Это дает какое-то оправдание, и как-то проще писать.

Ж.Васильева. А герои при этом приобретают черты характера ваших родственников?

В.Черных. Конечно.

Ж.Васильева. То есть вы представляете себе реальных людей и пишете...

В.Черных. Ну не обязательно так впрямую. Но если я пишу фамилию Тихомиров, то вижу своего дядю, который меня воспитал. У меня во многих сценариях есть Анна — это моя мать Нюра. У меня везде есть Александра, Людмила — мои тетки. Мне приятно, и им, пока они были живы, было приятно видеть себя персонифицированными в героях фильмов.

Ж.Васильева. Ваши учителя сыграли роль в вашем становлении как драматурга, или это был путь на ощупь?

В.Черных. Это был путь на ощупь. Но мне повезло, потому что путь на ощупь был достаточно сознательный. Я поступил к Кире Парамоновой и к Вале Ежову. Но с Кирой я не нашел общего языка и вынужден был уйти на заочное отделение. Потом я попал в мастерскую к Каплеру и Кожиновой. Потом перешел к Вайсфельду и Фокиной. А заканчивал у Дымшица. Я отставал от курса.

Ж.Васильева. Вы должны были зарабатывать?

В.Черных. Да, я работал в «Фитиле», а потом на телевидении. Но я благодарен всем. Потому что от них я брал только то, что мне нужно.

Ж.Васильева. Каков принцип отбора?

В.Черных. Здравый смысл. Мой учитель Илья Вениаминович Вайсфельд был замечательный. Он меня устраивал на работу, рекомендовал всюду, он меня любил. И я его, покойного, люблю по сей день. Но он читал нам лекции, и я понимал, что он на нас пробовал какие-то свои теории. Он был, как... порт-

ной: из кусочков шил что-то и проверял на нас, воспримем мы или нет. А Ежов учил, как ремесленник. Это были настоящие уроки. Он нас спрашивал, например, как показать, что у деревенского старика ноги болят. Мы гадали: хромать должен, то, сё... Он говорил: «Ерунда. Наденьте на старика валенки, и пусть он в них сидит в жару. И ясно, что он болен». На семинарах у Фрида и Дунского все брали по крохам.

Ж.Васильева. Сценарному делу можно научить?

В.Черных. Да, это такой же технологический процесс, как любой другой.

Ж.Васильева. Сценарное дело отличается от работы над прозой?

В.Черных. Сценарий более технологичен, у него более ясные законы. Вот я сейчас мучаюсь со своей студенткой. Мы запускаем ее короткометражку. Я говорю: если в первой сцене герой выиграл, он обязательно должен проиграть в следующей, потому что иначе у зрителей будет спад интереса. Не может быть так: выиграл, выиграл, выиграл. В этом смысле американские учебники очень точные. Они программируют зрительский интерес на третьей минуте, на десятой, на двадцать второй... Должны быть эмоциональные всплески, иначе человек теряет внимание. Понятно, что длиннющими монологами люди не говорят...

Если у человека способности есть, то нужна скорее огранка, шлифовка дара. Если способностей нет, можно научить технологии и человек будет писать сценарии, но только плохие или средние. Сегодня таких очень много.

Ж.Васильева. Экранизация имеет свою специфику?

В.Черных. Средняя литература дает сценаристу больше возможностей вложить себя. Когда в свое время я прочел «Судьбу» Проскурина (он тогда был очень популярным, особенно в провинции), то понял, что никакая это не литература. Проскурин обиделся за то, что я переписал его роман, в кино получилась «Любовь земная». Написал в ЦК жалобу, что я исказил его замечательное произведение. И я вынужден был доказывать, что если бы я этого не сделал, то фильм не смотрели бы. А сейчас, худо-бедно, и «Любовь земную», и «Судьбу» вот уже двадцать пять лет показывают.

Ж.Васильева. Но Госпремию вам не дали, потому что вы сняли из титров свое имя...

В.Черных. Я со второй серии снял свое имя, потому что вторая серия была уже совсем полохой.

Ж.Васильева. Переписывая «Детей Арбата» Рыбакова, вы делали акцент на чисто любовной линии?

В.Черных. Да, потому что сталинская линия очень устарела. Мы решили, что без Сталина, конечно, фильм невозможно сделать, но и уделять ему слишком много внимания нет смысла. Поэтому в каждой серии есть эпизод со Сталиным примерно на две минуты. Это спасение, что Эшпай предложил Суханова на роль Сталина. Сталин в его исполнении странен, но интересен. А если бы ходил какой-нибудь грузин с трубкой и в мягких сапогах, как у Барщевского в «Московской саге», то мы вообще проиграли бы эту линию.

Ж.Васильева. Вы упомянули о конъюнктуре времени. Это чувство времени чем дается?

В.Черных. Думаю, что это идет от газеты. Я поработал в трех газетах...

Ж.Васильева. То есть вы анализируете время?

В.Черных. Конечно. Я даже заставляю студентов читать газеты, чтобы искать сюжеты, записывать. А второе — это тренинг. Примерно к третьему курсу студенты исписываются, им просто не хватает сюжетов. И у меня был такой период. Когда пришло время, мне нечем было защищать диплом. Я не мог ничего придумать и защищал документальную историю о том, как в 28-м году в Средней Азии московский уголовный розыск помогал ловить местных бандитов. Но когда я понял, что у меня есть такая прореха, что я с трудом нахожу сюжеты, я стал об этом постоянно помнить. И вдруг, в один прекрасный момент я обнаружил: ага, вот сюжет, и еще сюжет, и еще... И сюжеты пошли.

Ж.Васильева. Вы увидели жизненные ситуации в качестве сюжетов?

В.Черных. Да. Сюжет появился, и я его записываю. С 57-го года записываю, у меня гора амбарных книг. Могу привести пример. Я подрабатывал, будучи

студентом, давал консультации кинолюбителям. Меня послали в Хабаровск. Я поселился в гостинице. Мне показали директора, который был недавно назначен, и рассказали, что когда ему предложили стать директором гостиницы, он сказал: «Нет, я вначале поселюсь на месяц как обычный постоялец». И он месяц прожил в номерах. Что с ним там только не творили: и выгоняли, и брали взятки и т.д. А потом он стал директором. Я это записал. Лет через пятнадцать, просматривая свои записные книжки — меня просили написать что-нибудь про Сибирь, — вспомнил об этом и написал сценарий «Я объявляю вам войну», Еременко в этом фильме сыграл главную роль, а режиссером был Я.Лапшин.

Сейчас я закончил сценарий «Ночные сестры». Я лет пять назад был у матери в Псковской области и зашел в поселковую больницу. Там один врач и три медсестры. Жуткие, никому не нужные старики больные, три молодые здоровые девки и одна крепкая врачиха. Я подумал: что бы было, если бы в эту больницу попал на лечение роскошный мужик? Наверное, ему было бы очень хорошо... Я это записал. А сформировался сюжет в духе «Ревизора». Человек попадает в автокатастрофу. Врач и медсестры принимают неожиданного больного то ли за крупного чиновника, то ли за олигарха. Все думают, что он может многое решить. Кто он такой, никто не знает, это выясняется в самом конце. Я подумал: пусть каждая из девушек попытается выложить все свои козыри в борьбе за этого мистера Х. Мне захотелось об этом рассказать, потому что сегодня женщины сошли с ума: все хотят замуж за бизнесменов, за денежных крупняков...

Ж.Васильева. Почему девушки сошли с ума? Просто они хотят вырваться из своей нищей, страшной жизни. Они очень логично действуют.

В.Черных. Но они очень стремительны, они торопятся, понимая, что срок пребывания пациента небольшой...

Ж.Васильева. Но жизнь у них тоже небольшая...

В.Черных. Но они слишком форсируют события. Эшпаю сценарий нравится. Он хочет пригласить Суханова на главную роль.

Ж.Васильева. Суханов уже играл «Ревизора» на сцене...

В.Черных. Я не видел.

Ж.Васильева. Кстати, кем оказался пациент?

В.Черных. Не буду говорить.

Ж.Васильева. Вы свои записи регулярно просматриваете?

В.Черных. Мне не надо просматривать. В конце каждой книги у меня записано, какие сюжеты для рассказов в ней есть. Я могу сразу все найти. Помню, я Толе Гребневу, покойному, говорю: «Толь, у меня сейчас есть восемьдесят шесть готовых сюжетов для рассказов». Он так на меня посмотрел и говорит: «Не успеешь». Сегодня я его часто вспоминаю.

Ж.Васильева. Вы все записи в конце классифицируете? Вы такой методичный человек?

В.Черных. Нет, но это привычка. Сюжеты есть для рассказов, для пьес, для сценариев, для эссе... Я записываю и ставлю особые значки. Все эти сюжеты — из жизни. Я это называю «лежать, как щука в тине, с раскрытой пастью». Я не суечусь, но если рыбка плывет — схвачу.

Ж.Васильева. Значит, готовые сюжеты плывут мимо вас?

В.Черных. Плывут.

Ж.Васильева. Но надо же их еще видеть.

В.Черных. Наверное, профессионал и отличается от непрофессионала тем, что видит лучше и быстрее.

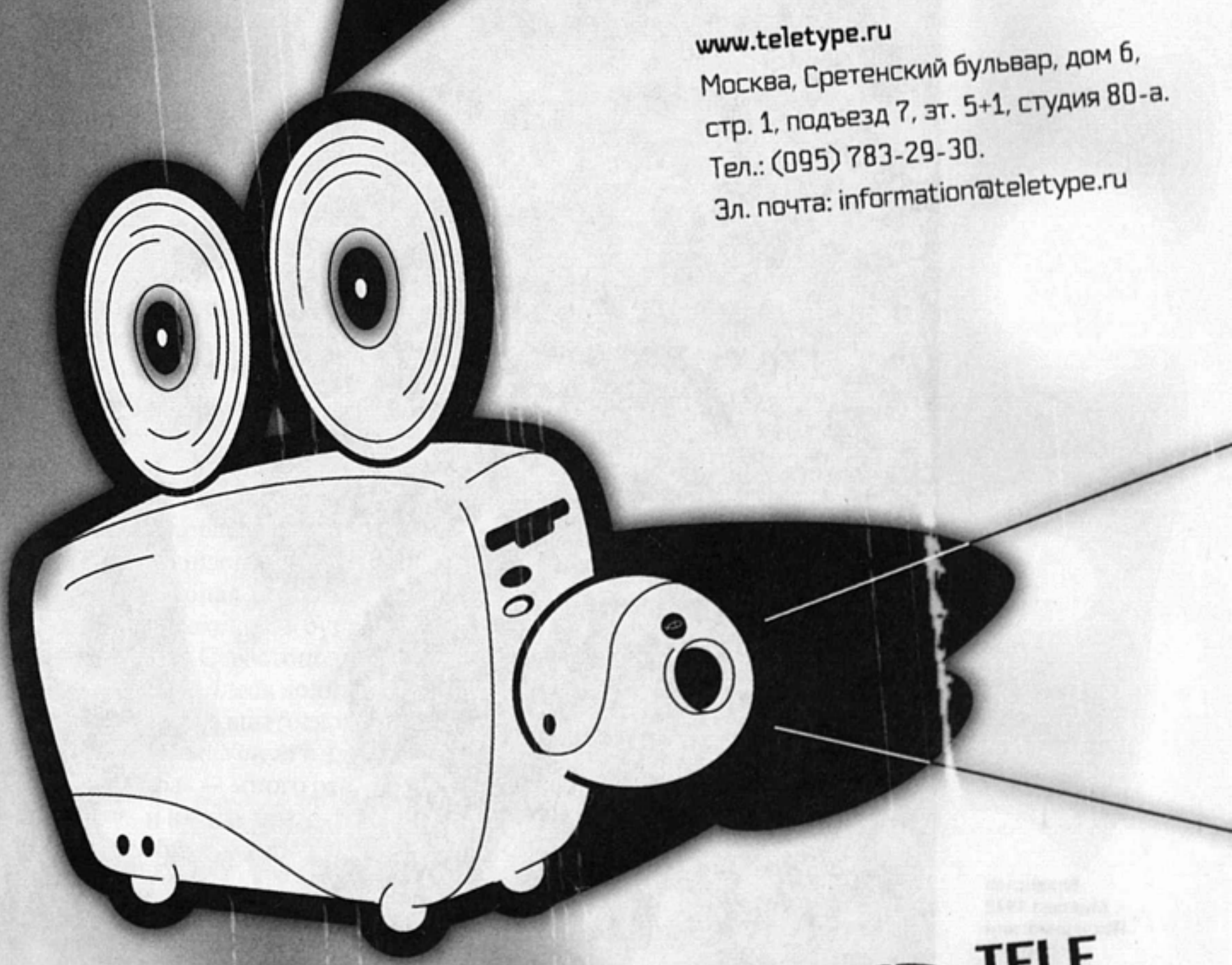
Эл. почта: information@teletype.ru

ВАЖНЕЙШИМ ИЗ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРНЕТ!

TELE TYPE

www.teletype.ru

Москва, Сретенский бульвар, дом 6,
стр. 1, подъезд 7, эт. 5+1, студия 80-а.
Тел.: (095) 783-29-30.
Эл. почта: information@teletype.ru



TELE TYPE

Владислав Микоша. 1942 Последние дни обороны Севастополя

ВЛАДИСЛАВ МИКОША

Я останавливаю время

Нам некуда отступать

Севастополь, 1941, июнь

Когда война приходит в города —
Они становятся темней и тише...
А он казался мне светлей и выше,
Значительней и строже, чем всегда.
Григорий Поженян

«...Нам некуда отступать — позади нас море. Помни же — не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду. Тот изменник, кто потребует ретираду. И если я сам прикажу отступать — коли меня». Корнилов сказал это своим солдатам за несколько недель до первой бомбардировки Севастополя, за несколько недель до своей гибели. Я пытаюсь связать воедино прошлое и настоящее, понять те закономерности и связи, которые невидимой нитью соединяли те одиннадцать месяцев первой обороны и Севастополь 41-го...

Я вспоминаю свои встречи с Севастополем — и ту давнюю с Кауфманом в 1932 году, и последнюю, предвоенную, чуть не закончившуюся для меня трагически, но такую светлую до возвращения в Москву. Они сливаются в единое ощущение праздника...

...Город замер, высеченный из золотистого камня. Его миниатюрные, увитые виноградом домики с красными черепичными крышами, оживленные лепестками бескозырок кривые улочки, переулки, лесенки, веселые бульвары террасами сбегают к прозрачным бухтам и роняют в них бронзовые отражения героев легендарной обороны прошлого века. Сошел в теплые воды бухты и остановился, задумавшись, по колено в прозрачной волне Памятник затопленным кораблям. Его грозный орел — эмблема русского могущества — распростер бронзовые крылья над Северной бухтой. За ним по ту сторону залива — Северная сторона с братским кладбищем вдали и неприступной крепостью над входом в бухту. Тает в голубой дымке Константиновский равелин — ворота Севастополя...

Крики чаек, плеск волны о каменный берег, протяжный тревожный возглас сирены вернувшегося из дозора сторожевика.

— Эй! Рыбак! Уснул в ялике? Полундра!

«Полундра» — много раз повторяет эхо. Двенадцать часов. Бьют склянки на корабле, и их серебряный перезвон плывет, летит вместе с криками чаек к извилистым бухтам города.

Главы из книги воспоминаний известного документалиста, фронтового кинооператора.

На рейде Северной бухты замерли острые серые громады военных кораблей. Они стоят отшвартованные на «бочках» и глядятся в свое отражение. Жерла орудий в белых чехлах, а к высоким мачтам вознеслись бело-синими флагами постиранные и вывешенные на просушку форменки и тельняшки.

Под минной башней у каменного пирса стоят тесной семьей отшвартованные эсминцы. Южная бухта. Высоко над ней в центре Исторического бульвара круглое здание Севастопольской панорамы и памятник Тотлебену. Это силуэт города. Его отражение всегда колеблется в Южной бухте.

Я плыву в разноголосой, пестрой толпе по Нахимовскому проспекту. Мне навстречу группами идут веселые матросы, женщины, дети... Мелькают золотые нашивки, крабы, шевроны, развеваются черные ленточки на белых бескозырках и синие гюйсы на форменках, блестят на солнце названия военных кораблей — «Красный Кавказ», «Червона Украина», «Парижская коммуна», «Незаможник». Сверкает, шумит, улыбается улица...

Площадь на краю Южной бухты. Бронзовый Ленин распростер свою руку над ней. Вдали белоснежная колоннада Графской пристани — между колонн синеет, играет море.

К надраенному деревянному пирсу один за другим подруливают моторки, катера.

— Смирно! — раздается четкая команда.

— Вольно! — вторит другая.

И новая порция матросов — бескозырок, синих воротников, отутюженных клешей — вливается в теплую суету.

Позванивают телеграфы, подваливают, отваливают катера, пофыркивают моторы, захлебываясь от волны. Играет, качается на ней густая нерастворимая синева севастопольского неба. Легкие белоснежные чайки, как клочья пены, подпрыгивают на гребне, плавятся на горячих бликах солнца...

С Корабельной стороны доносятся гулкие протяжные удары металла и частые строчки пневматического молота, клепающего пустой остов стального корабля. Над Морзаводом протянул гигантскую руку стотонный плавучий кран. Он, как рыбак, вытянул на крючке рыбу — торпедный катер с красным от сурика брюхом...

Поет, звенит, играет Севастополь.

Галдит живописный базар. Красочный, яркий, он приютился у самого моря. На бурых, пахнущих йодом водорослях подпрыгивает, извивается, сверкает серебром голубая скумбрия.

— Чебуреки! Чебуреки! Сочный чебуреки! — не кричит — поет лоснящийся на солнце круглолицый усатый татарин.

— Сладкий, как мед! Вай, вай! Как мед! Пахлава! Пахлава! С грецкий орех! — декламирует, пробираясь через толпу, черный от загара грек.

На его голове железный противень с восточными сладостями.

— Камбала! Камбала! Там была, а теперь туточки! — басит бородатый, седой, как Бог, заросший старичок.

У его босых ног лежит, распластавшись на теплом булыжнике, камбала. Она обиженно смотрит одним глазом на суетливых людей, на огромные букеты махровой сирени, на корзины красной черешни, на аппетитные лотки крупной клубники, на громко выкрикивающих свой товар продавцов...

— Свежая, живая султанка! Султанка! — попискивает тонко-тонко огромная баба.

— Вот она какая, ставрида золотая! Живая! Только из моря! Только для вас, бабы! Эй, покупай! Не зевай! — стараясь перекричать друг друга, поют, декламируют нараспев медные от солнца, просоленные рыбаки и рыбачки...

Море, вздыхая, покачивает ялики, шлюпки, шаланды. Поскрипывают в уключинах весла, стонут на мачтах, кивая подвязанным парусом, реи.

— Кому сладкая черешня?..

Вечер. Толпа вынесла меня на Приморский бульвар. На низкой окружающей фонтан скамеечке сидят в глубокой задумчивости седые внуки героев

легендарной обороны Севастополя. Столетняя, поседевшая ива склонилась над уснувшей в бассейне водой.

Тихо шуршат шаги по гравию дорожек. Прогуливаются матросы, крепко прижимая к синим воротникам плечики любимых...

Мазки заходящего солнца густо легли на Константиновский бастион. Над розовой бухтой замерла тишина, и только изредка протяжно стонет на морском фарватере буй.

И кажется, что сейчас рядом с оранжевым солнцем из-за горизонта покажутся алые паруса и шхуна «Секрет» плавно и бесшумно пройдет мимо пламенеющего на закате Константиновского равелина...

...Спустя два года я опять шел по знакомым улицам и бульварам. Ничто, казалось, не изменилось, только мелкие штрихи напоминали о том, что — война. Даже странно — ехал на фронт, а попал в военную крепость, увидел жизнь спокойную, размеренную, без тревожной суеты, без наклеенных полосок бумаги на окнах — не в пример нашей столице.

Эмалевое небо. Синие бухты. Острые зигзаги чаек. Йодистый запах моря. И нет в толпе белоснежных лепестков бескозырок. С орудийных стволов на кораблях сняты чехлы. Зенитки смотрят в небо.

Севастополь ждет!

Золотые каскады горячего солнца обрушились на город. Хочется жить, дышать, петь, радоваться. И вдруг война! Где же она? Где ее разрушительный след, ее огненное дыхание? Где бомбежки 22 июня?

Я иду по городу. Новенькая морская форма непривычна. То и дело приходится отвечать на приветствия матросов и изредка козырять самому первым. Вот и исполнилась мечта детства. Я нежданно-негаданно вдруг стал военным моряком. Все время настороже, как бы не прозевать приветствия. Я ведь моряк... В такт моему шагу непривычно бьет о ногу по-морскому низко подвешенный наган. Неужели мне придется из него стрелять в человека?

Я задумался и не ответил на приветствие.

— Товарищ капитан 3-го ранга, — услышал я строгий окрик, — почему вы не приветствуете старшего по зва... Микоша! Дорогой! Ты ли? Нет, не может быть! В таком виде — моряк по всем статьям! Дай я тебя обниму, генацвале!..

На Большой Морской я встретился со своим знакомым — старпомом с линкора «Парижская коммуна» Михаилом Захаровичем Чинчирадзе. Мы познакомились и подружились на маневрах Черноморского флота. И эта неожиданная встреча на улице Севастополя решила мою судьбу.

По приказу Военного совета Черноморского флота меня произвели в ранг военно-морского кинооператора на флоте. Правда, такого «ранга» не существовало, я был исключением: капитан 3-го ранга — военно-морской кинооператор.

Моя профессия осталась со мной и стала служить общему делу. Меня всюду узнавали, на кораблях я стал желанным членом команды.

...Только один день был для меня в Севастополе мирным, солнечным, безмятежным, но он прошел. Война пришла с воздуха. На рассвете появились «мессера», а за ними черными стайками «козлы» — «Ю-87». Они неожиданно выскакивали из-под горячих лучей солнца и, перевернувшись на спину, задрав кверху колеса, падали отвесно один за другим на корабли.

За первые несколько дней войны подорвались на минах двадцатипятитонный плавучий кран, буксир «СП-12» и эсминец «Быстрый» при заходе в Северную бухту в момент прохождения бокового заграждения.

Каждый день с рассвета я был уже на ногах и ждал прилета «гостей». На этот раз я находился на берегу возле Сеченовского института — стоял с камерой-автоматом «Аймо» у маленького трапа и следил за моментами воздушного боя и не заметил, как из-под солнца нагрянули «Ю-87». Мой взгляд приковали наши «Яки» и немецкие «мессера». И только когда просвистевшие бомбы подняли высокие фонтаны воды около проходившего крейсера «Красный Кавказ» и взрывная волна посадила меня на бетонный пирс, я очнулся и начал снимать.

Снимать! Я был профессиональным оператором — кинохроникером. Но в первой встрече с грозным, еще неведомым мне событием выглядел неумелым любителем. Вот так же, наверное, неумело и неуверенно встретили врага наши молодые необстрелянные военные — безнаказанно летал враг над Севастополем, город кипел от беспорядочной стрельбы, но это только в первые два дня. Скоро зенитки открыли свой счет, и «юнкерсы», оставляя черный след на безоблачном небе, тяжело врезались в Крымскую землю.

Первая съемка в кутерьме беспорядочной пальбы определила мое место во время бомбежки. С этого дня началась для меня война. Я вел летопись жизни города от первой встречи его с войной.

Каждую ночь летели на Севастополь бомбы. Каждую ночь взлетали на воздух дома, кварталы, гибли в завалах люди. Не прошло и ста лет, как снова обагрились кровью белые камни Севастополя. Пороховой дым застлал синие глаза бухт и горьким шлейфом опоясал город. Развесистые грибы взрывов высоко взметнули в прозрачную синеву неба свои грязные кудлатые головы...

Война пришла в Севастополь с неба...

Что выбрать из тысячи пятисот дней войны, я не оговорился — тысячи пятисот с небольшим, считая и войну на Востоке? О войне у меня вышли три книги — разные и по вошедшим в них событиям, и по степени их подробностей. Но были целые куски, которые не пропускала либо редактура, либо цензура. Были и целые главы... Я решил, что именно они должны войти в новую книгу. И еще те события, которые лепили мой характер, мое осознание мира и себя...

Крещение

Крым, 1941, июль

Который год мне снится, повторяясь,
Почти без изменений этот сон!
Алексей Сурков

Над аэродромом голубой рекой плыл зной. Ничем не прикрытое солнце старалось испепелить плоскую крымскую землю. Готовая к вылету эскадрилья присела на корточки, ожидая команды «по самолетам»...

Лежа на спине в высокой траве аэродрома, я следил за полетом двух желтых бабочек, вновь и вновь ловил себя на мысли о том, что невозможно поверить в то, что война...

Сладкие ароматы полевых цветов курились надо мной. Воздух синим океаном залил крымскую землю. Опустившись ниже, надо мной кувыркались две лимонно-желтые бабочки. С пронзительным криком, как черные молнии, сновали низко над землей стрижи. «Мессера», — подумал я. И не зря — одной бабочки не стало. Теплые круги ветра пахнули пряным ароматом шалфея. Упал и закачался на былинке мотылек. «И все же война...» Низко над землей замер, маскируясь от черного пирата, желтый мотылек.

Над аэродромом прозвучала команда: «По самолетам!..»

Второй день я ждал этой команды, теперь уже обращенной и ко мне. Самолеты отрывались от земли, возвращались на базу или не возвращались совсем. А я все сидел на аэродроме и ждал подходящего «рейса». Мне нужно было снять налет нашей авиации на румынский порт Констанцу или на нефтяные базы Плоэшти...

Мое положение фронтового кинооператора, а в данном случае — военно-морского, так же, как и положение моих товарищей, было «зависимо-независимым»: политотдел и командование флотом, фронтом, армией, к которым каждый из нас был приписан, мог бросить нас на то или иное событие, предписать, приказать. Но такие целенаправленные задания были редки и нерегулярны, потому что, кроме из ряда вон выходящих событий, мы должны были снимать будни войны — день за днем. И в этих «будничных» съемках задание определялось либо руководством киногруппы, если таковое было, либо самим кинооператором. Мы старались быть в курсе всех дел нашего участ-

ка фронта и сами, без чьего-либо приказа стремились туда, где «самое-самое», — на передовую, в контратаку, в боевой полет...

Вот так и решил я для себя, что должен снять налет нашей авиации на Плоэшти.

Удобные стратегические аэродромы Крыма не только охраняли от налетов города, но и поражали военные объекты врага. В августе 41-го Гитлер сказал, что Крым был авианосцем Советского Союза в борьбе против румынской нефти.

Каждый полет наших самолетов на Плоэшти и Констанцу — рискованный и смелый — был подвигом. Вот такой налет мне и хотелось снять.

Чумазый бортмех помог мне забраться в кабину бомбардировщика, прозрачный купол стрелка-радиста накрыл кабину, и я очутился в тесном зеленом аквариуме, из которого нет выхода. Резкий дурманящий запах спирта и бензина ударил в голову. Я остро ощутил свою оторванность от летчиков. Они были впереди, я не мог увидеть ободряющей улыбки, жеста, мне не с кем было разделить в случае чего своей тревоги. Время тянулось. От долгого ожидания бодрое настроение испарилось, в голову полезли невеселые предположения об исходе нашей летной операции. Сквозь плексиглас снова мелькнул желтый мотылек и исчез...

Над раскаленными самолетами дрожал и колебался прозрачными струями горячий воздух. Солнце, казалось, вот-вот воспламенит бензиновые баки и эскадрилья потонет в пламени взрыва. И чего только не лезло в мою голову... Атмосфера в кабине стала невыносимой. Пришлось снять шлем и китель. Он был мокрый насквозь. Настроение безнадежно упало...

«Полет отменяется!» — раздалась команда, и сразу же за ней другая: «Не расходиться!»

Я снова залег в траве. И, утомленный тревожным ожиданием, незаметно уснул. Снился мне долгожданный полет на Констанцу, где наша эскадрилья бомбила скопление войск в порту. Во сне, как на экране, возникали кошмары воздушного боя. Я снимал незаряженным аппаратом. Срывались и падали вниз объективы, а за ними и сам я проваливался все ниже, и подо мной бушевало пламя, и оглушительно ревели моторы, все сильнее... Я в ужасе проснулся. Меня действительно разбудил рев моторов. Самолеты, тяжело отрываясь от земли, уходили в небо — звено за звеном.

— Проспал! Проспал полет! Боже мой!

Я вскочил, надел раскаленный китель. Он обжег тело. Солнце склонилось над горизонтом. Самолеты, набирая высоту, оставляли над аэродромом золотое облако пыли. Мой самолет уходил последним. Я подождал, пока он подстроится к остальным. Подстроился, значит, не вернется за мной. Проглотив горькую обиду, я побрел к аэродромным постройкам.

— Почему не разбудили? Как можно? Проспал такую операцию!

Диспетчер, к которому я обратился, очевидно, понял, в каком я состоянии, и, не дав мне высказаться, сказал спокойно, что эскадрилья получила другое срочное задание и изменила время и маршрут.

— Бомбить будут в сумерки, почти ночью! Насколько я понимаю в аэрофотосъемке — снимать будет поздно. Так ведь, товарищ оператор? — говорил он, как бы оправдываясь.

— Так-то так, но все же предупредить-то могли?

Мне стало легче. У столовой меня встретил начальник штаба и предложил лететь на Плоэшти.

— Вылет перед рассветом. Цель на восходе. Шансов на возвращение больше, чем в этом. — И он махнул рукой на запад.

— Меня беспокоит не это — снять бы!

— Ну, конечно, — ответил он, — тем более что пленка сгорит вместе с вами. Устроит вас такая операция? Стоит ли лишать машину стрелка-радиста, ведь вам придется его заменить — и как раз тогда, когда хотелось бы снимать. Ну как? Разве не так я представил себе вашу работу?

Начальник штаба улыбнулся и сразу расположил меня к себе. Ему было

за сорок лет, и я почувствовал, как он хочет уберечь меня от всяких неприятностей, неожиданностей и бесцельного риска.

— Не беспокойтесь, товарищ майор, я заменю стрелка-радиста, если нужно будет. Не первый раз лечу, — соврал я ему, и мне стало стыдно.

Наверное, майор почувствовал это и на прощание дал мне совет:

— Не торопитесь, не лезьте в пекло безрассудно. Ведь война только начинается, вам столько еще предстоит рассказать...

Да, он был прав, конечно. Хороший малый, этот майор, и такой заботливый...

В столовой было шумно и оживленно. Обед затянулся. За окном загустела синева.

Низко над крышей, чуть не задевая ее, с ревом проносились самолеты — один, другой, третий. Вернулась с боевого задания эскадрилья. Мы побежали, стали считать. Из двенадцати только семь. Прошло несколько томительных минут, и еще один приземлился прямо на брюхо. Стрелка-радиста вынимали раненного из кабины. Четыре машины не вернулись. Наши истребители были отрезаны на подходе к цели. За этими словами «не вернулись» скрывались судьбы людей. Гибель самолета. Гибель экипажа...

Днем мы сидели на траве, шутили, смеялись. Как сейчас, вижу перед собой их лица. Молодые, веселые, задорные. А теперь — «не вернулись».

На багрово-красной подпалине горизонта застыла, как траурный флаг, черная туча.

Ночью меня вызвали к начштаба. Он показался мне совсем другим. Строго и официально, стоя за столом над картой, сообщил:

— Самолет, на котором вы должны были лететь, не вернулся на свою базу. Мы решили отставить ваш полет на Плоэшти.

Я не сразу понял, что остался случайно жив — проспал. Начштаба запретил летчикам будить меня и брать в полет. И вот сейчас еще раз он пытался уберечь меня от ненужного, как он думал, риска. Отказаться было так просто и совсем не постыдно, никто бы меня не обвинил в трусости, а лететь страшно, и я чуть не поддался минутной слабости, но вовремя спохватился.

— Товарищ майор! Не могу поверить, что и этот полет будет таким же трагичным: Уверяю вас! Если я полечу, все будет в порядке! Я очень везучий, у меня легкая рука!

— Не верю в приметы! И вообще, никаких трагедий! Бросьте меня уговаривать, черт возьми!

Мы проговорили до самого вылета. И вдруг неожиданно терпение майора лопнуло, и он ожесточенно крикнул:

— Летите! Черт бы вас побрал наконец! — Он встал из-за стола, подошел ко мне, обнял за плечи. — На этот раз ваша взяла! Упрямый вы! Летите, счастливого вам пути и благополучного возвращения!

Он крепко пожал мне руку, и я еще раз подумал, какой он хороший и добрый человек...

Мои волнения были настолько сильны, что я стал приходить в себя, только когда увидел далеко впереди сверкающее холодным блеском море. Оно медленно наплывало, заполняя все пространство под нами. Надкусанная луна смотрела на меня, кривляясь сквозь исцарапанный купол кабины. Холодные блики густым слоем лежали на вороненом стволе пулемета.

Равномерный рокот моторов, их голубой огонь, лунная дорожка на выгнутом море успокоили меня. Какая-то незримая доля торжественного спокойствия развернувшегося передо мной мира разлилась и в моем уставшем теле.

Мы летели на большой высоте. Было холодно, мне все время хотелось вздохнуть полной грудью, но все попытки были тщетными. Несмотря на холод, я не мерз, очевидно, нервное состояние согревало меня. Ночное море под луной выглядело сверху застывшей глянцевой лавой. За прозрачным куполом величественно проплывала неповторимой красоты панорама мира и спокойствия. Только темный ствол пулемета зловеще напоминал о войне...

Успокоенный мягким светом луны, я не мог оторвать глаз от стремительных бликов, скользящих вместе с самолетом по застывшему морю. «На-

верное, когда человек в опасности, он особенно остро чувствует природу, может быть, инстинктивно прощаясь с ней навсегда!» — подумал я.

На востоке слегка полиняла ночь. Вместе с зарей пришла тревога. Она осела слабостью в ногах и пустотой под ложечкой. Скоро цель полета. Как воры, полезли в голову непрошеные предположения. Всегда они пытаются предопределить события.

Мы летим в тыл к врагу, нападение «мессеров» неотвратимо. А «стена огня»? О ней мне рассказывали летчики: «Непроходимая стена заградительного зенитного огня поднимается перед нами. Ребята пробовали прорваться, но пришлось повернуть и сбросить груз в море».

Небо начало сереть. Я увидел наши машины — слева, справа, сзади, — их девять. Пробую представить цель. Город нефти — Плоэшти. Как он выглядит? Мне не терпится снимать... Я пробую «Аймо». Работает...

Бомбардировщики идут близко, то проваливаясь в воздушные ямы, то снова выравнивая линию полета. Растаяла и исчезла ночная тьма. Под нами серое море. Впереди неясная графитная дымка — будто карандашную пыль размазали пальцем. Вражеская земля. «А какой я себе ее представлял? Разве такой? Не знаю...» Сильно забилось сердце. Наверное, пора действовать, а я вот сижу... Я внимательно осмотрелся, сосчитал: семь, восемь, девять — и начал снимать свою рядом летящую эскадрилью. Только бы хватило экспозиции. На общие планы полета, подумал я, хватит. А дальше будет светлее.

Тянувшееся, как сонное, время с появлением берега понеслось вскачь. Берег, таивший в себе смертельную опасность, надвигался. Вылетела из головы созерцательная чепуха страхов и предположений. Во мне, как в киноавтомате «Аймо», начала действовать, разматываясь, туго заведенная пружина нервов.

Повесив рядом на ручном ремне камеру, я взялся обеими руками за пулемет. Он был холодный, ледяной и сразу пригасил мою горячность. Та же камера, так же надо смотреть в визир, выискивая кадр-цель. Вправо, влево, вверх... Только результат другой.

Опасности еще не видно, а нервы на пределе. Я всматриваюсь до боли в глазах в поголубевшую даль, но ничего подозрительного не вижу.

Вдруг в стороне, немного ниже нас, блеснули короткие вспышки огня. Я оглянулся, еще не совсем понимая, что случилось. Вокруг, насколько позволяло зрение, все голубое пространство было заполнено бегущими назад всплесками дыма и пламени.

«Вот она — стена огня», — мелькнуло у меня в голове. Я знал: бояться истребителей во время зенитного огня не следует — и, оторвавшись от пулемета, схватил дрожащей рукой камеру. Дрожали не только руки — я весь дрожал так, что думал — не смогу снимать. Но то ли холодный металл камеры, плотно прижатый к горячему лбу, охладил меня, то ли восторжествовал профессиональный инстинкт оператора-хроникера — мне было трудно разобраться, — но я вдруг обрел рабочее состояние, привычную остроту зрения. Все, кроме желания во что бы то ни стало снять, отлетело, как всплески разрывов, назад.

«Только бы не отказал аппарат! Только бы не отказал!» — глядя в визир, мысленно повторил я.

Сильный рев моторов заглушал работу механизма камеры, и, нажимая спусковой рычажок, я не слышал ее обычного рокота.

— Снял или нет? В ушах звон, гул, стук... Откуда стук? Я отнял камеру от глаз, мне показалось, что она не работает. Ужас! Все пропало! Лихорадочно сунув «Аймо» в перезарядный мешок, я убедился, к своей радости, что отснял всю кассету — тридцать метров.

Снял! Снял! «Аймо» работает! Скорее перезаряжать...

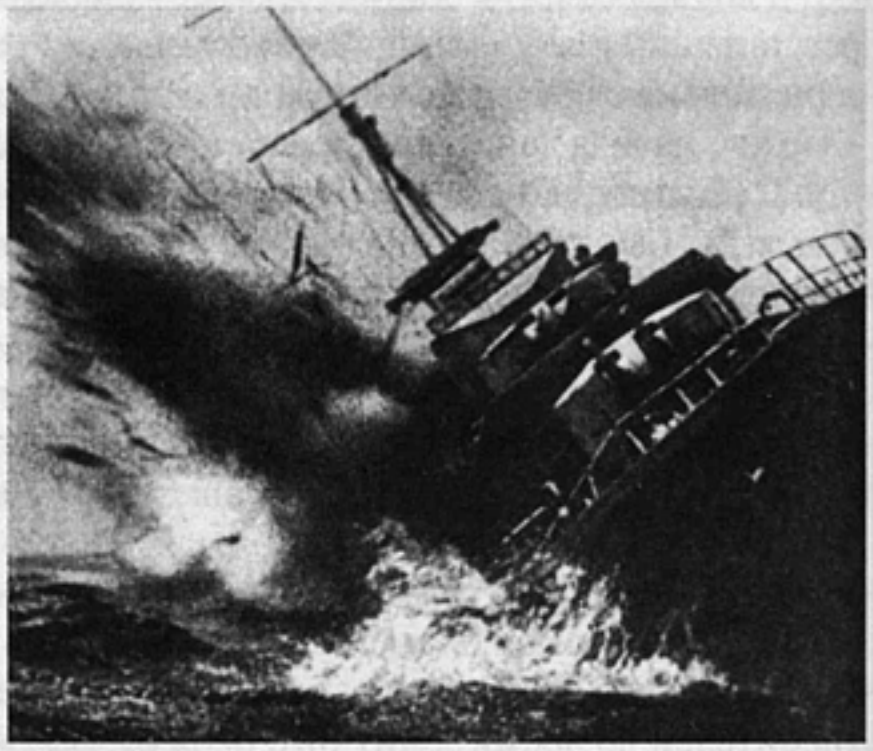
Заряжая новую кассету, я неотрывно следил за летящими близко и в отдалении бомбардировщиками. Вдруг наш самолет резко подпрыгнул и задрал нос кверху, а идущий слева круто, со снижением отвалил в сторону. За ним потянулся черный шлейф дыма, у правого мотора билось пламя.

— Горит! Теперь всё. Пропал! Боже мой, почему не выбрасываются люди? Почему?

В.Микоша на Севастопольском бронепоезде. 1942

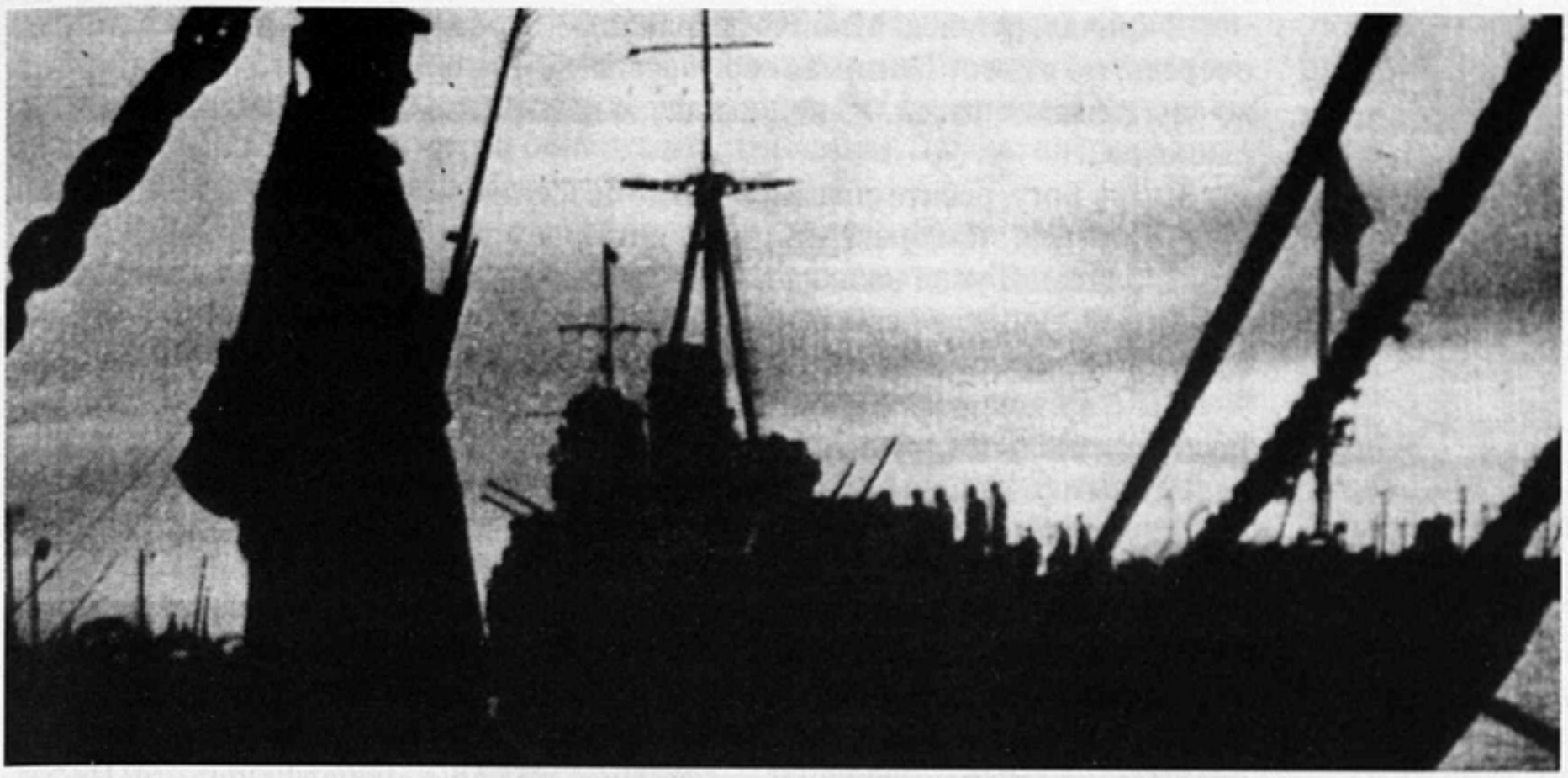
Атака морской пехоты

Заградительные аэростаты над кораблями Черноморского флота



Подбит вражеский корабль

Катера-охотники



На ночной вахте

Пришло пополнение. 1941

Контратака частей Приморской армии

Я кричал, ругался. Мной овладела такая злоба, хотелось послать длинную очередь, но в кого? Понимая свое бессилие, я умолк. От этого ожидание стало еще невыносимее... Наконец далеко внизу вспыхнули белые венчики парашютов.

Слава Богу, ребята спаслись! Но до спасения, конечно, было далеко. Внизу чужая земля, там враг. Мои мысли прервал сильный звенящий удар с резким толчком. Я упал на дюралевый переплет, раздался свист, и я увидел несколько светящихся рваных пробоин в обшивке самолета. Казалось, ветер неминуемо разорвет ее. Она вибрировала и пела, как живая.

Вынув камеру из мешка, я стал снимать. Без съемки становилось невыносимо страшно и неуютно... Прильнув к аппарату, я увидел в визире сквозь пелену дымки далеко внизу ровные квадратики города. Оттуда неслись в нашу сторону огненные струи трассирующих снарядов. Все они, как мне казалось, были направлены в наш самолет. Сердце стучало, заглушая моторы и свист ветра в пробоинах, но непонятно, почему не в груди, а в животе?

До начала зенитного огня в самолете было очень холодно, а теперь я стал совершенно мокрым. Лицо горело, и пот заливал глаза. В кабине теплее не стало. Резкие струи холодного воздуха, то шипя, то свистя, врывались в пробоины. Не успел я перезарядить камеру, как получил сигнал от пилота. Наступил самый важный момент нашей операции — момент, из-за которого я полетел в этот рейс. Его нельзя прозевать. Он длится всего несколько секунд. Сигнал означал: через минуту бомбы оторвутся и пойдут на цель.

Прильнув к визиру и отсчитав пятьдесят бесконечно длинных отсчетов, я нажал на пусковой рычажок камеры. Нажал так сильно, что даже отогнул его. Я не слышал, как работала камера, я вообще ничего не слышал. Я только чувствовал. Старался чувствовать ее работу. Она должна работать.

Оторвав камеру от мокрых глаз, я успел завести пружину. Камера работала — пружина завелась. Глядя в визир, я ясно увидел, как на далекой земле сверкнули всполохи пламени и поползли вверх черные грибы разрывов.

Я обрадовался. Начал кричать. Что — не помню. Самолет стал легче. Я это почувствовал. В чем это выразилось? Не знаю! Но это так. И вот подтверждение — он вертко развернулся и, меняя высоту, лег на обратный курс. Навстречу поднималось из моря солнце.

Оглянувшись вокруг, я стал искать наши бомбардировщики. Впереди, резко теряя высоту, дымил еще один. Мы вышли из зоны зенитного огня. Разрывы таяли позади. Новые не возникали. Ну вот, теперь, как учил меня комэск, нагрянут «мессера». Я отложил камеру, схватился за пулемет и начал внимательно оглядывать небо. Как правило, жди нападения со стороны солнца, они любят им прикрываться.

Далеко справа, чуть выше солнца, показались быстро плывущие в сторону от него черные черточки. Мгновение — и они превратились в «мессершмитты». Еще мгновение — и они... Я не успел развернуть пулемет за ними. Нападение началось. Черные силуэты крыльев, огонь по обе стороны винта. Всего на миг он привлек мое внимание. Грозный, мигающий, острый огонь вражеских пулеметов... Мгновение — и пустота. Никого! «Пронесло, не задело», — подумал я и тут же увидел другой, слева. Он пикировал, увеличиваясь в размерах. Я поймал его, словно в визире кинокамеры. Замигал огонь. Моя очередь была очень короткой. Так мне показалось. В ушах от нее больно бил пульс. Все звенело, хотелось глубоко зевнуть, продуть заложенные уши.

В коротком перерыве между новым заходом я почувствовал в кабине горелый запах. «Не то поджаренной краской потянуло, не то машинным маслом», — подумал я. Но разобраться было некогда. Снова ринулись на нас «мессера».

Еще несколько раз и с разных сторон выныривали из синевы черные птицы, бросались с остервенением на нашу поредевшую эскадрилью. Я старался вовсю, делал все, чему учили меня на земле стрелки-радисты, но результатов своей стрельбы не увидел...

Патроны кончились. Неужели я все расстрелял? Так мало и так много прошло времени... Я схватил камеру. Но она не заряжена. Пока возился с пере-

зарядкой, «мессера» исчезли... Неужели это все? До рези в глазах я всматривался в синеву — ни черточки. Только в ушах звенела, пульсируя, высокая нота. Мы висели над сверкающим морем и, кажется, без движения. Почему так медленно? Нас легко догнать и обнаружить над морем. Далеко впереди летят наши. Обогнали нас и уходят все дальше и дальше.

Только теперь я заметил, что кабина заполнилась едким чадом. Из пробоины в левом моторе выбивалась, дрожа, сизая струя густой массы, а за ней еле заметная тонкая лента дыма. Она то исчезала, то густела и оставляла за стабилизатором темный жирный след. Мне стало не по себе.

Левый мотор стал давать сбои. Самолет терял скорость и высоту. Оглядевшись, я понял, что в небе мы остались одни. Я тут же вспомнил о парашюте. Где же он? На мне его не было. Он лежал в стороне с перепутанными лямками.

Когда же я освободился от его неудобных пут? Совсем не помню. Очевидно, он сковывал мои движения и мешал снимать... Я надел его с трудом, второпях и, оглядываясь, увидел далеко впереди окутанный сизым маревом берег.

Только бы дотянуть. Неужели не дотянем? Как медленно течет время, и как нехотя приближается берег. Мотор явно доживал свои последние минуты.

Жаль, если это все зря — и полет, и съемка... Скорей! Скорей! Берег близко, но мотор после сильных толчков заглох. Черная лента дыма повисла позади над морем.

Берег совсем близко, но высоты уже нет. Мы летим бреющим полетом над морем. Дотянуть бы! Только дотянуть... Мотор неожиданно перестал дышать. Оборвалась черная лента, оставшись позади.

Мы летим на одном моторе. Ему тяжело. Он гудит, надрываясь, вот-вот захлебнется и замолчит... Не надо об этом думать, но не думать невозможно...

Как бы мне в эту минуту хотелось взглянуть в лицо пилота, штурмана — я бы по глазам определил, что дотянем... Меня снова бросило в жар, парашютные лямки перекосили китель, он намок, набух потом, сбросить бы его и вздохнуть свободно, без всей этой сбруи.

Самолет резко теряет высоту. Хорошо, что у нас был запас высоты. Море совсем близко. Парашют уже ни к чему. Вода рядом, мелькают смазанные блики. Впереди песчаная коса. Я в мыслях помогаю летчику: «Сажай, сажай на воду! Вот сейчас!.. Сию минуту! Будет поздно». Впереди коса. Мы, как на глиссере, выскочим с косы на песок... И не затонем, и сохраним самолет. Мои мысли срабатывают. Я предугадываю действие пилота.

Вцепившись в турель обеими руками и уперев ноги, я приготовился к удару о воду. Он оказался не очень сильным. Пилот осторожно, мастерски, не выпуская шасси, посадил самолет на живот.

В первое же мгновение хлестнула вода. Скрыла все. Все потонуло в матовом густом тумане. Жесткая струя сквозь пробоины полоснула меня по лицу, заставляя зажмуриться. Когда я открыл глаза, крупные капли воды стекали с плексигласа. В этот момент произошел сильный толчок. Я больно ударился грудью и подбородком о турель. Удар произошел от встречи корпуса фюзеляжа с песчаной косой, на которую мы выскочили с моря.

Машина, качнувшись, остановилась, завалившись на сторону, обмакнув левое крыло в море.

Мы погрузились в густую голубую тишину. Море было, как зеркало, спокойно. Только длинная глянцевая волна накатила и пропитала золотой песок прозрачной влагой... А в ушах продолжали звенеть ушедшие звуки...

Меня вернул в настоящее обеспокоенный голос летчика:

— Ты жив? Что с тобой? Ты ранен, почему молчишь?..

Мне помогли выбраться. Я стоял на горячем песке перед двумя незнакомыми мне парнями и не мог произнести ни одного слова. На меня нахлынула радость, и я совсем растерялся, не зная, что им сказать. Мне хотелось броситься им на шею, благодарить их за жизнь, в которую несколько минут назад перестал верить... Но я стоял с пересохшим горлом и молчал как рыба.

— Перепугался здорово, а? Страху было, во! На всех с перебором! Палил ты, как настоящий стрелок! А кино не снимал?

— Оставь, Коля, видишь — малый не в себе! А ты пристал: снимал — не снимал?.. Скажи спасибо — нашел духу палить без перебою!..

Парень в форме старшего лейтенанта, участливо улыбаясь, взял меня под руку.

— Не знаю, как тебя зовут, меня — Вася, пойдем, посмотрим, как фрицы отделали нашу «птичку».

Перед нами на узкой песчаной косе, распластав перекошенные крылья, с почерневшим мотором, от которого полыхал жар, лежала на пузе наша дорогая «птичка».

— Как это она не сгорела и дотянула до земли? — спросил я Васю.

— Это не она, а он — Колька! Если бы не он — крышка! Нырнули бы — будь спок! Верь мне! — И Вася приложил руку к сердцу. — А скажи, если не секрет, успел снять, как мы шарахнули, а?

Он задал вопрос и почему-то покраснел, смутился и, виновато улыбаясь, ждал ответа. Его круглое, поджаренное солнцем курносое лицо с добрыми голубыми глазами и мальчишеской улыбкой покрылось капельками пота.

— Не все, правда, но до нападения «мессеров» кое-что успел снять!

— Вот это да! И стену огня успел снять? — обрадовался Вася.

— И даже разрывы бомб внизу прихватил, жаль, очень высоко мы от них были! — пошутил я.

— Не досчитались бы мы тогда там, в штабе, не только нас, но и тебя, Коля! Николай! Он все снял! Нет, ты только представь себе! Ну и ну! — Вася побежал к Николаю и начал его тормошить. — Он все, все снял, а мы-то думали...

— Подожди! Ну вот, опять спутал, помогли бы лучше посчитать...

Коля сосредоточенно считал пробоины. Он был высок, худощав, с карими глазами, каштановые кудри слиплись от пота, обрамляя суровое с орлиным носом лицо.

— Ну вот и шестьдесят вторая, шестьдесят третья, и, кажется, последняя шестьдесят четвертая... Неплохо нас обработали фрицы, и как это они ухитрились ни одну тягу не перебить! Да! Хана бы нам была!.. Ну и когда же мы увидим твою съемку? — вдруг спросил он меня.

— Вот если завтра эта пленка будет в Москве, то через неделю, глядишь, и увидим на экране, только мне еще надо вас обоих подснять, когда мы вернемся на аэродром. К сожалению, пленку всю израсходовал, а то бы сейчас поснимал и вас, и вот эти дырки...

Я залез в кабину, вытащил наружу кофр со снятой пленкой и камерой, надел китель, подошел к моим новым друзьям. Ребята смутились...

— Товарищ капитан 3-го ранга! — козырнул мне Коля.

— Извините! Мы-то с вами всё на «ты» да на «ты»! Не успели там, на аэродроме, познакомиться, да и темно было, не разглядели...

— Ну и хорошо, что не разглядели. По крайней мере, ближе стали...

Нам всем стало очень легко и радостно — так бывает, наверное, когда возвращаешься в жизнь. Радует все — и тишина, и теплое ласковое море, и сама возможность дышать, двигаться, жить...

Так небо — уже в который раз! — уберегло меня от, казалось, неминуемой гибели. Судьба хранила меня — я поверил в это окончательно.

Дорога смерти

Крым, 1941, октябрь.

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел! Своими глазами!
Понимаете? Видел. Сам.

Илья Сельвинский

На эсминце «Незаможник» по приказу капитана 2-го ранга Зарубы я вернулся в Севастополь. Наши части ночью без потерь оставили город и порт Одессу.

Нельзя было свыкнуться с мыслью, что по Дерибасовской и Ланжерону бродят фашисты. Ярость — тяжелая и страшная — накатывалась каждый раз, когда память возвращала сознание к тому, что стряслось.

Немцы прорвали Перекоп. На узком участке Асы — Армянск Первый батальон морской пехоты сдерживает напор немцев. Мы решили пробраться туда. С трудом удалось получить во флотском экипаже старую полуторку с шофером-матросом Чумаком.

Общими усилиями закатили в кузов полуторки железную на двести литров бензина бочку и отправились на фронт под Перекоп. Нас, кинооператоров, было трое, и еще мы прихватили Колю Аснина — фоторепортера ТАСС. Я сел в кабину рядом с Чумаком, остальные уютно расположились на соломе в кузове — рядом с бочкой.

Был октябрь. По прозрачному синему небу летели серебряные паутинки. Они легкой прозрачной сеткой обволокли нашу полуторку и тянулись за ней чуть видимым серебристым шлейфом.

Когда мы, не доезжая до Симферополя, остановились на минутку размять ноги, на нас обрушилась звенящая тишина глубокого синего неба и пахнуло пряным теплом крымской осени... Война... какая нелепость — здесь тихая теплая осень, там — впереди — огонь, грохот, кровь...

Я еще не полностью отдавал себе отчет в происходящем. Я упорно продолжал верить, что наши войска наконец встряхнутся, расправят плечи и перейдут в долгожданное наступление, отбросят фашистов за Перекоп, а там и Одессу отобьют... Как мы тогда были наивны и далеки от действительного положения дел...

До Симферополя мы докатили быстро, без хлопот. По городу проехали без приключений, а при выезде нас ждали неожиданности: «Стоп! Проезд закрыт!»

— Только с разрешения самого коменданта города, — сказал начальник патруля у закрытого шлагбаума.

— У нас предписание Военного Совета Черноморского флота, — я показал документ.

— Все это прекрасно, но строгий приказ командующего 21-й Отдельной армии запрещает всякую езду по Крыму в дневное время. Небо нашпиговано вражескими самолетами, немцы охотятся за каждой машиной, за каждым человеком. Прошу вернуться в город.

Мы, конечно, не поверили и после ночевки в гостинице чуть свет, объехав КП по известной только Чумаку дороге, отправились в путь. Прошел час, другой, стало совсем светло. Мы ехали, посмеиваясь над предупреждениями, дорога была прекрасная, справа и слева, насколько хватало глаз, расстилалась желтая, выжженная солнцем равнина. На небе ни облачка. Солнце жарит по-летнему.

— Где же война? Немцы-охотники? — весело смеясь, спросил оператор Дима Рымарев.

Чем дальше катились мы по гладкому асфальту вперед, тем меньше встречали людей. Если первое время кое-кто и попадался, то потом под синим куполом мы остались в полном одиночестве.

Сначала мы пели песни, потом просто горланили, показывая друг другу, что нам море по колено. Вдруг вдали на дороге показался дымок. Все примолкли, веселость как рукой сняло. Когда мы подъехали, в кювете догорала перевернутая «эмка», запах жареного мяса и краски кружил голову. Рядом лежали в неестественных позах двое убитых, и, судя по всему, еще двое догорали внутри простреленной машины. Помочь мы ничем уже не могли.

«Снимать? Своих убитых? Разве за этим мы сюда ехали?» — подумал я, и мы, подавленные увиденным, покатили дальше.

Дорога стремительно неслась нам навстречу. Чумак, казалось, бесстрастно крутил баранку и пристально смотрел вдаль. Только лицо было жестким и суровым. Теперь обгорелые машины, повозки, трупы людей попадались все чаще. Мы не снимали. Впереди война, вот там и будем снимать...

Вдали от дороги валялись убитые коровы, овцы, лошади... Неужели их так необходимо было расстреливать?

— Смотрите! Целое стадо коров и пастух-мальчишка! — кипел Федя Короткевич.

— Сколько же пришлось этому пилоту, подлецу, сделать заходов, чтобы уничтожить такое стадо. И мальчонку не пожалел!

А мы не верили, что охотятся за каждым человеком, даже коров расстреляли... Нами овладела ярость, и страх уступил ей место.

Среди этого мертвого поля одна лошадь стояла в упряжке с обрубленными оглоблями, на трех ногах. Одна нога болталась, из нее торчала белая кость. Лошадь как ни в чем не бывало щипала траву. Это было страшно и удивительно. Почему мы не снимали? Очевидно, нам мешала ярость. Мы неслись к войне, снимать врага, а это?..

В этом теплом осеннем мире под веселым, спокойным солнцем догорали, обугливаясь, люди, и ни в чем не повинное и никому уже не нужное животное, подчиняясь могучему инстинкту жизни, продолжало жить наперекор всему, и неведомо было, что ждет это несчастное животное, что ждет эту несчастную землю. Но казалось — страшное. И вместе с тем было несомненно и неопровержимо, что простая, светлая логика жизни сильнее всех ужасов и что жизнь — удивительная, непонятная и непреодолимая штука...

Сейчас я думаю: почему я не снимал всего, увиденного на этой страшной дороге смерти? Наверное, все-таки не потому, что там, впереди, меня ждала настоящая война. Скорее, потому, что это было для меня непонятное потрясение. Я потерял цель. В первые часы все казалось ничтожным по сравнению с тем, что открылось перед нами. Я даже не поднял «Аймо». Казалось, мир гибнет. Он не может, никак не может существовать после всех тех кошмаров и глупостей, которые принял на себя. Так наступило то самое ощущение пустоты. Это было в первые часы. Потом появилась ярость, появились сила и ненависть. Но это потом. А тогда было недоверие к реальности происходящего. Впрочем, и потом очень-очень долго я не снимал подобное. Не снимал дикой и бессмысленной гибели человека, удивительной силы всего живого — даже искалеченного, даже полумертвого, не снимал страдания людей, которыми был куплен будущий мир. Почему? Мы все были твердо уверены — надо снимать героизм. А героизм, по общепринятым нормам, не имел ничего общего со страданием: надо снимать врага, а враг — это солдат в кованых сапогах, офицер в бутылочного цвета форме. Только спустя много-много времени я понял, что героизм — это преодоление страха, страдания, боли, бессилия, преодоление обстоятельств, самого себя и что с врагом мы столкнулись задолго до того, как встретились с ним лицом к лицу.

Все это пришло значительно позже, а пока... пока была дорога, и не было ей конца и края.

Проехав еще несколько километров, мы остановились — надо было решать, что делать. После короткого разговора упрямо поехали дальше — ни один из нас не хотел сознаться, что с удовольствием поехал бы обратно. Не успели продвинуться на километр, как неожиданно вынырнул «мессер».

— Ложись! — гаркнул Чумак, и мы все очутились в кювете.

Пули хлестнули по дороге, по самому ее краю, между нами и машиной, выбили желтую пыль и посыпали нас осколками асфальта.

— В машину! Скорей! Сейчас он вернется, надо маневрировать!

Не медля ни секунды, мы кинулись назад к машине в надежде перед новым заходом «мессера» переменить стоянку. Но когда машина лихорадочно рванулась вперед и проехала довольно далеко, самолет не вернулся, очевидно, полетел на заправку.

С какой надеждой мы смотрели вперед, мечтая найти хоть одинокое деревце или укрытие, но только голая ровная степь и серая змея асфальта плыли перед нашими глазами.

Недолго пришлось ждать — прилетел другой «мессер», и тут появился наш истребитель «И-16» — «ишачок». Вот сейчас он покажет фрицу, где ра-

ки зимуют! Но не успели мы затормозить и спрыгнуть на землю, как наш «ишачок», дымясь, садился рядом с нами, подпрыгивая на неровной поверхности. Неуклюже подскочив на рытвине, он скапотировал и перевернулся колесами вверх. Летчик выскочил из-под фюзеляжа, побежал в сторону. По ногам бил сзади подвешенный парашют. «Мессер», низко пикируя, прострочил «ишачка» из пулемета, и он вспыхнул, загорелся ярким пламенем.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели вымолвить ни слова. «Мессер» вернулся еще раз и после повторной длинной очереди по горящему самолету взмыл свечкой вверх и исчез под солнцем...

Мы забрали летчика и отправились дальше. Он оказался совсем мальчик с розовым смешливым лицом, с огромной шишкой на лбу и широким кровавым шрамом на щеке. Он грубо, по-мужски матерился. От него мы впервые узнали, что наш «ишачок» по сравнению с «мессером» все равно что воробей против коршуна... А мы-то думали, что лучше нашей авиации нет в мире...

Все приуныли, настроение совсем упало. Злость и бессильная ярость бесили.

Полуторка летела вперед. Чумак оказался блестящим водителем. Мы были на страже и зорко следили за небом. А оно по-прежнему разливало над нами синеву.

За дорогу Чумак научился виртуозно маневрировать. Услышав сигнал из кузова, увидев самолет, Чумак останавливал полуторку и дожидался, пока «мессер» не выйдет на него в пике, тогда мгновенно давал газ, вырывая машину вперед, и фриц вгонял длинную очередь в пустое место на дороге. Упрямый немец шел на второй заход, рассчитывая на маневр Чумака, а он, подождав пике, резко сдавал назад, и фриц еще раз разряжал пулемет по асфальту. И так — до нового захода, до нового «мессера»...

Насмотревшись до боли в глазах на небо, навалявшись до боли в боках по кюветам, устав и измучившись, мы добрались наконец до маленького разбитого бомбами хуторка. Все дома были покорежены, не успевшие убежать жители сидели в глубоких, вырытых в земле щелях. Наш приезд вызвал у них бурю негодования... Наша полуторка привлекла два «мессера». Пришлось ехать дальше. Через пару километров в стороне от дороги мы обнаружили несколько деревьев с кустарником, но свободного места там не оказалось — большая группа крестьян отсиживалась здесь, спасая детей и мелкий скот от налета фашистов. При нашем появлении женщины, а их здесь было большинство, подняли такой вой, что мы даже не решились остановиться.

Наконец в стороне от дороги мы увидели стог сена и старые полуразрушенные саманные стены. Полуторка очень удобно замаскировалась между трех стен. Здесь мы решили ночевать. Натаскали душистого сена, устроились. Все так намучились и устали, что даже не перекусив, завалились спать.

Темная, многоглазая ночь не баюкала нас тишиной, дальний рокот канонады, как морской прибой, накатывал на наш лагерь. А мы, усталые, никак не могли уснуть. Скребла на сердце тревога — а что же нас ждет завтра?

Среди ночи нас одолели полевые мыши — их было много, и все они лезли под плащ-палатки. Я проснулся от тонкого писка и возни у меня в капюшоне. Туда набралось несколько мышей. Так же, как и мы, они искали теплого, надежного ночлега. Несколько раз я вытряхивал капюшон, но это не помогало, мыши снова и снова забивались туда. Наконец, утомившись, я крепко уснул вместе с ними. Им было тепло, а я так устал, что незаметно провалился в сон...

Еще один день войны ушел в прошлое...

...На другой день все повторилось. Мы медленно продвигались вперед, маневрируя под непрерывными налетами. Нам удалось с очень близкого расстояния снять штурмовку «мессеров». Сквозь прозрачный колпак можно было хорошо рассмотреть немецкого пилота. Это было лицо врага — первый раз мы увидели его так близко. Но мы не сняли главное — его «деяний». Научиться сопоставлять и делать выводы — это было еще впереди...

Гнилое озеро

Крым, 1941, октябрь

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед.
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступать черед.

Николай Тихонов

С матросом-связным я на мотоцикле умчался к Сивашу. Ехали мы недолго. Скоро показались гнилые озера, и мы замаскировались в руинах разбитой дорожной сторожки. Небо гудело от немецких самолетов. Низко носились «мессера», выше «Ю-87» и «Ю-88», а совсем высоко кружилась «рама» — корректировщик.

Только когда стало темнеть, я сумел выбраться из спасительной сторожки и пошел в сопровождении матроса-мотоциклиста на передовую. Шли недолго. Перевалили два косогора, и стало ясно, что мы уже на передовой. Где ползком, где пригнувшись, по ходам сообщения мы вышли на небольшую возвышенность. Ракеты то и дело освещали ярким магниевым светом местность. Красно-зеленая сеть трассирующих пуль густо покрывала землю. Изредка ухали вдали орудия, и нарастающий звук летящего снаряда заставлял крепко обнимать землю. От резких взрывов больно звенело в ушах.

Когда свет ракеты особенно ярко осветил все вокруг, я почти рядом увидел покрытые бурой плесенью воды Сиваша. Наш правый фланг был прижат к Гнилому озеру и отчаянно отбивал одну атаку за другой. Батальон нес большие потери, но позиции не сдавал.

С левого фланга навалилась лавиной ружейно-пулеметная стрельба. Немцы пошли в атаку.

До самой зари кипел котел боя. Затем все стихло. И снова в небе засветились свечи ракет. На рассвете комбат вызвал меня на КП: сообщил, что немцы прорвали левый фланг и мы окружены с трех сторон. Единственный выход — пройти в темноте через Гнилое озеро. Следующей ночью, если будем живы, постараемся этим путем выйти из окружения...

Я остался в батальоне до следующей ночи.

Комбат вдруг спросил:

— Проголодались, наверное, капитан 3-го ранга? Жрать совсем нечего, вот, если сможете, погрызите!

Он протянул мне сухарик. Сухарик оказался железным, и я думал, что скорее зубы раскрошатся, чем он.

День мне показался вечностью. Немцы, очевидно, разгадали наше желание уйти ночью и решили добить нас днем. Одиннадцать атак отбили моряки до наступления ночи.

Приказ «держаться до темноты» стоил многих жизней. Но другого выхода не было. Матросы обливались кровью, умирали, но приказ выполнили.

Ночью как назло вылезла из-за туч луна. Она осветила берег и застыла холодными льдинками в широко раскрытых глазах убитых матросов. Остатки батальона отходили медленно, мелкими подразделениями по пояс в холодной густой жиже. Немцы усилили огонь из минометов. Мины, падая в соленый рассол, поднимали темные столбы грязи. Видимо, соль разъедала раны — некоторые бойцы громко стонали. Тяжелораненых несли на плечах. Люди падали от усталости в воду, поднимались и снова шли.

Отойдя от берега с полкилометра, я увидел первые цепи немцев. Трассирующие пули с писком мелькали тонкими нитями, пронизывая отступающих. Соленая густая жижа принимала бойцов без всплеска, оставляя на поверхности темные пятна крови и нетонущие трупы.

...Я иду по грудь в воде. Плечо ноет от тяжести аппарата. На глазах один за другим захлебываются с проклятиями смертельно раненные матросы. Страшно звучит проклятие умирающего среди ночи под холодным светом луны. Наконец луна накрылась серым облаком и больше не показывалась. Немцы прекратили огонь.

Всю ночь мы шли через озеро и только на рассвете выбрались на сухую зем-

лю. Вышли и упали обессиленные, но спасенные. Хотелось плакать и целовать от радости землю. Наутро я кое-как дотащился до полуторки, где меня ждали не на шутку перепуганные моим отсутствием товарищи. Я так был рад снова увидеть их! Все были живы, но вид у всех был больше чем невеселый: осунулись, похудели, стали какими-то серыми, обмундирование потеряло всякий вид.

Я думал о людях, которые выходили со мной рядом из пучины Гнилого озера. Я думал о комиссаре Авакумове и его части. Что-то с ними теперь?..

И еще я думал о том, как страшно и горько отступление...

...Много прошло времени с тех давних пор под Перекопом, на Ешуньском плацдарме, но как вчера вижу Гнилое озеро и наше отступление по пояс в холодном рассоле, при луне под автоматным огнем противника...

Юбилей

Севастополь, 1942

...Вышли мы со Сталиным в девизе
Под огнем взрывающихся мин...
Семен Кирсанов

«За Родину! За Сталина!» — этот клич политрука, взметнувшегося на бруствер окопа с наганом в руке, я впервые услышал на краю кукурузного поля под Одессой. Молодой политрук, совсем мальчишка, скатился с бруствера в окоп с простреленной головой. Намечавшаяся атака нашей морской пехоты захлебнулась в самом начале. Как ножом, по сердцу полоснул этот истошный предсмертный мальчишеский крик: «За Родину! За Сталина!» Из всех мною услышанных в момент броска в атаку — за все время войны — этот провис в моей памяти навсегда. Острый, резкий, перечеркнутый пунктиром пулеметной очереди, будто вырезанный стеклом на синеве осеннего неба. Так кричали комиссары, политруки, увлекая за собой бойцов под огненный шквал — в стремительный бросок под вражеский ливень свинца. Но редко кому из них удавалось увидеть результат своего подвига... Первая пуля, первая очередь врага настигали первого ринувшегося в атаку, и его патриотический возглас — «За Родину! За Сталина!» — часто обрывался, захлебываясь кровью. Эти слова несли в себе и жизнь, и смерть, и надежду выжить, и страх умереть, и гнев, и угрозу врагу, и победу...

«Родина — это Сталин, Сталин — это Родина». Так мы думали, верили, жили, и нас окрыляла надежда на свет впереди. Так было. В этом был заложен смысл победы в войне. Было с чем идти на смерть. Было за что идти умирать. И была надежда и радость — выжить...

Было жарко, несмотря на раннюю весну. Солнце обрушило на Севастополь всю теплоту своих чувств. Небо, как бухарская эмаль, было густо замазано голубым. Канонада стихла. Ее сменил серебряный звон набегавшей на гранит прозрачной волны.

— Немцы пошли обедать! — вылезая из воронки и отряхиваясь, сказал Борис Шейнин.

Мы сели на гранитные ступени у самой воды, подставляя свои спины солнцу. Густая дымовая завеса скрывала от нас кремовыми клубами Северную сторону. Солнце набросилось на наши спины, и мы поснимали кители. Раскаленные ступени поджаривали, как на сковородке. Было как никогда хорошо, и ни о чем не хотелось думать. У нас за спиной возвышались обгорелые руины Сеченовского института. Они резко нарушали гармонию голубого неба и моря. Изредка, будто расставляя в нагретом воздухе точки и тире, строчил на передовой немецкий пулемет.

Левинсон закурил и протянул пачку «Беломора» Сергею Алымову. Было так хорошо сидеть и молчать, казалось, ни о чем не думая...

— Ребятки, мне завтра полсотни стукнет! — глядя куда-то вдаль, грустно сказал Сергей. — Даже самому не верится, вроде не старик, а полста! Похоже?

На торпедном катере. Налет «юнкерсов»

Разрыв снаряда из «Большой Доры»

Морская пехота перед броском в атаку

Вражеская авиация бомбит корабли

К.Ряшенцев, С.Алымов, В.Микоша. Севастополь. 1941

В.Микоша. Оборона Севастополя

В окопах — бойцы Приморской армии

— Тебе и сорока не дашь, а стариков всех давно из Севастополя эвакуировали. Давайте лучше сегодня вечером отметим эти пятьдесят!

Алымов посмотрел на нас грустными глазами.

— Вам хорошо это говорить! Вы еще пацаны, только-только начали порох нюхать, а я уже срок отсидел. Ни за что ни про что! Колыму за колючей проволокой осваивал... И кое-что в жизни понял. Узнал, где раки зимуют... — Он оглянулся на руины и, глубоко вздохнув, сказал: «Жизнь-то — копейка! Ни шиша не стоит, захочешь уберечься, а все равно прихлопнет, как муху. Не тут, так там! Так-то вот, братцы!»

Его слова заглушил разорвавшийся тяжелый снаряд посередине бухты — один, потом еще три. Осколки вспахали и изломали отражение Константиновского равелина.

Алымов поднялся. Высокий, сутулый, тяжело ступая по битому, хрустящему, как снег, ракушечнику, пошел в гору.

— Сергей! Не забудь, сегодня вечером, как стемнеет, приходи к нам в гостиницу, — крикнул я. — Кого пригласить?

Сергей оглянулся.

— Всех, кто захочет! Севастополь плохих не держит! А музыка будет? — крикнул он и скрылся за обгорелой руиной.

— Он прав, музыка должна быть, — сказал Левинсон.

Тяжелое пианино мы с большим трудом перетянули из номера люкс со второго этажа гостиницы «Северная» на третий этаж в мой номер. Угощение было на славу. Шампанское и мандариновый спирт в неограниченном количестве. (Штольня с шампанским вскоре заменила воду.) В ограниченном — тушенка, жесткие, как железо, галеты и самое деликатное блюдо — жареная султанка, которую Борис Шейнин раздобыл у подводников. Они выловили ее при взрыве бомбы в Южной бухте.

Никто из приглашенных не заставил себя ждать. Один за другим пришли писатель Леонид Соболев, журналист Лев Иш, поэт Яков Сажин и гурьбой композиторы — Борис Мокроусов, Юрий Слонов, Василий Макаров. Только юбиляр, поэт Сергей Алымов, запаздывал. Наконец под бравурный марш, который сыграл Юра Слонов, появился виновник торжества. Одновременно с маршем на стене заговорил динамик: «Воздушная тревога, воздушная тревога»! Весь этот экспромт произошел, будто заранее подготовленный.

Залп пробок ударил в потолок, заклацали граненые стаканы, и первый тост, как на корабле — «За тех, кто в море» — торжественно произнес автор «Капитального ремонта» капитан 1-го ранга Леонид Соболев. Второй тост был, конечно, за юбиляра.

— Сергей! Такое никогда больше не повторится! Тебе отсалютовал сигнал Севастопольского морзавода — «Воздушная тревога»!..

Забряцали граненые стаканы, и полился вместе с шампанским поток сердечных поздравлений дорогому другу Сергею Алымову.

Ради такого исключительного случая был поднят тост при погашенном свете с зажженным в стаканах мандариновым спиртом. Все подняли наполненные голубым огнем стаканы. За шторами с небольшими промежутками рвались где-то — то далеко, то близко — бомбы. Голубой огонек таинственным светом вырывал из темноты лицо каждого.

Время летело быстро. Несколько раз врывалась тревога, потом отбой. Падали близкие и далекие бомбы, дрожали стены, гас свет. На смену ему загорался синим огнем мандариновый спирт. При загадочном сиянии послышались тяжелые аккорды. Борис Мокроусов играл Лунную сонату. Все замолчали. Перемежались отдаленные вздохи падающих бомб и трагические аккорды Бетховена. Каждый из нас вернулся в свой мир, далекий от войны, от Севастополя. Неожиданно зажегся свет. На стене как-то четко высветился в массивной раме портрет Сталина. Его взгляд, устремленный на нас, мне показался каким-то странным — живым. Таким я видел его на киносъемке в Москве... Вдруг стремительно вскочил из-за стола Сергей Алымов. Зазвенели и посыпались на пол бутылки шампанского, стаканы. Он выхватил из ко-

буры наган и, не целясь, один за другим всадил все семь зарядов в портрет Сталина. От него на стене, кроме рамы, ничего не осталось.

Наступила тяжелая тишина, даже за окнами. Никто не мог вымолвить ни слова. Громко рявкнула воздушная тревога, и снова погас свет. Мои гости один за другим стали уходить. Последним молча ушел Сергей Алымов.

Я остался один на один с расстрелянным Сталиным... Странно, я был совершенно трезв, будто и не пил ни капли. Что делать? Как жить дальше?.. Я открыл окно и впустил в комнату рассвет...

Вошел Левинсон.

— Владик! Немедленно едем на передовую! Там придем в себя!

От снял пустую раму. Стена была глубоко ранена пулями.

К вечеру мы вернулись с передовой. При встрече со всеми участниками на ужине в кают-компании все происходило, как всегда. Будто совсем ничего не случилось. Севастополь плохих не держит!

Диверсанты

Севастополь, 1942

Есть прямота, как будто кривота.
Она внутри самой себя горбата.
Жизнь перед ней безвинно виновата
За то, что так рисунком непроста.

Евгений Евтушенко

Сегодня мы решили выполнить давнюю задумку — снять в заливе, недалеко от Константиновского равелина на Северной стороне, базу военно-морских бомбардировщиков. Мы часто видели — но не снимали, было далеко — через залив, как на нее нападали «козлы» — так в Севастополе прозвали «Ю-87». Зенитный огонь базы самоотверженно отбивал все атаки пикирующих «козлов», и их бомбы, не достигая цели, поднимали столбы воды в Северной бухте, глуша массу рыбы. Она подолгу серебрила своими брюшками зеленую воду залива. Мы решили посвятить задуманной съемке весь день.

Немцы, пунктуальный народ, как правило, от одиннадцати до двенадцати не летали — обедали. Переправляться через залив, не учитывая этого, было очень рискованно. «Мессера» охотились над Севастополем за каждой подвижной целью, низко пикируя и расстреливая из пулеметов даже случайно оказавшегося на виду человека. Левинсон договорился на флотском командном пункте, и нас обещали переправить на скоростном катере на ту сторону. Немцы и на этот раз были точны и пунктуальны. Переправившись, мы успели добежать, как и задумали, до стен разрушенного домика и залегли в густой тени цветущей сирени.

— Только бы катер успел уйти! — Левинсон, глубоко вздохнув, растянулся на траве.

— Весна! Душистая ветка сирени и война! Парадокс!

Наша засада была обдумана — она находилась в стороне от обычного курса нападающей авиации и в то же время не так далеко от морской базы. Нас защищала полуметровая стена бывшей ограды садика, на траве которого мы так удобно расположились. База была перед нами, как на ладошке. Не прошло и десяти минут, как без всякой тревоги появились юркие и стремительные «мессера». Их моторы не жужжали, а мелодично звенели. Они то низко шныряли над руинами, что-то выискивая, то вдруг свечой взвивались в небо и, пикируя с высоты, расстреливали из пулеметов наши зенитные батареи.

— Как у них все продумано! Ничего зря не делают! Обеспечивают безопасность перед прилетом бомбардировщиков...

Не успел Левинсон закончить, как раздался тревожный гудок морзавода. После объявленной тревоги обычно не проходило и пяти минут, как появлялись «гости». На этот раз «Ю–87» и «Ю-88» появились одновременно с последним гудком морзавода.

Из-под солнца, со стороны Инкермана, летели одна за другой две эскад-

рильи. В первой было девять, а во второй шесть самолетов. Я поднял «Аймо». Левинсон взял меня за плечи, помогая мне сохранять устойчивость, но снимать я не мог — мешало солнце в кадре. Вот так же оно мешало взять прицел и зенитчикам. Немцы знали, откуда безопаснее нападать. Наконец солнце ушло из кадра, и я стал снимать, но тут же прекратил съемку. Самолеты изменили курс. Защитный огонь оказался в пустой синеве неба. Оно покрылось густым накрапом взрывных веснушек. Обе эскадрильи сделали большой круг высоко над городом. Зенитки морской базы молчали. Очевидно, не хотели обнаруживать себя. Сверкали на солнце несколько бомбардировщиков, амфибий и огромный ангар.

— Смотри, кто такой? Ты не знаешь? — Левинсон показал мне взглядом на человека, который примостился, как и мы, на траве не так далеко от нас под кустами миндаля.

— Сухопутный батальонный комиссар. Чего это он тут блуждает? — спросил я.

— Наверное, решил переждать тревогу, — тихо сказал Левинсон.

— Ты знаешь, он следит за нами! Вот те крест! — вполголоса сказал я своему другу.

Мои слова заглушил резкий шквал зенитного огня морской базы. Я вскинул «Аймо» и плотно прижал к мокрому лбу. Мне стало вдруг очень жарко, хотя нас накрывала густая тень. Первая эскадрилья «козлов», задрав колеса вверх, пошла в крутое пике. Я начал снимать. Вся эскадрилья не поместилась в визире камеры. Мне было хорошо видно, как оторвались бомбы. Рев самолетов, свист бомб и грохот зениток заглушили работу камеры, и мне казалось, что она остановилась. Левинсон крепко держал меня за плечи. Я продолжал вести панораму за бомбами и хорошо видел, как они вонзались в ангар, и он исчез в дыму и пламени огромного взрыва. В синеве неба повисли черные, рваные куски железа. Камера остановилась. Кончился ее пружинный завод. Мы прижались к каменной стенке. Я стал заводить камеру. Взрывная волна больно хлестнула, но каменная стенка сплассировала удар. Левинсон что-то кричал мне, но я ничего не слышал, тогда он показал мне рукой. Вторая эскадрилья, перевернувшись колесами вверх, тоже круто пошла в пике. И первая, чуть не задевая Константиновский равелин, свечой взмыла в небо. Я, запрокинувшись, вел панораму за самолетами и видел в визире, как бомбы, а их было много, попали прямо в гидросамолеты. Сквозь высокое пламя летели вверх куски амфибий...

Мое сердце! Как оно выдержало увиденное? Камера остановилась. Взрывная волна положила нас на траву. Если бы не каменная ограда, нас отбросило бы далеко. Вдруг наступила относительная тишина, если не считать далекого воя улетающих «юнкерсов» и треска бушующего пламени. Догорали искореженные останки амфибий и бензиновые бочки.

Нужно было перезарядить «Аймо», и я полез в кофр за перезарядным черным мешком. Мои руки дрожали, и очень хотелось пить. Левинсон сидел с широко открытыми глазами и что-то беззвучно шептал...

Вдруг из-за спины раздался резкий, неприятный, властный голос:

— Это чем вы тут занимаетесь, а?

Это было так неожиданно, что мы не успели ничего ответить. Тут же последовала громкая и резкая команда. Она просто оглушила меня.

— Встать! — взвизгнул комиссар.

Не понимая происходящего, мы сидели на траве и улыбались — мы приняли все за глупую шутку. «Аймо» лежала рядом на перезарядном мешке.

— Встать! В душу мать! Ждете немецкой команды?! По-русски не понимаете!

Он стремительно выхватил из кобуры пистолет и, не целясь, направил в нашу сторону. Мы встали в полном недоумении. Я хотел поднять «Аймо», но новый выкрик меня остановил.

— Руки вверх!

Мы подчинились. Он направлял пистолет то на Левинсона, то на меня.

— В чем дело, товарищ батальонный комиссар? Вы за кого нас принимаете?

— Я вам не товарищ! Вы — фашисты, диверсанты! На кого работаете?

Он нагнулся, взял левой рукой «Аймо». Мы незаметно для себя приопустили руки.

— Вот вещественное доказательство! — Он погрозил нам, как кулаком, «Аймо». — Я давно за вами слежу! Вы арестованы!

Он переложил пистолет под мышку и правой рукой открыл крышку аппарата. Из него выкатилась бобышка со снятой пленкой. Я схватился за пистолет, мое сердце громко стучало... Левинсон схватил меня за руку.

— Ты с ума сошел! Съемку не вернуть!

Мы стояли с поднятыми руками. Левинсон был бледен, как полотно. Его левый глаз подергивался. Я таким его никогда не видел.

— Это насилие! Прежде надо проверить документы! — крикнул мой друг.

— Молчать! Какие документы? Вот документ! — Комиссар бросил «Аймо» на траву. — Диверсия налицо! Явная работа на Гитлера! — Он снова поднял пистолет. — На три шага вперед! Руки за спину! Шагом арш!

В это время морзавод заиграл тревогу. Наш конвоир завертел головой, осматриваясь по сторонам, словно разыскивая кого-то.

— Стоять на месте! — скомандовал он и вдруг побежал, кинулся в сторону складских бараков, видневшихся вдалеке.

Снова из-под солнца показалась шестерка «юнкерсов». Она сделала полукруг, зенитные разрывы сопровождали ее густым накрапом. Она завернула явно в нашу сторону. Незаряженная камера валялась на траве...

Особист все еще бежал в сторону бараков, казавшихся ему, очевидно, спасительными. Мы вернулись к нашей спасительной ограде.

— Такую съемку загробил! — Левинсон сплюнул в сердцах.

— Удрал! С перепугу и арестованных «диверсантов» бросил! — Я посмотрел в сторону бараков, но там уже никого не увидел.

«Ю-88», с воем пикируя, сбросили свой груз туда, где исчез наш конвоир. Мы лежали на траве, плотно прижавшись к каменной ограде.

— Нашел же, дурак, где прятаться, это склады боезапаса базы! От него мокрого места не осталось! — Левинсон не то жалел, не то негодовал.

Зенитная канонада прекратилась. Вдали над складами висела черная шапка, в ее подножье пылало пламя. Ни один из нападающих «юнкерсов» не пострадал. Они с воем исчезали на бреющем полете. Мы поднялись в ожидании развязки. Я перезарядил «Аймо». Засвеченная пленка блестела на траве.

— Этот дурак одну из лучших моих съемок уничтожил. И все же жаль, что он накрылся... Давай поищем, может, надо ему помочь! — настаивал я.

— Если бы он был жив, то сейчас бежал бы сюда сломя голову арестовывать тебя, а если ранен, то гарантирую — сейчас же и пристрелит нас, чтобы не убежали от него живыми!

Доводы моего друга были основательными, но мне было не по себе — уйти и не помочь?..

— Все-таки подождем еще немного, может, появится? Мы же арестованные. Раз сбежали — значит, действительно диверсанты!

Морзавод дал отбой воздушной тревоги.

— Нельзя так уходить...

— Не бойся, я беру это на себя! Доложу, как положено, адмиралу Октябрьскому.

— Подождем еще немного!

Левинсон не разделял моих чувств, но согласился:

— Ну, ладно, еще полчаса — рискуем ведь, как этот идиот, попасть под бомбы!

Мы были на пути к пирсу — голое место, и нет никакого укрытия. Время шло, ни единой души не появлялось в районе взрыва. Да и откуда ей было появиться? Все это время мы прислушивались, но слышали только легкий шум моря, отдаленные крики чаек и шум полыхающего огня.

— Смотри, сюда идет катер, как по заказу! А то, может, сегодня никакой оказии больше не будет. Застрянем до утра!

— Ладно, пойдем, ты, наверное, прав по-своему, но мне не по себе!

— Да, жаль мужика... — вдруг сказал Левинсон.

— А может, он понял, что натворил, и ему стало стыдно? — сказал я уже в гостинице, хотя понимал, что чудес не бывает.

— Слушай, мне ведь сразу стало ясно, что его накрыло. Склад рванул так, что чудо, что уцелели мы... Я сам не знаю, на что надеялся, когда мы там два часа проторчали... Я доложил в политотдел. Мне сказали, что склады разворотило до основания... Жаль мужика. Успокойся хотя бы тем, что завтра это может случиться с нами...

Проснувшись ночью, я увидел, что Левинсон не спит — сидит, курит в углу кровати.

— Слушай, как ты думаешь: а если бы он остался жив — он нас пожалел бы?..

...Сколько раз еще за войну буду я стоять под дулом пистолета, направленного своим, русским, — и здесь, в Севастополе, и потом, на долгих дорогах войны...

Встреча с Довженко

Москва, 1942

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне...
Анна Ахматова

На Графской пристани мы, защитники Севастополя, преклонив колени, давали клятву Сталину — стоять насмерть, до последнего патрона, до последней капли крови...

Так и было. Все патроны были выстреляны, раненые, истекая кровью, ждали своей участи, исполнив свой долг и клятву Сталину, убитые — молчали. Очнувшись от тяжелой контузии в Новороссийске, я с горечью в сердце узнал, что Севастополь топчут фашистские сапоги, а меня эвакуировали контуженного, без сознания, на подводной лодке...

Все кончено. Сердце оборвалось. Нет больше Севастополя.

«Наши части после упорных боев оставили Севастополь...» — прочел я первую фразу Совинформбюро.

В Новороссийске меня подлатали, и я отправился в Москву.

С Центрального аэродрома на Ленинградском шоссе я кое-как добрался до метро.

Первым, кого я встретил, подходя к студии, был Александр Петрович Довженко. Он шагнул навстречу, обнял меня. Теплый ветерок ласково шевелил его серебряные волосы.

— Я рад, Владислав, что вы живы, что могу обнять вас... Я верил, что выдержите все испытания и вернетесь... — сказал он, держа меня за плечи.

Нежность и доброта светились в его усталых голубых глазах.

— Да, но Севастополь у фашистов в руках...

К горлу опять подступили спазмы.

Александр Петрович пристально посмотрел мне в глаза, положил руку на плечо с таким отцовским участием и теплом, что во мне впервые за все время войны разлилось спокойствие...

— Давайте посидим здесь, на солнышке, поговорим, успокоимся, — предложил Александр Петрович.

Мы присели на ступеньки крыльца.

— Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Мне тоже тяжело, а им, может быть, еще тяжелее.

Он показал взглядом на двух пожилых женщин с детьми на руках, проходивших за оградой студии.

Довженко сам был на фронте — и как корреспондент, и в период работы над фильмом «Битва за нашу Советскую Украину».

— Как вы считаете, когда человеку легче перенести сильное горе — в оди-

ночестве или когда его окружают такие же убитые горем, как он сам? Ну вот, задумались... Только не пытайтесь ответить сразу, это не так просто. — Глаза его потемнели, в них загорелся холодный огонек. — Все русские люди должны склонить головы перед памятью героев, оборонявших город. Поклониться в пояс руинам Севастополя и дать волю гневу, чтобы укротить безмерное горе... — Его прекрасное лицо, обрамленное светлым ореолом волос, замерло, как высеченное из мрамора. — Расскажите, как жили и умирали там люди.

Расспросив меня, Александр Петрович в то же время рассказывал о себе. Не просто о себе, а о том, что видел и пережил сам. Он говорил о горящих городах, о страданиях людей, о смерти...

На другой день, узнав, что я собираюсь вернуться на фронт, Довженко приехал ко мне, чтобы дать задание для своего будущего фильма. Он так сильно, конкретно и образно рассказывал мне о том, как он хочет показать войну, что у меня как бы заново открылись глаза на все происходящее.

«Кем же я был до этой встречи? Неужели ремесленником?» — думал я, глядя в глаза Довженко. А он, рассказывая, тут же иллюстрировал свои мысли рисунками, набрасывал карандашом кадр, сопоставляя его с другим.

— Не стесняйтесь показывать страдания людей... — говорил он мне. — Смерть, слезы, страдания. Ибо в этом огромная сила утверждения жизни. Покажите страдания раненного на поле боя солдата. Покажите солдатский тяжкий труд. Снимите смерть солдата. Не стесняйтесь — плачьте сами, но снимайте... Пусть видят все. Пусть слезы зальют ваши глаза, но вы его снимите... Пусть видят все, как и ради чего он умирает. Ибо гуманистична, как ничто другое, смерть ради жизни. Снимите на поле боя медсестру — совсем девочку — хрупкую, юную. Превозмогая ужас и страх, тянет она непосильную ношу. Снимите первую перевязку. Крупно — нежные маленькие руки, рану, кровь. Снимите глаза сестры и глаза раненого. Снимите людей. Ибо они своим тяжким трудом, непосильным, изнурительным трудом и страданиями делают будущий мир. Снимите врага, его звериный облик... — Александр Петрович замолчал, задумался на секунду, посмотрел на меня внимательно, как бы проверяя, точно ли он выражает свои мысли. — Я говорю не просто о любом немце — он такой же, как мы с вами, похож на человека и может вызвать жалость и участие. Русскому присущи гуманность и человечность больше, чем кому-нибудь другому. Я говорю о содеянном фашистом зле. О том варварстве и педантичности, с которой он расстреливает наших людей, жжет села и города, калечит нашу землю. Все это и будет подлинным обликом, настоящим лицом фашиста-зверя, врага человечества, варвара XX века. Для этого не нужно ходить в тыл к немцам, хотя и это не исключено. Присмотритесь к дорогам войны. Дорога сама по себе лицо войны. По дорогам идут войска в наступление, по дорогам отступает враг, оставляя расстрелянных и повешенных... Присмотритесь к дороге — и к той, которая проложена, и к той, которую прокладывает война. Вы не раз показывали ее в Севастополе. Это страшное, потрясающее зрелище... Мы скоро начнем наступление и погоним врага с нашей Родины. Мы погоним его с наших просторов — от Волги через Днепр, Вислу до Одера, Эльбы, Рейна. Вспоминайте этот наш разговор. Он вам во многом поможет. Поможет показать, как достается мир... Когда-нибудь дети наши по нашим кадрам будут учиться понимать цену жизни, цену мира и ужас, нелепость войны.

До этой минуты нам запрещалось снимать страдания и смерть советского человека. На поле боя советский воин должен был быть физически бессмертным. Так мы и старались снимать, исключая тем самым подвиг смерти ради жизни.

Я с ужасом оглянулся на пройденный мной как оператором путь. Сколько я потерял! Сколько кадров осталось неснятыми, сколько подвигов не запечатлено на кинопленку...

Через несколько дней Довженко вернулся на фронт.

Продолжение следует

Публикация Джеммы Фирсовой

РОСТИСЛАВ ЮРЕНЕВ

В оправдание этой жизни

Ростислав Юренев

...Два дня накрапывал дождь, низко шли тяжелые облака. Погода была нелетная. Я познакомился с новыми однополчанами, и меня огорчило их подавленное состояние. Чувствовалось, что полк на последнем дыхании, что все ждут неминуемого конца. СБ не могли противостоять немецким «мессершмиттам» и «юнкерсам». Скорость этих «скоростных» была удручающе мала — 220 километров в час. Вооружение мизерное — два пулемета в носу и в хвосте. И главное, самолеты покорно горели от одной зажигательной очереди или зенитного снаряда, разорвавшегося не столь близко. Вот и доживали свои последние дни эти устаревшие самолеты и молодые, неопытные, вроде меня, летчики. Особенно меня поразило, что мое предписание майор отдал мне обратно, и даже продовольственный аттестат — наиценнейший животворящий в моих тыловых скитаниях документ — никто не спросил. Хотя кормили хорошо, главным образом, гречневой кашей с разваренным мясом.

Наконец ночью подул сильный ветер. Утро выдалось с белыми не по-зимнему облаками, ясное.

Задание было простым: идти ведомым в составе звена, точно следуя за ведущим самолетом. Нанести бомбовый удар по позициям противника в районе северного горла Миусского лимана. Бомбить строго вслед за ведущим. Возвращаться севернее Таганрога, минуя его зенитную оборону, но берега из виду не терять. Далее берегом моря — в направлении станции Синявка. При преследовании «мессершмиттами», их на свой аэродром не приводить. Все было ясно и просто, только вот как выполнить это последнее приказание, как уводить «мессершмитты» от своего аэродрома, я не понимал.

Начало своего первого боевого полета я не помню. Сидя справа от летчика, немного впереди, перед турелью с пулеметом ШКАС (Шпитального Комаровского Авиационного Скорострельного, знакомого по мукам его сборки в Ржеве), я суетливо следил за маршрутом по карте и по очертаниям моря, все время поглядывая на мерно покачивающийся хвост ведущего самолета. Впрочем, и летчик не отрывал от него глаз. На цель выходили с моря, на высоте около двух километров. В окуляре прицела я видел вспышки зенитных батарей, видел и белые курчавые разрывы снарядов довольно далеко, сбоку. «Дуй!» — вдруг крикнул летчик, и я нажал на сбрасыватель, успев заметить, что из брюха ведущего уже вываливаются бомбы. Разворачиваясь вслед за ведущим резко вправо, с потерей высоты, я было уже успокоительно вздохнул, но вдруг вместо надежного хвоста ведущего увидел быстро несущиеся мимо клочья облаков — стало ясно, что мы высоту набираем. Лихорадочно следя, как мечется компасная стрелка, я понял, что мы от своего звена оторвались, но следуем в облаках курсом около 45 градусов, в направлении севернее Таганрога. Вы-

---

Главы из мемуаров Р.Н.Юренева. Книга готовится к печати в НИИ киноискусства.

скочив из облаков, я увидел справа большой город, за ним черно-зеленый залив. Но рассматривать все это времени не хватило. Таганрог бил по нам из довольно мощных батарей, а сзади раздавались длинные очереди нашего стрелка, лежащего в хвосте, лицом назад, с задачей оборонять наш тыл — хвостовое оперение.

«В кого это он так лупит?» — успел подумать я, когда вслед за пронесшейся мимо очередью трассирующих пуль увидел изящное брюхо уходящего от нас вперед и вверх самолета. Мой летчик резко развернул вправо и вниз и снова вошел в стремительно летящее молоко облака. Я понял. Нас атакуют «мессершмитты».

Вывалились из облака уже на высоте не больше километра, над морем.

«Куда теперь?» — орал мне летчик. «Пятьдесят пять градусов!» — наудачу ответил я, рассчитывая сориентироваться при виде берега и устья Дона, которое должно быть слева. И пока я искал это устье, летчик снова на минуту ушел в облако, а потом довернул на указанный мною курс. Я сориентировался хорошо, да это и не составляло труда — линия берега моря выделялась резко, даже разрывы артиллерийской дуэли южнее Самбека были видны. Приближался и наш берег, наша поляна подскока, наш дом, казавшийся спасительным и желанным.

Не успел я возмечтать о доме, как увидел два «мессершмитта», идущие на нас со стороны моря. Я указал на них летчику, он кивнул и резко развернулся на север. А я полез в турель, к своему нелюбимому ШКАСу. Звонко, длинными очередями начал стрелять наш радист. Потом замолк. Заело пулемет? Убит? Один из «мессеров» куда-то исчез, другой, элегантно развернувшись, пошел сверху нам в хвост. Его трассирующие пули прошли совсем рядом, левее. Прямо над нами он летел какое-то мгновение, я дал одну очередь, другую, третью. Вероятно — мимо, но «мессер» резко взмыл. И тут я понял, что мы горим. Черный дым окутывал левый мотор, наполнял кабину летчика. Меня в турели дым не достигал, но самолет резко кренил влево.

«Прыгай, мать твою, прыгай!» — услышал я вопли летчика. Парашют болтался у меня под животом. На нем я, как нас учили, прилаживал планшет с картой. В тесной турели он сильно мешал. И я стал лихорадочно высвобождать его из-под пулемета. Нащупал кольцо выпускного клапана, продолжая искать глазами «мессера». И вдруг я понял, что вываливаюсь из турели, вырванный встречной струей. Успев увидеть дымные клубы нашего самолета, прошедшего надо мной, я изо всех сил дернул кольцо. Толчок, резкий рывок, парашют раскрылся впереди меня. И тут только я успел испугаться, так как понял, что падаю на спину. Возясь со стропами, я своего самолета больше не видел. Зато «мессер» прошел совсем рядом. Я видел лицо летчика в больших ветрозащитных очках. Может быть, он хотел оборвать крылом мой парашют? Вряд ли. На меня быстро надвигалась земля. Но я не испытал ужаса, как при первом прыжке тогда во Ржеве. Да и радости от возвращения на матушку-землю почувствовать не успел — тяжело грохнулся в болотную вязкую жижу. Это меня и спасло, но ногу я все-таки вывихнул. Пытаясь погасить дергающий меня парашют, снова упал от резкой боли. И тут увидел, что ко мне бегут. Знал, что я у своих. Таганрог был очень далеко на севере, залив где-то сзади. Но почему-то все как-то поплыло перед глазами, и я потерял сознание.

«Вон он, мертвый!» — услышал я.

Хлюпая по лужам, ко мне бежали солдаты в коричневых комбинезонах.

— Живой!

Подобрали, скомкав, парашют. Подхватили под мышки. Снова резкая боль.

— Тише вы, черти!

И опять все поплыло.

— Бери его аккуратней!

У артиллеристов дальнобойной батареи я провел три дня. Больную ногу мне сильно дернул солдат, отчего я взвыл, но ноге стало легче.

Чего только не делали для меня артиллеристы! Заботились, как о младенце. Поили спиртом. Лейтенант звонил обо мне своему начальству, но оно моего начальства разыскать не торопилось. Жили артиллеристы плохо. В землянке стояла вода. Но был спирт, и еды было много. Собираясь вокруг меня, они заводили один и тот же разговор: кому страшнее — летчикам или артиллеристам?

Я был убежден, что артиллеристам. Но они утверждали, что летчикам. Ежели что — артиллерист, как и пехота, может прижаться к земле, укрыться за камнем, за кочкой, в колдобинке. А летчику податься некуда, да и земля страшна — разобьешься.

Наконец к батарее подвезли снаряды. По слякоти грузовик подойти близко не мог, и ребятам пришлось таскать снаряды к орудиям на руках. Стало не до меня. Но командир все же написал мне длинную и не слишком грамотную справку, что, мол, батарейцы видели, как горел самолет, как падал я с парашютом, как вправляли мне ногу. «На всякий случай — рапорт этот не повредит. Небось начальство твое будет расспрашивать — вот и свидетельство, правда, без печати».

Грузовик доставил меня в артиллерийский штаб. Там тоже обласкали, поили спиртом, спорили: кому страшнее? Потом я добирался до своего аэродрома-подскока. А там уже полка не оказалось. В коровьих сараях слонялся караульный взвод аэродромного обслуживания. Старшина объяснил, что в полку осталось лишь два самолета, на которых летный состав куда-то увезли. Им же, батальону аэродромного обслуживания, приказано двигаться на Тихорецк. Мой заляпанный болотной грязью комбинезон, унты и шлем он от меня принял, мрачно матерясь, копался в каких-то ящиках и узлах и наконец кинул мне шинель, фуражку и чемоданчик.

— Скажи спасибо, что шинель твоя черная. Иначе бы не нашел...

Я доехал с ними до Тихорецка. Там, в комендатуре, о моем полке ничего не знали. Проболтавшись сутки, я увидел эшелон, идущий на Армавир.

Тощий капитан в Армавирском военкомате весьма удивился.

— Уж и не знаю, что мне с тобою делать. «Полчок» твой, наверное, расформировали. Тебя посчитали погибшим или, что плохо, пленным. Справке твоей артиллерийской никто не поверит...

Я молчал.

— А я вот верю, — мрачно сказал капитан. — Становись пока на довольствие. Там разберемся.

Словно домой, я пошел в казарму, на свою трехэтажную койку. Поел на вокзале. Зашел и в читалку. Старушка обрадовалась.

Но долго читать Мутера мне не пришлось. Капитан вручил мне приказание отбыть в Невинномысск, в распоряжение командира 763-го легкобомбардировочного ночного авиаполка (ЛБНАП).

— С твоим пребыванием под Азовом я не знаю, что делать. Решил себя и тебя не теребить, а все это дело считать недействительным.

— То есть как?

— А так. Не было этого ничего. Пока ты там прохлаждался — все ваши уехали в Невинномысск. Я туда звонил. Они тебя взять согласны. Погоди, не спеши. Давай, раз такое дело, выпьем с тобой за удачу.

Он вынул из-под стола сулею со знакомым розовым молодым вином. Налил. Чокнулись.

— Так, говоришь, «мессера»? На первом же вылете? Ладно, забудем. Ордена тебе все равно за такой вылет не дадут. Так что помалкивай. Радуйся, что будешь опять со своими.

— Ладно, значит, такая судьба. Спасибо, капитан, я все понял. Налейтека мне еще стаканчик.

В Невинномысск я доехал без приключений. Встретил там почти всех, приехавших со мной из Борского. Никто на мое опоздание внимания не обратил. Только Мишка Михайличенко пробурчал:

— Ты где пропадал? Триппер, что ли, лечил?
— Не триппер, мудак, а малярию.

Казарма в Невинномысске была не с трехэтажными, а с двухэтажными койками. Формировались два легкобомбардировочных полка. Штурманы почти все наши, в черных морских шинелях. Пилоты в большинстве своем инструкторы из аэроклубов. Несколько штрафников, о причинах своих наказаний помалкивающих. Говорили, что некоторые погорели на пьянке, некоторые бомбили по своим. Впрочем, это меня мало волновало. Интереснее было выяснить: почему же мы с штрафниками? Наша-то в чем вина?

Тревоги наши усилились, когда твердо выяснилось, что воевать нам надлежит на «У-2», учебных, уже безнадежно устаревших фанерно-перкалевых бипланах со скоростью 110 километров в час конструкции Поликарпова. Говорили, что по аэроклубам этих самолетов множество, а настоящие боевые самолеты уничтожены (этому после своего полета на СБ я охотно верил). Вот и посылают нас на верную смерть.

И все-таки мне не верилось. Не может быть, чтобы формировали полки для верной и очевидной гибели. Опять неопределенность, опять тревожные ожидания. А когда прибыла «материальная часть» и мы увидели штук тридцать мирных фанерных тихоходов, настроение у всех резко упало.

«Уж лучше бы в Нальчик, в пехоту», — говорили многие. Однако летчики, пригнавшие тихоходы, рассказали, что под Москвой эти фанерные гробики воевали вполне успешно. Вначале они летали на бреющем полете над пехотой противника, и штурманы руками разбрасывали гранаты. Потери были, но не слишком большие. «Мессера» и зенитки по ползущим на десятиметровой высоте гранатометчикам действовать не могли. Потери были от ружейного и пулеметного пехотного огня. Привозили на своих перкалевых плоскостях по сто пробоин и больше, но все же до своих долетали. Теперь начальство решило возить на «У-2» небольшие осколочные и фугасные бомбы. Следовательно, высоту нужно было поднять метров до четырехсот. А там уже и «мессера», и зенитки... стало быть, летать надо ночью.

Буква «Н» в нашей аббревиатуре говорила, что летать будем ночью. Это и обнадеживало, и смущало. С нашим-то опытом да в темноте! Но опытные летчики-инструкторы, налетавшие в своих аэроклубах сотни и тысячи часов, говорили, что для них разницы почти нет: что днем, что ночью.

Не помню точно, откуда брали мы актуальную информацию. Радио слушали жадно, собираясь у черных картонных тарелок — такими были репродукторы, передававшие центральное радиовещание через радиоузлы. Иметь приемники и слушать их категорически запрещалось — берегли нас от вражеской пропаганды. Из черных тарелок раздавались голоса Юрия Левитана или (кажется) Ольги Высоцкой, торжественно читающих оперативные сводки, ощутимо неполные или запаздывающие. Дополнять их слухами было почти невозможно: слухи были самые разноречивые, подчас фантастические. Война для нас была непредсказуема, да и как предсказывать, если фронт растянулся от Мурманска до Крыма, бои то затихали, становились «местного значения», то разгорались до решающих, судьбоносных размеров.

Какими-то правдами и неправдами мы все же что-то разузнавали. Волнующее меня положение под Москвой обнадеживало: противник был отброшен, Калинин, где жили бабушка и дядя Сережа, освобожден. Но о бомбежках Москвы сведений почти не было. А что, если моего Брюсовского переулка уже не существует? Один пилот (из штрафников) прибыл почему-то из-под Москвы, но ехал оттуда долго да и рассказывал неохотно: над Кремлем — аэростаты, Большой театр перекрашен, как маскхалат, с водкой туго, в октябре была паника — все старались смыться. Все это было и без него известно. Важнее для нас были известия из Ростова — мы понимали, что путь от него и Батайска на Кубань и к нам открыт. Но там было тихо. Радостным и неожиданным был десант в Крыму. Освобождение Керчи и Феодосии, направления на Старый Крым и на Севастополь — это касалось и нас. Вероятнее всего, наши драндулеты направят туда. Это вызывало во мне противоречивые чувства. Как не

признаться, что фронта я боялся, нет, вернее, опасался. Но, с другой стороны, росло и чувство стыда, нет, вернее, неловкости, от долгого пребывания в тылу. Эпизод с полетом под Таганрог оставил во мне и чувство обреченности: все равно не уцелеть! Но и чувство невыполненного долга: что я там наделал своими бомбами? Помог ли хоть чем-то? Раз уж я здесь — нужно воевать. И, лежа на втором этаже железной койки, я повторял себе: ничего не просить, ни от чего не отказываться! И молился о маме, папе, Наташе, вспоминал московских родичей и друзей и, конечно, томился по Тамаре. Как-то она там? И где — в Борском, в Алма-Ате или еще где-то?..

Распределили нас по эскадрильям, по звеньям, по экипажам. Мне пожал руку высокий и красивый блондин лет двадцати. Представился: сержант Павел Виноградов. Значит, вот с кем мне придется летать. Парень, видно, хороший. Дай-то Бог!

Первый учебный ночной полет мы провели с ним на «собственном» самолете. Светила луна. На юге виднелись заснеженные горы. Прямо под самолетом серебрились рельсы железной дороги. Заблудиться было невозможно. Разве что залюбовавшись этой красотой.

Боевой приказ нас сначала смутил: пилоты с техниками и штурманами эскадрилий, штабным и полковым имуществом вылетают поэскадрильно. Штурманы и оставшаяся часть техников и штабных выезжают поездом в направлении на Новороссийск.

Значит, на запад, к фронту, не в Крым ли? Недалеко, можно и без штурманов. Да и садиться, заправляться, взлетать без техников нельзя. Хорошо, поехали поездом.

В Новороссийск прибыли к вечеру. Быстро поели на вокзале. Строем прошли по пустоватым улицам, увидели разрушения. Заночевали в школе, близ порта. Прямо на полу, на столах. На парте у меня не вышло, лег на пол. Перед отбоем к нам пришел какой-то комиссар в черной морской форме. Впервые я услышал от комиссара грамотную, деловую и спокойную речь: нас отправляют в Крым. Десант был проведен перед самым Новым годом — улучили краткую передышку в бушевавших зимних штормах. 51-я армия высадилась на севере Керченского полуострова, 44-я — на юге и в районе Феодосии. Задача была — соединиться у Ак-Монайских высот и, оставив керченский гарнизон немцев в мешке, двигаться на Коктебель, Судак (знакомые и милые места!) и дальше к Севастополю. Но шторм задержал продвижение 51-й, а 44-я в Феодосии задержалась недолго. Немецкая 11-я армия вырвалась из Керчи, ушла из Феодосии и заняла оборону на узком перешейке между Керченским полуостровом и Крымом, в районе большого русского села Владиславовка.

Все это я хорошо запомнил и из ясного изложения комиссара, и от волнения перед предстоящими боями, и оттого что по своим авиационным картам я изучил все заливчики, лиманы, железнодорожные станции и населенные пункты Керченского театра военных действий.

Ночью мы испытали «радость» бомбежки. Я — в первый раз. И должен сознаться, что это очень страшно и как-то противно. Проснулись от воя сирен (вероятно, на пароходах), от захлебывающегося лая зениток. Затем очень быстро последовали глухие разрывы бомб. Все вскочили, но никто не знал, что нужно делать. Бежать на улицу? Там тебя еще осколком от своих зенитных снарядов может огреть. А здесь может огреть штукатуркой с потолка, стеклами от окон, а то и всей падающей стеной. Кто-то меня учил еще в Борском, что нужно стать в дверях: косяк спасет от штукатурки. Я стал, там уже были трое.

Второй заход бомбардировщиков уложил свои бомбы где-то близко. Особенно противен нарастающий вой падающих бомб. Чувствуешь себя совершенно беспомощным. Бомба, воя, летит, кажется, прямо тебе на голову, и что прикажете делать? Только молиться, чтобы — мимо. Наконец — разрывы. Грохот. Все трясется. Что-то валится. Но не на нас. Живы!

Заснуть я уже не мог. Вышел к морю. Заставлял себя любоваться серо-розовым рассветом. Так, значит, не на нас. Живы!

На следующий день нас посадили на грузовой пароход, сидящий ниже ватерлинии, так как весь его трюм был набит снарядами и авиабомбами. Отплытия не давали, ждали темноты. «Транспорты частенько бомбят», — сказал кто-то из команды. Несколько пулеметов на палубе вряд ли испугают немецкие бомбардировщики. А одной их бомбы хватит: наш трюм сработает сразу. Ну что ж, взлетим, так взлетим, зато мгновенно.

Не взлетели. Хотя при луне были хорошей мишенью. Но увидеть или услышать приближающиеся «юнкерсы» не пришлось. Было очень холодно. Мы толпились вокруг горячей пароходной трубы. А командиры орали, чтоб мы не курили, будто можно при луне заметить папиросный огонек с «юнкерса».

Мы высадились на вязком глинистом берегу в районе мыса Опук. Следы десанта 44-й армии были налицо: много воронок от снарядов, разбитые грузовики. Что удивило и даже почему-то порадовало нас, так это множество раздавленных противогазов. Тех самых противогазов — зеленых, ребристых, в брезентовых сумках, которые столь тщательно и строго проверяло у нас тыловое начальство, извлекая из сумок ложки, зубные щетки, записные книжки и запасные портянки, грозя взысканиями и даже судом «за порчу боевого снаряжения». А пехота устилала этими противогазами крутые и скользкие склоны, чтобы грузовики, а может быть, и орудия могли эти склоны преодолеть.

Бросить туда же и свой противогаз? А ложку, зубную щетку, блокнот куда? Да и черт его знает, что будет... Письма родных я, правда, носил в нагрудном кармане, да и мало было этих писем. А от Тамары и вовсе ничего.

К нашему удивлению, нас построили. Значит — пешком? Да, пешком, через вспаханные, размокшие при оттепели поля, отчего наши достаточно поношенные «морские» ботинки обрастали огромными комьями. Строй, конечно, распался. Все волочили ноги, прыгали, отколупывали комья пальцами, таща при этом свои пожитки. «Наступление» наше имело жалкий вид.

Дислоцировался наш 763-й ЛБНАП на узком лугу возле поселка Кипчак. Недалеко шумело море. В конце луга находилось древнее мусульманское кладбище. Первым боевым заданием было повалить вертикально стоящие памятники с полустертыми надписями. Чтоб не помешали взлетать. Расположились мы в глинобитных татарских саклях на мешках с соломой, уложенных на земляные полы. В некоторых саклях еще ютились женщины, дети, старики. С ними надо было уживаться. В нашей, например, жил почтенный старец с жидкой длинной бородой, хорошо говоривший по-русски. Я угощал его хлебом, принесенным из столовой, которая была размещена в разваленной еще до войны мечети. С ним, случалось, мы солидно беседовали на религиозные темы. Я был удовлетворен, что Иса (Иисус Христос) почитается как великий пророк, правда, значительно уступающий Магомету. Он был утешен тем, что я знал, что Аллах един, что Бог у нас общий, что Коран — очень мудрая книга. Последнее я утверждал, никогда Корана не читавши.

Вскоре мы начали и боевые действия.

Задание было простое: «уничтожать живую силу и технику противника на северной окраине села Владиславовка», иногда — на южной, иногда — на западной, иногда — на северной окраине поселка Дальние Камыши. (Позднее к слову «уничтожать» стали прибавлять «и изнурять». Технику изнурять тогда не приказывали.)

Летали поодиночке, с интервалами минут по пять-десять. Высота над целью и при возвращении в приказе указывалась, но мы ее не слишком соблюдали. Некоторые любили повыше, другие пониже. Разрывы своих бомб обычно видели, но где они взрывались, судить было трудно. Сопротивление нам оказывали сдвоенные крупнокалиберные пулеметы «эрликон». Подчас их стрельба походила на рождественскую елку: красные, белые, желтые, зеленые трассирующие пули издали выглядели красиво, вблизи же эстетическое воздействие теряли. Страшно все-таки.

Потерь у нас сначала не было совсем. Объяснялось это тем, что прицелы у немецких зенитных орудий были рассчитаны на скорости наших СБ — на-

чиная с двухсот километров в час, а мы летали всего сто десять. Да к тому же ночью нас не было видно, а по слуху прицельно стрелять трудно, тем более что, заходя на цель, мы обычно выключали моторы и бомбили с планирования.

Точность бомбометания считалась у нас (из-за малой скорости) высокой. Думаю, что это не совсем так. Оптических прицелов у нас не было. В правой плоскости была градуированная щель. Глядя в нее и покрикивая летчику «правее, левее, еще левее», мы старались «вобрать» цель в эту щель и, если это удавалось, дергали за провода, ведущие к бомбодержателям, расположенным под плоскостями. Если же не удавалось или «елка» «эрликонов» опасно приближалась, бомбили «по квадратам», а проще говоря, куда придется, лишь бы на территорию противника.

Мысль о том, что наши бомбы падают на поселки, где, вероятно, еще живут наши советские люди, где их, может быть, гораздо больше, чем немцев, пришла мне не сразу. Поделиться этой мыслью я ни с кем не решился и не знаю, думал ли кто-нибудь так же. Я понимал, что распространение подобных сомнений не будет способствовать нашей боеготовности, а меня может подвести под трибунал. Поэтому добросовестно старался бомбить туда, куда приказано. Приятнее было, залетев поглубже в тыл, стараться разглядеть на белеющих при луне дорогах мигающие огни или темные квадратики машин. Попасть по ним было, конечно, нелегко, но я старался. В машинах наших людей, надо думать, не было.

Так летали мы каждую ночь, делая иногда по три и четыре вылета. Возвращаясь на аэродром, штурманы бежали к будке, в которой адъютанты эскадрилий записывали номер самолета, количество бомб и предполагаемые результаты бомбежки. Находились среди нас вольнодумцы, не смущаясь докладывающие о пожарах, разбитых машинах, прямых попаданиях в дома. Я докладывал, что бомбил в указанных пунктах или на дорогах там-то и там-то. За что получил замечание комиссара полка, что докладывать надо точнее и подробнее. Думаю, что если подсчитать все «уничтоженные» нашими мелкими бомбами дома, машины, железнодорожные пути, то немцев во Владиславовке совсем бы не оставалось. Но они оставались и отступать не думали. Правда, несколько раз, наблюдая свои разрывы, я, отлетая от цели, видел пожар или большой взрыв, но что это было — сарай, дом, стог сена или склад боеприпасов, — до сих пор не знаю. Не знаю, к счастью, и того, скольких людей я убил или покалечил.

После бессонной боевой ночи мы завтракали, выпивали положенные за взлет сто граммов, сетуя, что это не сто, а семьдесят-восемьдесят. Недостающие граммы за нас выпивало начальство: командир и комиссар полка, начальник штаба, инженер полка и таинственный капитан, как мы поняли, контрразведчик. Следил за нами и наше же пил! Ну да ладно...

Спали до обеда. После обеда слонялись по Кипчаку, иногда готовили карты, помогали техникам и оружейникам осматривать самолеты, подвешивать бомбы. Но чаще бездельничали до сумерек. Читать было нечего. Порой книгу заменяла мне беседа со стариком татарином о Евангелии и Коране.

Стала поступать почта. Пришло наконец письмо из Москвы, от мамы. Писала, что Наташа рыла осенью противотанковые рвы в районе Сходни, где мы когда-то снимали дачу. Папа болел. А Тамара до Алма-Аты доехала! Слава Богу! Могу теперь воевать спокойно.

И я действительно спокойно воевал. Страшно было? Честное слово — не очень. Хотя потери у нас появились. Не вернулся один самолет. Никаких сведений о нем не было. Одному пилоту прострелили легкое. Пуля вошла снизу, под лопатку, остановилась под кожей, около соска. Ее легко вынул полковой врач. А самолет довел до аэродрома штурман — молчаливый, мрачный Ветров, мой сосед по трехэтажной армавирской койке, куривший, помню, огромные, со свернутую тетрадь, самокрутки. Как-то вел он самолет до нашего аэродрома (управление на учебных самолетах было сдвоенное, в обеих кабинах ручка, движимая пилотом, шевелилась и в ногах у штурмана — некоторые даже просили ее убирать). Довести сумел, в круг над аэродромом встать

сумел, а вот посадить не решался. Пилот, временами терявший сознание, очнулся и, собравшись с силами, кое-как самолет посадил. После этого все штурманы стали учиться пилотированию. Обычно на обратном после бомбежки пути. Пилоты наши манипуляции корректировали, и мало-помалу мы, штурманы, научились летать. Труднее всего — взлет. Нужно удерживать самолет на прямой, не допускать «рысканья», умело форсировать мотор, чтобы не потерять скорость на взлете и не свалиться в штопор. Ночью все это сделать было трудно. Но мы получали иногда задания и днем, по связи. Летали на бреющем, над своей территорией, перевозя штабные пакеты, а иногда и большое начальство. Когда летало начальство, штурману места не оставалось. С другой стороны, пилоту нелегко было ориентироваться на малых высотах, когда земля несется близко под брюхом самолета. Все эти трудности нами преодолевались. И когда в дневные полеты посылали и штурманов, мы с увлечением пилотировали. Обучение новичков ночью или на бреющем, конечно, было явным нарушением инструкций. Но командование, зная о наших занятиях, смотрело на них сквозь пальцы: опыт Ветрова был учтен. Катастроф и аварий не было.

Усевшись в самолет, пристегнув ремни, ожидая ракеты на вылет, я взял за обыкновение креститься. Тихонько, не широко, так, чтобы никто не заметил.

— Ты что, крестишься перед взлетом? — как-то спросил меня Павел Виноградов.

— Да, крещусь...

Он больше ничего не спрашивал и к этой теме никогда не возвращался.

В течение марта и апреля действия наших войск в направлении Владиславовки и Дальних Камышей постепенно усиливались. Однако прорвать оборону немцев не удавалось. 44-я армия, действовавшая на левом фланге, состояла из азербайджанцев и армян, плохо обученных, плохо понимавших русский язык. На правый фланг, в 51-ю армию, прибывали танки и кавалерия корпуса генерала Книги. Холмистая и болотистая местность плохо подходила для наступления, но все же танки должны были осуществить прорыв, а кавалерия войти через него в тылы противника в направлении на Старый Крым. Но шли дожди, почва размокла, и танки и лошади увязали в грязи... От авиации требовали все большей активности, но и нам взлетать с нашего болота было трудно. Поэтому нас перевели в район севернее станции Семь Колодезей. Все вокруг этой злосчастной станции было разбито. Артиллерия противника исправно обстреливала нашу взлетную полоску и окопы, в которых мы жили. В этих глинистых щелях стояла вода по щиколотку. В наших ботиночках нам было плохо. В меховых унтах еще хуже.

Переминаясь с ноги на ногу в холодной жиже, я без особой радости услышал, что мне присвоено воинское звание «младший лейтенант». «И на орденок тебя послали», — добавил уже неофициальным тоном командир эскадрильи. «Лучше бы сапоги резиновые выдали», — подумал я.

Но странное дело, никто не переутомлялся, не простужался, не заболевал. Этот иммунитет окопных жителей был неоднократно замечен и описан. Мы тогда про него не читали, но познали на собственном опыте. Но холодно, мокро, грязно, уныло было неописуемо. Вылететь по связи, чтобы хоть на какое-то время выбраться из наших щелей, считалось удачей. Выполняя один такой полет, я увидел нечто непонятное и грозное.

Нужно было доставить пакет на командный пункт, расположенный на холме, метрах в пятистах от передовой. Мы сделали несколько заходов на посадку близ этого холма, но мой Виноградов садиться не решался — площадка была мала, мокра и ко всему еще исправно обстреливалась противником. Наконец, все-таки сели. Виноградов решил не выходить из самолета, мотор не выключать, чтобы можно было в случае чего взлететь, смыться. Я должен был бегом вверх по холму доставить пакет и бегом же вернуться. А если он улетит — оставаться при штабе или добираться обратно на перекладных или пешочком. Ладно, я побежал.

Первым, что я увидел с высоты, были немецкие танки, готовящиеся пересечь линию своих укреплений и войти на нашу территорию. По ним стреляли из наших окопов и откуда-то слева — артиллерия. И пока я, скользя по глинистому склону холма и перепрыгивая через неубранные трупы, прикидывал, кто скорее достигнет штаба — я или немецкие танки, — вдруг что-то странно зашелестело у меня над головой, а вся площадь, где собирались танки, покрылась разрывами, дымом и огнем. Я, разумеется, испугался, свалился на землю, но еще больше удивился: что это за столь страшный обстрел, от которого танки стали пятиться, разворачиваться, а иные и гореть? Глянув в другую сторону, в тыл, я увидел несколько больших грузовиков со странными сооружениями на борту. Еще раз зашелестело, огонь вокруг танков усилился. И я понял: «катюши». О них мы слышали довольно смутные и недостоверные разговоры. И вот — я увидел!

Пакет я доставил. Павел меня ждал. Танки отошли. Обстрел холма прекратился. Мы кое-как взлетели и вернулись в Семь Колодезей. Но по дороге мы увидали еще одну картину, на этот раз — удручающую. Большое кавалерийское соединение, наверное полк, буквально утопало в грязи. Лошади, высвобождая одну ногу, увязали остальными тремя. Всадники спешивались, дергая за поводья, пытались помочь лошадям, но и сами увязали выше щиколоток. Картина эта промелькнула быстро, но запечатлелась на всю жизнь. Корпус генерала Книги погиб через пару дней целиком под немецкими танками и артиллерийским огнем, так и не войдя ни в какой прорыв, поскольку прорыва не было...

Генеральное наступление было назначено, вероятно, на 9 мая. Но 7-го и 8-го в наступление пошли немцы. Перебросив свою авиацию с западных фронтов на Украину и в Донбасс, где аэродромы успели просохнуть, они буквально засыпали Керченский полуостров бомбами. Я, может быть, ошибаюсь и военные историки рассудят иначе, но все тогда говорили, что случилось необычное: 44-я армия дрогнула и побежала от авиационной подготовки, не дожидаясь артобстрела и танков. Наш левый фланг был прорван, открыт.

А наш «полчок» решили возвратить на Кипчак, как раз на направление немецкого удара, наверное, потому, что Семь Колодезей совсем размокли, да и обстрелам и бомбежкам подвергались непрерывно. А вернее — немцы могли обойти нас и взять в мешок. Мы едва успели насладиться комфортом наших вшивых кипчакских халуп. Задания на ночь мы не получали. Вероятно, при начавшемся бегстве штабам было не до нас. Мы с наслаждением спали в сухости и тепле. Но на рассвете нас подняли крики тревоги, звон о висящую рельсу, беспорядочная стрельба.

Две эскадрильи полка располагались на восточной и западной сторонах нашего аэродрома. Первая — на западной. И жили мы поближе к своим стоящим в ряд самолетам. Капомиров, конечно, не было. Кустов, чтобы ветками маскироваться, тоже.

Так, выскочив из халупы, застегивая штаны и ощупывая пистолет, я увидал невеселую картинку: две немецкие танкетки копошились на нашей западной стоянке, сшибая и давя наши бедные фанерные самолеты. Я растерялся, однако командир эскадрильи, пробегая мимо, крикнул: «Бегите на восток!» На бегу я видел, как из окна нашей халупы мой религиозный собеседник — старик татарин бьет по бегущим из немецкого автомата. Кто-то упал. Убит? Но я тоже упал, чтобы ползком завернуть за угол. Оттуда, поднявшись, я увидал, что наша Вторая эскадрилья взлетает со своей стоянки прямо на танкетки, стараясь отвернуть от них в сторону и не столкнуться с соседом. Стреляли по ним танкетки? Кажется, нет. Они усердно давили беззащитные самолеты нашей Первой эскадрильи.

Покончив с ними, танкетки могли пойти вдогон за нами. Времени терять было нельзя. Мы с Сережей Бондаренко, Сашкой Елизаровым и двумя техниками побежали по накатанной грузовиками липкой тропе на северо-восток. Выбежали на дорогу с глубокими канавами по бокам. Устав бежать, за-

дыхаясь, пошли по этой дороге. «Немцы!» — вдруг крикнул Елизаров, и я увидал, что в паре сотен метров сзади нас, по нашей же дороге движутся танкетки. Кажется, две или три! Мы бросились врассыпную. Сережка и я свалились в канаву, куда делись остальные — не видел. Рокот танкеток приближался. Мы затаились, спрятав, словно гуси, головы под руками, в грязи. Одна танкетка прошла по дороге прямо над нами. Остановилась где-то впереди, дала пару выстрелов, потом прошла опять над нами, назад. Мы полежали еще в канаве, наконец выползли, пошли вязнущей к ногам липкой пашней. Вышли на берег мелкого лимана. Потом мы узнали, что большинство наших убегали вброд, через лиман. Вымокли, но не утонули, не погибли. А пока что мы с Сережкой вдвоем, с ног до головы в глине, брели по пашне, потом какой-то дорогой, как было приказано, на восток. Не доходя до Турецкого вала, нас остановили вооруженные красноармейцы.

Пехотный капитан тихо сказал:

— Хватит драпать, морячки!

— Мы летчики.

— Все равно — хватит драпать. Принимайте по взводу и занимайте оборону.

— У нас только пистолеты...

— Винтовки мы вам дадим.

Мой взвод состоял из двадцати—двадцати пяти азербайджанцев. Оборванные, все в глине, с влачащимися по грязи обмотками, с черной кавказской щетиной на впалых щеках, они отчужденно смотрели на меня своими красивыми глазами, не понимая моих команд. Но отрывать себе окопчики все же стали. К счастью, к нам подошел морской старшина, неся винтовку мне и автомат себе. Узнав, что я не моряк, а летчик и что я никогда не командовал пехотой, он просто и безобидно взял командование на себя. Пришла походная кухня с продельной кашей. Но пировать пришлось недолго. Перед нами показались мотоциклы с пулеметами в колясках. «По немцам! — возопил старшина. — Огонь! Только прицельный, бляди! Береги патроны!» Из своих мелких окопчиков азербайджанцы открыли беспорядочный огонь. Нам лениво отвечали из пулеметов. Потом за мотоциклами появились две танкетки (те самые?), откуда-то, противно шипя, на нас полетели гранаты. И в довершение прилетела группа «юнкерсов-87», называемых «лапотниками». Эти небольшие бипланы отлично пикировали, громко завывая обтекателями на своих неубирающихся шасси.

Пряча голову за камень, я пытался стрелять. Увы, не целясь. Во время налета «Ю-87» почувствовал сильный удар по правому бедру. Когда пикировщики улетели, я увидел, что позиции взвода пусты. Рукой ощупал бедро: нога на месте, но вся ладонь в крови.

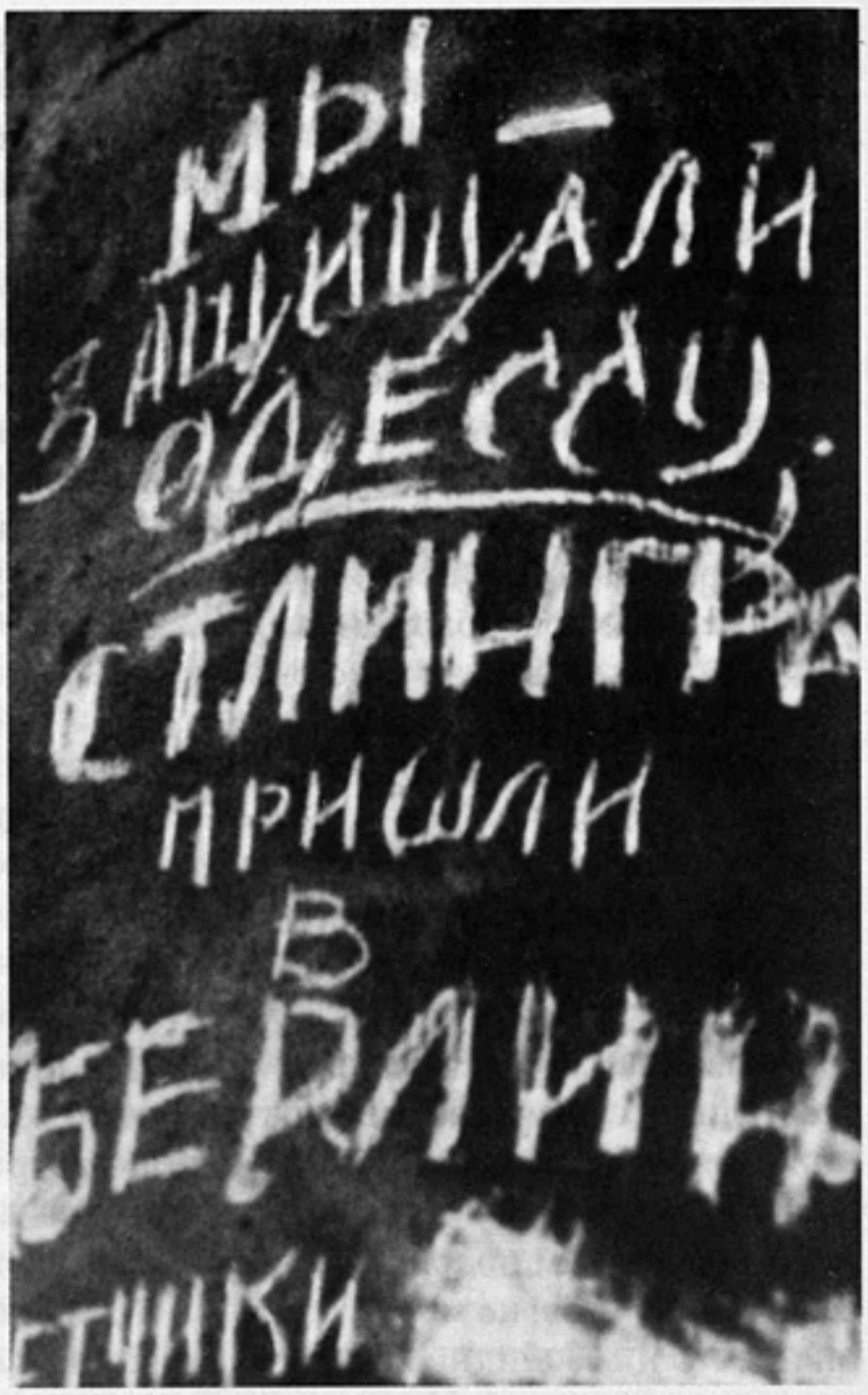
«Ты, кажется, ранен? — подполз ко мне морячок. — Идти можешь? Или отползай». Сначала я пополз, затем пошел. Присел, вылил из ботинка кровь. Перевязываться не стал: снова появились пикировщики. Но бомбили они где-то южнее. Морячок куда-то исчез. Зато близ станции Салын (где пришлось испытать еще одну бомбежку), встретились штурман и техник из нашей Второй эскадрильи. Помогли идти. Темнело, но мы шли и шли, уходя к северу от железной дороги, которую немцы продолжали обстреливать и бомбить.

В какие-то бараки, видимо, фабричонки или МТС, нас впустили русские люди. Разорвали простыню, чтоб перебинтовать мне бедро. Накормили, дали самогону. Уложили на высокую, с периной, постель. Сами легли рядом, на полу. Я заснул.

Проснулся на рассвете, весь в крови: повязка сползла. Пытался встать — нога распухла, не гнулась.

Проснулись и хозяева, и мои спутники из Второй эскадрильи. Стало ясно: идти я не могу.

— А мы собрались уходить, — уныло сказала женщина, вчера бинтовавшая и кормившая меня.



Кадры из документальных фильмов «Великая Отечественная» и «Великая Победа советского народа»

— Что ж, уходите, конечно.

— Ты пока полежи здесь, а мы пойдем на разведку, — добавил техник.

Словно потерянная, женщина моталась по комнате, брала и отбрасывала какие-то вещи. Порвала какие-то тряпки или пеленки.

— Дай я тебя еще напоследок перевяжу, — сказала. — Эх, посинела нога, не уйти тебе отсюда...

Пришел ее муж. Говорили, уходя за дверь. Подошел ко мне, протянул руку.

— Не обижайся, моряк. Нельзя нам здесь оставаться.

Женщина еще несколько минут что-то бестолково собирала. Поставила у кровати глечик с водой, положила хлеба, кусочек сала.

— Идем, что ли, — торопил муж.

Она заплакала. Поцеловала меня в лоб, как целуют покойников. Ушли.

Тишина. Жужжали мухи. Почему так рано, весной? Вдруг совсем близко раздалась канонада. Я свесил ноги, попытался встать. Нога одеревенела, но не болела. Сквозь тряпки слегка сочилась какая-то желтоватая жидкость. Я лег снова. Значит, вот он какой — конец? И конец ли? Плен? Или пристрелят прямо здесь?

Неожиданно ворвался запыхавшийся техник.

— Можешь встать? Хоть немного идти?

Откусив моего хлеба и сала, с полным ртом, радостно стал объяснять:

— Ну и везет же тебе! Здесь, совсем близко, летчик из нашего полка. На неисправном самолете хочет вывозить какого-то капитана с папками документов. Хотел прихватить и меня, да я сказал про тебя. Он, конечно, согласен. Как-нибудь можешь добраться?

Оказалось, действительно, недалеко. Вначале он почти тащил, волочил меня. Но когда за бараками показался «У-2», моя нога вдруг пошла. Пошла, пошла, почти без боли. Летчик и за ним недовольный и мрачный капитан побежали навстречу. Подхватили под руки. Опираясь на них, я прыгал на одной ноге. С трудом засунули меня в кабину, наполненную папками и обоймами от автомата. Нога в кабину не лезла. И я, подложив под задницу пару папок, уселся на борту. Здоровая нога в кабине, больная над плоскостью.

Чудо? Спасение? Господи...

Но все оказалось не так-то просто. Самолет, действительно, был неисправен: консоль лопасти деревянного винта была расщеплена, будто обгрызана. Винт потрескивал, тянул плохо. Площадка за бараками была коротковата. Мы разбежались, но не взлетели. Матерясь, летчик приказал капитану вылезти и, занося хвост, повернуть самолет на 180 градусов, обратно. Тот, тоже матерясь, вылез, кряхтя, развернул самолет, залез обратно, на другой борт кабины: правая нога в кабине, левая на плоскости.

Снова разбежались, снова не взлетели, снова капитан разворачивал самолет. И так несколько раз. А стрельба раздавалась где-то совсем близко. Даже, казалось, впереди.

Наконец взлетели. Как подбитая утка, самолет наш, качаясь с крыла на крыло, норовя повалиться на бок, все же набирал высоту. Небольшую, конечно, метров двадцать.

Впереди горела Керчь. Свинцовая лента пролива казалась узенькой, близкой. Над окраинами города нас обстреляли сверху «Ю-88», возвращавшиеся с бомбежки. Берег канала казался кипящим от разрывов, пожаров, дымов. По старавшимся уплыть била артиллерия, минометы. Вдоль берега бомбили «юнкерсы». Я успел заметить плывущих через канал на лодках, досках, автомобильных шинах. Плыли почему-то наискосок. Потом я понял почему. Сильное течение из Азовского моря сносило их к Черному. Потом мне рассказали, что те, кто пытался переплыть пролив от северных окраин Керчи, имели шанс доплыть до мыса Ак-Бурун, в конец косы, окаймлявшей пролив со стороны Таманского полуострова. Этот мыс, конечно, тоже обстреливали и бомбили, но все же это была уже Кубань, большая, наша, не оккупированная земля. Плывущих же с южных окраин уносило в Черное море.

А наш самолет, странно подрагивая, все трюхал и трюхал на восток. Бурая керченская земля сменилась зелеными лугами Тамани. Солнышко. Хотелось петь. Но самолет стал фыркать и кашлять. «Придется садиться», — крикнул, убрав газ, летчик. Еще как-то тянули и плюхнулись поперек полевого аэродрома близ станицы Варениковской. Мат дежурного по аэродрому сменился сочувственными вопросами: «Раненый? Оттуда? Ну как там, плохо?»

Санчасть. Укол против столбняка под лопатку. Перевязка. Койка. Какая-то еда. Сон.

Сначала я лежал в эвакогоспитале в станице Крымская. Поднялась температура. На распухшую ногу мою смотрели с неодобрением, но, кажется, ничего не предпринимали. При помощи раненного в руку больного малярией и медицинской сестры на пассажирском поезде меня переправили в Краснодар. Пару раз, наверное, от температуры я в поезде терял сознание. В Краснодаре уложили меня в белый, спокойный городской госпиталь — в почетную привилегированную палату для летчиков.

Рядом, хрипя, умирал простреленный навылет «истребитель». С другой стороны, задрав перебитую ногу, заправленную в шину, которую по иронии судьбы называли «самолетом», веселился и рассуждал «бомбардировщик». На всю палату он поносил Буденного, присланного в Крым для того, чтобы руководить командующим фронтом генералом Козловым, но только мешавшего всем дурацкими и паническими распоряжениями. Особенно доставалось фронтовому комиссару Мехлису. Он, мол, и жид, и предатель, и сексот...

Удивительно, как перебитая нога развязала этому «бомбардировщику» язык. Впрочем, дальнейшей судьбы его я не знаю. Я помалкивал. Но и мне представлялось странным: почему лукавому партийному функционеру, сталинскому канцеляристу и наушнику, а затем бесталанному журналисту, превратившему газету «Правда» в бюрократический официоз, доверили руководство фронтом, да еще таким сложным и неустойчивым, как Керченский? Вот они со стариком Буденным и навоевали...

Помалкивал я не только из привычной осторожности. Было не до политики. Нога все сильнее распухала, высокая температура держалась. Из реплик врачей я уловил зловещие слова «флегмона» и (или это лишь показалось мне?) «ампутация».

Осколок сидел под берцовой костью. Вонзаясь в меня, он, видимо, втащил за собой куски моей грязной шинели и не менее грязных штанов. И вот — заражение, флегмона.

— Будем осколок ваш в вашей ляжке искать. Разрежем, гной выпустим, а там посмотрим, — объяснил мне веселый, лоснящийся хирург.

На следующий день меня подняли, потащили в рентгеновский кабинет. По-видимому, там у них был экранчик только для грудной клетки. Однако мой веселый хирург оказался смелым экспериментатором. Вместе с санитаркой они водрузили меня на какой-то стол или табурет, чтобы можно было искать осколок через приспособление для осмотра легких. Санитарка держала меня за талию, а он, приговаривая: «Где же он, черт его подери!», начал мять и крутить мою бедную ляжку. Кажется, от нестерпимой боли я вопил. А потом, потеряв сознание, опрокинулся через всю эту сложную аппаратуру и ударился раненым местом о какой-то угол или косяк, отчего, мол, флегмона прорвалась через ранку, «входное отверстие».

— Ну и везучий ты, младший лейтенант, — сказал мне хирург, когда я очухался у себя в палате. — Флегмона твоя вытекла сама, не надо теперь ее резать! Так, почистим отверстие слегка...

Это «слегка» далось мне совсем непросто. Залезая в рану чем-то вроде стамески, он помешивал ею, как ложечкой в стакане чайку. Я вопил. А он приговаривал: «Ничего, ничего. Может, и осколок твой тоже сам вылезет?» Осколок не вылез. Но нагноение прошло. И другой, очень пожилой хирург, осмотрев меня, сказал: «Лучше осколок оставить на месте. Он под самой костью, глубоко. Если его доставать, придется резать мышцы, и рубцы принесут

вам больше хлопот, чем этот кусок железа. Носите его пока вместо ордена, а после победы — посмотрим».

Осколок я ношу в себе до сих пор. Иногда, перед дождем, он слегка болит. Но ходить не мешает.

Так вот: лежим мы в своей почетной палате, «истребитель» совсем доходит, «бомбардировщик» кроет Мехлиса с Буденным, я кисну, температурю. Вдруг слышу:

— Здравствуйте, товарищи летчики! Вижу — вам скучно лежать, так давайте договоримся: я вам анекдотов нарасскажу, хотите — так похабных, а вы, когда полегчает, мне про свои подвиги для газеты расскажете!

Я лежал спиной к дверям, не видел вошедшего, но голос показался мучительно знакомым, как будто из далекого прошлого.

— Боже мой! Подойдите ко мне, Виктор Ефимович!

— Вы?.. Что вы здесь делаете?

Этот его вопрос не показался мне глупым. Я удивился не меньше его.

Ардов! Виктор Ефимович Ардов. Известный юморист, черноокий красавец с жгучей ассирийской бородой. Мы познакомились на никитинских субботниках — в боковой комнате салона Евдокии Федоровны Никитиной, где размещались молодежь и менее почтенные гости, не приглашаемые к центральному столу. Ардов, несмотря на свою известность, держался около нас, молодых, шутил, балагурил, вызывая укоризненные взгляды, а то и сердитые реплики Евдокии Федоровны.

Ардов! Никитинские субботники. Москва. Юность. Мечты о поэзии...

— Вот лежу, Виктор Ефимович. Нога, осколок...

— Милый вы мой! Уж кого-кого, а вас встретить не ожидал! А я здесь во фронтовой газете «Вперед на Запад». Вот — собираю материал...

С этого часа, словно отец родной, Ардов заботливо стал навещать меня, даже когда убедился, что подвигов, годных для его газеты, я рассказать не мог. Сообщал новости. Приносил вкусненького, а то и винца, даже чачи. Как-то раз привел Валентина Овечкина, тогда еще незнаменитого, тихого, смущающегося.

Постепенно я поправлялся. Температура упала. Размешивать ложечкой в моей ране хирург перестал. Дали костыли, потом палку. Пришла сразу пачка писем из Москвы — февральские, потом почему-то апрельские, майские. Мартовские, по-видимому, остались в Крыму. Наконец-то пришло письмо из Алма-Аты от Тамары. Кратенькое. Видно, не первое, предыдущие, значит, пропали. Но и малое это письмишко стало большой радостью. Я как-то сразу почувствовал себя почти здоровым, даже ковылять стал бодрее.

Начал выходить в город. Плохо было без денег. У Ардова стеснялся попросить, ведь отдавать было не из чего, да и где мы потом еще встретимся?

Вскоре выписался. Нашел свой полк в прекрасной зеленой станице Славянской. Уже получили новую матчасть, то есть все те же потрепанные «У-2». Человеческие потери после Керчи были небольшие. Вторая эскадрилья сумела все же взлететь через танкетки, личный состав Первой кое-как перебрался через пролив. Рассказали мне, что старик татарин сумел-таки пристрелить одного нашего летчика (фамилию забыл).

Погиб и дружок мой Мишка Михайличенко. Тот веселый ростовчанин, который так славно пел «Мы с тобой случайно в жизни встретились...», тот, который так щедро делил на разъезде Лес флакон «Красной Москвы» между собой, мной и Тамарой. Говорили, что из Керчи он пытался улететь четвертым на одном из наших двухместных «У-2»: в первой кабине пилот, во второй двое, а он лег на плоскость, держась за расчалки. Где он свалился оттуда — еще над землей или в воду, — никто не заметил.

И из Москвы пришло печальное известие: скончался папа. Подробностей Наташа не сообщала.

В предписании из госпиталя было написано, что я имею право на три дня отпуска плюс на дорогу туда и обратно — четыре. Всего, значит, неделю. Все понимали, что за этот срок обернуться нельзя, но о папиной смерти стало из-

вестно, и увольнительную, сухой паек и денег на дорогу мне без колебаний дали. «Отмечайся, где только можно, по дороге и в Москве у комендантов. Может, за пару недель и обернешься». Подождав дня три вручения причитающейся мне «Красной Звезды», проспавшись после усердного омовения ее молодым кубанским вином и призаняв денег, я поехал.

Снова поиски попутных поездов. Орден и хромота помогали. На вокзале в Сталинграде пришлось перетерпеть бомбежку, зато и приятная встреча была: один из слушателей вгиковской «академии» Рафа Хигерович в звании интендантского капитана куда-то добирался. Достав кипятку и объединив свои скудные припасы, мы всласть наговорились о Москве, закусили и разошлись ловить свои поезда. Мне повезло: меня принял в компанию какой-то дважды орденоносный летчик, и нас, вопреки категорическим запретам, пустили в тамбур санитарного поезда с условием дальше туалета в вагон не проникать. С таким орденоносным комфортом мы доехали до Серпухова. Дальше ходили электрички.

Памяти об этом посещении Москвы у меня почти не осталось. Тревожная и голодная зима уже как-то позабылась. Довольно регулярно давали пайки. Мама с грустным юмором хвалилась, что никто лучше нее не умеет жарить картошку по ефремовскому методу — на воде. Сало, которое мне удалось купить на каком-то полустанке, паек за несколько дней, благосклонно выданный мне в комендатуре, несколько украсили наше меню. Мама просила прощения, что продала на толкучке пару моих довольно поношенных костюмов, но книг, конечно же, не тронула.

Папа скончался непонятно от чего: то ли от недоедания, то ли от застарелой своей гипертонии, а вернее всего — от упадка нравственных сил. Мои письма из Крыма не доходили. А главное, в освобожденном от немцев Калинине арестовали дядю Сережу. В «Правде» была напечатана зубодробительная статья Заславского об оживлении в Калинине контрреволюционного дворянского подполья, о сотрудничестве с фашистскими захватчиками. Дядю Сережу он обозвал выродком, дегенератом, получившим незаслуженно мало — десять лет. Восьмидесятилетняя бабушка осталась одна и, несмотря на попытки соседей и дальних родственников поддержать ее, скончалась. Папа слег, перестал говорить и через несколько дней угас. Я принял этот рассказ спокойно. Жить в сотрудничестве с большевиками папа не хотел уже давно. Его постылая служба в каком-то домоуправлении, его молчаливое сидение часами за своим огромным и пустым письменным столом были осознанным уходом от жизни. Последний раз я видел его высунувшимся из окна нашего семиэтажного дома и махающим мне рукой, когда я уходил 25 июня в военкомат. Да еще в госпитале я видел на редкость отчетливый сон — будто он в авиационном шлеме летит со мной на «У-2» и что-то говорит неслышное из-за мотора. Я не запомнил даты этого сна, но мне кажется, что снился он мне в ночь своей кончины.

Сложнее и мучительнее было мое отношение к судьбе дяди Сережи. То, что он не выродок и не дегенерат, а умный, тонкий, образованнейший эстет, скрывающий свои комплексы за чудачествами, за донкихотской внешностью и донкихотским благородством, я отлично понимал. Что он имел все основания не любить большевиков и советскую власть — я понимал не хуже. Но сотрудничать с фашистами, с оккупантами? Неужели он, русский дворянин, в тяжкую годину своей родины решился нанести ей удар в спину?

Если раньше, под влиянием папы, я старался не столько сотрудничать с Советами, сколько выжить при них, если, сочиняя по заказу дидактические стишки, лозунги для демонстраций, очерки об ударниках, я старался отделить от этой поденщины свою поэтическую душу, свою индивидуальность, сейчас этот не лишенный подлости «дуализм» исчез, незаметно сменяясь бездумным, но искренним приятием нашей советской действительности. Как мог я рисковать жизнью, проливать кровь, разделять фронтовое товарищество, держа как бы кукиш в кармане? Ох, непросто все это было, непросто... «Поэтическая душа» моя не удалась. Поэта да и драматурга из меня не вышло. Ин-

стинктивно я искал какие-то другие опоры. Идеи социализма, не без влияния вдалбливания их в институте, казались мне чистыми и привлекательными. Я ощущал, что чистые эти идеи довольно резко расходятся с реальностью, но верилось, что это временно, это — из-за трудностей первопроходства, из-за «капиталистического окружения», наконец! Но сами-то идеи хороши! И имеют уже результаты — «свободный творческий труд», например, то есть стахановские достижения! Романтические индустриальные стройки, освоение Арктики, подвиги летчиков! И перед лицом опасности, при угрозе гибели России мой наивный социалистический идеализм слился с воспитанным с детства русским патриотизмом. И долг защищать родину стал для меня непререкаем. И позиция дяди Сережи показалась мне омерзительной. Я не знал истинных причин его сотрудничества с немцами. И узнал о них много позже. Сейчас же я жестоко думал: сотрудничал, изменил России — вот и сиди теперь, отсиживай свой срок... Собственные заботы, судьба мамы, Тамары, атмосфера тревоги и нищеты в Москве побуждали меня как бы отталкивать трагедию дяди Сережи, открещиваться от нее.

Знакомых в Москве почти не осталось. Приходила тетя Валя. Пили чай без сахара, но настоящий! Да и видеть никого не хотелось. Тесть и теща дали прочесть коротенькие открытки от Тамары: здорова, учится, прирабатывает на киностудии. Потом они старались меня покормить, угостить. Но мне было стыдно объедать их, да и маму с Наташей. Отгуляв положенные три дня, я уехал. Уехал с ощущением жалости к родным, бессилия им помочь, а также с тоскливой уверенностью, что сюда я больше никогда не вернусь.

И снова попутные поезда, питательные пункты, Саратов, где консерваторского общежития я не нашел, а Радищевский музей был закрыт. От Саратова до Сталинграда — на палубе парохода, везущего продукты для фронта. Бомбежки под Камышином. Бомбежка в Сталинграде, к которому мощно стремились немцы. Это была уже не та, относительно легкая бомбежка, которую мы с Хигеровичем просидели за чаем. Вокзал уже был разрушен, дымился. Я прижимался к стенке фонтана, еще уцелевшего на вокзальной площади. Кажется, фонтан украшали гипсовые пионеры, поцарапанные осколками.

Все-таки самое страшное, что пришлось мне претерпеть на войне, — это бомбежки. «Мессершмитты», зенитный огонь, танкетки страшны, в общем-то, не были: я был занят своими обязанностями, следил за курсом, стрелял, что-то орал уползавшим азербайджанцам... А страшное в бомбежках — твое полное бессилие: ведь ни отползти, ни прикрыться чем-нибудь от свистящей, визжащей и, кажется, падающей прямо на тебя бомбы невозможно.

И снова воинские эшелоны, а затем, после Сальска, попутные грузовики.

Вернулся я в свой «полчок» в Славянской, как домой. Пропутешествовал, конечно, не неделю, а три, но отметки у комендантов, где возможно, брал, а отметка о том, что в Москве я пробыл указанные три дня, вызвала у командира полка презрительное недоумение: что ж ты не сумел побыть подольше?

Летать мне сразу не дали. Экипажей было больше, чем самолетов. Бездельничать или, как говорилось, «сачковать» было скучно. Все же несколько вылетов на Керчь, вернее, на ее южные окраины, я сделал. Особых впечатлений не получил: город горел, черные тучи дыма, поднимавшиеся выше нашего двухкилометрового «потолка», мешали прицельно бомбить. Все же попадать по причалам и портовым постройкам было приятнее: там уже наверняка русских женщин и детей не было, а немцы, судя по зенитной пальбе, — были.

Окончание следует

Публикация Л.Джулай

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

Жизнь — кино

Виталий Мельников. 1946

Цынгалы заметно опустели: взяли на фронт Гри-Гри, Вадима, Николая Степановича и многих, многих других... Пришла беда — отворяй ворота! Сибиряки привыкли к весенним половодьям, но на этот раз Иртыш залил все огороды, вода пришла даже в поле, с трудом отвоеванное цынгалинцами у тайги, и теперь все прибывала. Как жить без мужиков, с разоренными огородами, без корма для скота? Такого бедствия не могла припомнить даже Устинья Гавриловна. По ее совету решили насыпать вал вдоль берега Иртыша. Работали стар и млад днем и ночью — при свете костров. Таскали землю на носилках, в ведрах, корзинах, а женщины, бывало, и в подолах. Приходила Гавриловна с шестом, измеряла вал, говорила: «Ишшо», и работа продолжалась. Мы не ходили, а ползали от усталости вдоль этого проклятого вала. Гавриловну поносили ведьмой и старой дурой — ну возможно ли с бабами да ребятишками устоять против такой реки! Но однажды ранним утром пришла Гавриловна с шестом и велела отправляться по домам — отсыпаться. «Выше не пойдет!» — объявила она. И действительно — выше вода не поднялась, а стала понемногу отступать. Открылись затянутые илом неживые грядки, разверзлись воронки на месте хозяйственных построек. Люди принялись обустраивать свою землю и свое добро, готовиться к суровой военной зиме.

С началом ледостава всякая связь с миром, как всегда, надолго прервалась, а возобновилась, только когда надежно окреп лед и накатали санную дорогу. С «веревочкой» пришла первая почта. В «Сталинской трибуне» были сводки Совинформбюро. Мы взяли школьную карту и принялись расставлять флажки, как в одном фильме про войну. Флажки у нас передвигались все время на восток. Пришел директор Трофим Моисеевич и карту у нас отобрал. «А как же учить географию?» — недоумевали мы.

Пришло еще письмо-треугольник от Николая Степановича Симонова. Он написал из какой-то Коноши, что находится на переформировании. «Живой! Слава Богу! Слава Богу!» — обрадовалась наша хозяйка Татьяна Васильевна. Только потом оказалось, что Николай Степанович уже давно убитый. И пошли с каждой «веревочкой» похоронки то в один двор, то в другой.

По зимней уже дороге через нашу деревню в тайгу прошел длинный обоз. Из таежного поселка стали вывозить молодых спецпереселенцев на фронт «кровью смывать свои ошибки». Какие у них ошибки, никто не знал и спецпереселенцы тоже. «Ничего, потом разберемся», — пообещал сопровождавший обоз малиновый. Теперь похоронки пошли и к нам в Цынгалы, к свободно проживающим людям, и в поселок спецпереселенцев. Война всех сравняла!

Впрочем, не всех! Не всех она сравняла! Получилось так, что после гибели кладовщика Николая Степановича никто, кроме продавца Васи-партиза-

Продолжение. Начало см.: 2005, № 4.

на, не знал, какие еще сохранились в сельпо довоенные товары, распроданы ли они или списаны Васей под наводнение и по всяким военным причинам. Хотели было вызвать ревизоров, но передумали — приедут чужаки и растащат последнее. Пусть уж лучше свой покомандует! Так и стал Вася-партизан единственным полновластным хозяином в Цынгалах. Чем дольше длилась зима, тем быстрее исчезали всякие необходимые товары: соль, крупы, керосин... о муке и сахаре уж и не вспоминали. Жили при лучинах и в домах, и в школе. Вместо хлеба — лепешки из рыбной костяной муки, поджаренные на рыбьем жире. Каждое утро мы с Татьяной Васильевной выходили на Иртыш долбить проруби, проверять переметы и самоловы. Рыба во всех видах стала единственной едой. Надеяться было не на что и ждать помощи неоткуда. Кто вспомнит о каких-то Цынгалинских Юртах, когда идет такая война! Всеми силами старались уберечь скотину, сохранить ее до весны. С ивы и кустов понежнее скоблили кору, запаривали ее в кипятке и тем скотину кормили. Некоторые, например Ваня-старший, даже коров пытались кормить рыбой. В сильные морозы телят и поросят затаскивали в избы и жили неделями вместе — люди и скот.

От такой жизни многие срывались. В халупе Вани-старшего взорвалась печка. Соседи решили узнать, кто по ночам ворует дрова из поленицы, и в полено подложили порох. Ваня сознался быстро и объяснил свой поступок просто: у вас вон сколько дров-то, а у меня совсем нет. Но с тех пор дров друг у друга в деревне никто не крал. Сложили Ване новую печку те же соседи — пожалели, не умеет Ваня сам печки класть. Пока печку клали, Ваня по-соседски переселился к нам. И стали мы жить, как в сказке про теремок: Татьяна Васильевна с дочерью Шуркой, мы с матерью, один теленок, три поросенка и все семейство Тани-Маремьяны.

На исходе зимы в деревне случилось несчастье — умерла жена Васи-партизана Зинаида. Зина была женщина тихая, болезненная, и Вася обратил на нее внимание, только когда она умерла. Вася очень горевал, казнил себя за такое равнодушие и решил устроить покойнице пышные похороны. Траурная процессия должна была пройти через всю деревню — с еловыми венками в руках аж до самого остяцкого кладбища. Потом предстояло подняться на Чугас-гору и там, на самой верхотуре, похоронить Зинаиду под печальную музыку. Вот как раз с печальной музыкой и возникли сложности. Духового оркестра в Цынгалах, конечно, не было, потому что не было никогда. Сперва решили хоронить Зинаиду под патефон, даже под два патефона для торжественности. Два паренька покрепче должны были возглавить процессию, неся перед собой патефоны. Однако выяснилось, что в деревне нет двух одинаковых пластинок. Могли, конечно, патефоны петь и одновременно, но только про разное. Вася от такого предложения отказался наотрез. И тогда вспомнили, что в школе есть собственный струнный оркестр. Еще до войны Гри-Гри обучил Борьку Косоротова играть на старой пузатой мандолине, а я кое-как аккомпанировал ему на гитаре. В нашем репертуаре были только «Ох, вы, сени, мои сени» и «Эх, полным-полна моя коробочка», но исполнять эту музыку на похоронах мы не решились. Был у нас еще военный репертуар, который мы разучили самостоятельно. Это была, конечно, «Землянка» и «Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой». В одной говорилось, что «на поленьях смола, как слеза», а в другой, про чарочку, содержался прямой намек на поминки. Мелодии в этих песнях были лирические, то есть жалостливые, и с некоторой натяжкой их можно было считать похоронными.

Мы с Борькой возглавили процессию. За нами несли Зинаиду, после шел безутешный вдовец, а следом, утопая в весенних сугробах, пробиралась траурная вереница цынгалинцев с венками. Когда мы с Борькой грянули «Землянку», бабы, по обычаю, завыли, а Вася-партизан рыдал в голос. Шли мы долго. Руки от мороза закоченели, пальцы нас не слушались, и звуки мы издавали недоброкачественные. Когда мы поднялись на Чугас-гору, уже стемнело. Вася произнес хорошую речь о том, как он не уберег свою жену, и под песню «Налей, дружок, по чарочке» Зинаиду похоронили. Растроганный Вася нас бла-

годарил, сказал, что век нас не забудет за нашу музыку, и в свое время слово свое сдержал.

На дверях сельпо висело объявление. Написано было красиво, с завитушками. Так умела писать только Роньжа, наша учительница по русскому языку. В Сибири есть такая птица — кедровка, по местному — роньжа. Наша Лидия Андреевна была вылитая роньжа. Все объявления про кино или школьные концерты Вася-партизан поручал писать только ей. И вообще с некоторых пор в Васе проснулась тяга к прекрасному. Он всегда сидел в первом ряду и первым начинал аплодировать по любому поводу. На этот раз объявление гласило:

Сегодня в школе концерт!

1. Артистка Ляля Белая споет популярные песни.
2. Встреча с фронтовиком тов. Зиновьевым Ф.И. из района.
3. Кинофильм «Свинарка и пастух».
4. Начало в семь часов. Просьба не опаздывать.

Какие там опоздания! Люди занимали места еще засветло. Народу было полным-полно. Первой выплыла Роньжа в новом платье с хвостом. Она представила артистку Лялю Белую. Ляля была худенькая, в обычном платье, тащила на плече огромную сверкающую гармошку — аккордеон. Хоть на артистку она не была похожа, но голос у нее был какой-то теплый, вовлекающий, словно пела она не для толпы, а для каждого в отдельности — только для тебя и ни для кого другого. И пела-то она знакомые песни — ту же «Землянку» или «Огонек», но получалось что-то новое, ни на что не похожее и очень для каждого важное. Женщины, конечно, плакали. Вася-партизан плакал и одновременно аплодировал. Он вышел к артистке и преподнес ей большую копченую нельму и меховые рукавицы. Вася добавил, что такой артистке он до войны преподнес бы отрез на платье, но сейчас война и отрезов нет.

Потом была встреча с фронтовиком Зиновьевым Ф.И. из района. Он был лысоватый, в застиранной гимнастерке. На гимнастерке нашивки за ранения и новенькая медаль «За отвагу». Пустой рукав заправлен за ремень. Он рассказал, что на фронте его отправили в разведку. Они с напарником добрались до первых немецких окопов и стали ждать, когда какой-нибудь подходящий немец отойдет в сторонку. Так его сподручнее было украсть для допроса. Ждали долго, до самого ужина. Один немец с котелком и ложкой сел на край окопа. Тут Зиновьев с напарником его схватили и утащили. Немец отбивался и никак не хотел отдавать котелок — наверное, с перепугу.

— Есть вопросы к товарищу Зиновьеву? — спросила Роньжа.

Тогда поднялся Ваня-старший и спросил, что было у немца в котелке на ужин.

— Это не суть важно! — прервала его Роньжа, — пусть лучше товарищ расскажет, за что его наградили медалью «За отвагу».

— Да вот за это самое и наградили, — ответил фронтовик. — Но, если по совести, наградить бы следовало напарника, только его убило.

— А рука где? — спросили из толпы.

— В пи..де! — зло выкрикнул Зиновьев Ф.И.

Роньжа поспешно зааплодировала. Ее поддержал Вася-партизан, а за ним и весь народ. Ведь все понимали, что человек с фронта и очень нервный.

После фильма я перетащил коробки девчонке-киномеханику Катьке и стал откреплять динамку. В это время подошел Вася-партизан и поманил меня пальцем. Мы пошли к нему в избу. Там сидела за столом Ляля Белая и, как обычный человек, хлебала уху. Здесь же была и Роньжа.

— Вот, этот и есть Виталий, — сказал Вася, — советую его с его другом Борькой Косоротовым.

— Серьезные, дисциплинированные ученики, — добавила от себя Роньжа, — активисты драмкружка, увлекаются литературой.

— А что нужно делать? — спросил я.

— Грести! Веслами! — пояснил Вася. — А за это тебе полкило масла и кило сахара! Приварок твой!

— Позвольте, — остановила его Роньжа, — я сейчас все объясню понятнее. Виталий! Вся страна напрягает силы, чтобы разбить подлого врага! В нашем районе решено создать специальную агитбригаду, чтобы агитировать население и тем помогать фронту! В бригаду войдут артистка Ляля Белая, киномеханик Катя и Федор Иванович Зиновьев из района, но обрати внимание: Катя и Ляля — женщины, а Федор Иванович без руки.

— Грести надо! — повторил Вася-партизан.

— И не только грести! — подхватила Роньжа. — Вам с Борисом будут поручены драматические роли! Виталий успешно справился с ролью польского пана, — обратилась Роньжа к артистке, — а Борис убедительно сыграл красноармейца. А злободневный скетч мы освежим!

— Ну вот и договорились, — завершил беседу Вася-партизан.

На лодке-ангарке с Катькиной кинопередвижкой и Лялиным аккордеоном мы должны были плыть вниз по Иртышу от селения к селению и крутить там «Свинарку», Федор Иванович рассказывать про свои подвиги, а Ляля Белая петь свои песни. Кстати, выяснилось, что Ляля Белая никакая не Белая, а просто Ольга Сергеевна Корешкова. А псевдоним Белая она взяла потому, что в Госконцерте уже есть известная артистка Ляля Черная.

— А зачем тогда псевдоним? — спросил я.

— А по глупости, — сказала Ольга и рассмеялась.

Перед самым отплытием прибежала запыхавшаяся Роньжа, принесла освеженный скетч и рулон собственной рукой нарисованных афиш. Согласно тексту скетча я теперь должен вместо злого польского пана изображать мальчишку-партизана, который ловко обманывает тупого немецкого офицера и в конце концов берет его в плен. Борька будет играть уже не красноармейца, а тупого немца. На Роньжиной афише старательно были изображены большой красивый партизан и маленький скрюченный фашистик темно-зеленого цвета. Мы с Борькой бодро взялись за весла. Берег от лодки отдалялся очень медленно. Над нами клубилась туча комаров. Они жрали нас беспрепятственно, потому что руки были заняты веслами. Катька обмахивала нас косынкой, но скоро устала. Дальний поворот реки все не приближался. Мы с Борькой разозлились и поднажали. Поднажали и вспотели. Тогда комары заинтересовались нами еще больше. На ладонях вспучились волдыри, руки дрожали, а поворот был все там же.

— Вот что, ребятки, — сказал Федор Иванович, — так не пойдет дело! День еще начинается, а вы уже скисли. Нужен порядок!

И Федор навел порядок: работать веслами — один час. Потом плыть по течению самотеком и отдыхать — полчаса. Если нужно по нужде, приставать к берегу без всяких стеснений и ломаний — дело обыкновенное. Если что добудем из съестного или добрые люди дадут, все в общий котел.

— Кто «за»? — Федор поднял единственную руку.

Все проголосовали «за».

— Теперь, чтоб не забыть, сразу сообщаю, что я назначен при вас для охраны. Места здесь такие, что и дезертиры попадаются, и всякое другое, а я все-таки милиционер, хоть и однорукий. Служил в органах до ранения. — Федор достал из-за пазухи кисет, а потом револьвер, завернутый в большой носовой платок. — Вы не пугайтесь. Штатное оружие. Положено по службе.

Дальше мы долго плыли молча. Уже стало темнеть, и на далеком берегу замерцал огонек.

— Деревня Слушка! Население — три двора! — объявил Федор.

— На берегу нас поджидало все население: девять взрослых и три бесштанных пацана. Горел костер, и в котле что-то варилось.

— Ну как там война? — крикнул передний мужик еще издалека. — Не победили ишшо?

— Нет пока что, — откликнулся Федор.

— А мы вас завидели и уху сварганили, — сказала молодуха. — Милости просим!

Мужики засучили штаны и взялись вытаскивать нашу ангарку на берег.

— А это у вас что? — спросил первый мужик.

— Кино вам будем показывать, — ответила Катерина.

— Кино? — поразился мужик. — Мы такого здесь и не видывали!

На самой большой в Слушке простыне мы готовились показать «Свинарку и пастуха». Народ приоделся, на пацанов надели штаны. Все с уважением разглядывали Катькину аппаратуру.

— Да вы не туда глядите! На простыню глядите, — посоветовала Катька. По простыне поплыли кадры Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, появились нарядные люди и сверкающие автомобили. Зрители глядели, не шелохнувшись, и даже не сразу поняли, что следить нужно за свинаркой и пастухом. А уж когда поняли, заволновались, стали за них переживать. Все сразу догадались, что свинарка и пастух скоро поженятся.

После кино был общий ужин. Главный мужик рассказал нам, отчего деревня так называется.

— У моего деда была привычка, к каждой фразе он прибавлял «слушайка», которое звучало как «слуш-ка»: «Слуш-ка, парень, подмогни! Слуш-ка, жана, тащи обед!» Дед мой был известный в округе человек. Вот он уже помер, а место наше и по сей день зовется Слушка, — рассказывал мужик. — Напечатали тут недавно карту, все на ней есть — и Салехард, и Ханты-Мансийск! А пониже — точка и под ней написано: «Дер. Слушка»! Вот как мы прославились, — похвастался мужик.

На столе появилась четвертная бутыль с чем-то мутным. Все выпили за Слушку. И мы с Борькой тоже выпили для компании. Мне вдруг стало весело, хорошо, все мне стали нравиться — и лысый однорукий Федор, и разговорчивый мужик, и пацанята. Особенно мне понравились молодуха и Ольга, которые пели вдвоем старинные сибирские песни, а Федор старательно гудел — подпевал им басом. Пели они про то, про что всегда поют подвыпившие сибиряки, — про бродягу, который Байкал переехал, и еще про то, что жена найдет себе другого, а мать сыночка — никогда. Нас поместили в избу, самую новую из трех, и мы спали на полу вповалку. Только Ольгу из уважения положили на печку.

Ранним утром мы взялись за весла. День был солнечный, дул легкий ветерок, и комары не приставали. Хозяева смазали наши волдыри салом и натянули брезентовые рыбацкие рукавицы. Приветливая деревня Слушка постепенно удалялась и растаяла в тумане.

Когда солнце поднялось выше, Ольга по городской привычке устроилась загорать. Катька, девчонка деревенская, загорать стеснялась и только приоткрыла чуть выше колен свои белые ноги.

— Вы бы, девки, не заголялись особенно-то, — сказал Федор, — плывем к спецпоселку Урманному.

— Ну и что? — спросила Катька.

— А здесь молокане живут. У них строго. Нагляделся я на них еще на милицейской службе. Народ чистый, трудолюбивый, не курит, не пьет. Собираются, молятся, поют, а про что поют и во что верят, никто толком не знает. Но люди работящие и непьющие! Я бы пол-России к молоканам отослал. На перевоспитание! — заключил Федор.

Урман — это, по-сибирски, непроходимая чащоба. Так, наверное, было, пока не выслали сюда молокан. Теперь здесь вдоль берега стоят ровной цепочкой сложенные из толстых бревен ладные дома, а вокруг каждого дома — высокий заплот, тоже из бревен, но заостренных кверху. В поселке не видно было ни души. Даже не лаяли собаки. Мы подтянули ангарку и пошли к ближайшему дому. Федор постучал в калитку. Тишина.

— Хозяева! — позвал Федор.

И снова ни звука.

— Есть кто живой? — спросила Катька.

И снова никто не откликнулся, только истошно трещали сороки. Они так всегда предупреждают о появлении чужаков.

— Откройте! Мы из района! — потребовал Федор.

Что-то шевельнулось, хрустнуло, и в щели между бревнами блеснул чей-то глаз.

— Мы от властей! — настаивал Федор.

Калитка отворилась, и перед нами встал огромный седобородый старик в холщовых самотканых рубахе и штанах. В руке он держал топор. Старик долго разглядывал нас, и взгляд его остановился на Федоре.

— Это ты власть? — спросил старик.

— Ну, я, — подтвердил Федор.

— А рука твоя где? — усмехнулся старик.

Федор не стал отвечать про руку, как намедни в Цынгалах, и промолчал.

— Всякая власть от дьявола! — поучительно сказал старик, — дьявол дал — дьявол взял!

— Нельзя же так, товарищ! — возмутилась Ольга. — Мы — агитбригада. Кино вам хотели показать, а потом я вам спою.

Старик на Ольгу даже не взглянул.

— Ты же знаешь, начальник, что кина вашего мы не глядим. Если приказано казать, то вон сарай. Туда идите!

Мы пришли в сарай, предназначенный для молотьбы. Пусто, твердый глинобитный пол, в углу составлены лавки. «Вот здесь они и собираются, поют про свое», — объяснил Федор. Мы повесили на стену экран, расставили лавки и стали ждать. Никто не появлялся, только по-прежнему трещали сороки. Борька потел в самодельной немецкой форме, и у него расплылись рисованные усы. «Ой! Мы же афиши не расклеили!» — спохватилась Ольга. Тогда мы с Борькой прилепили две афиши — одну на калитку старика, а другую у колодца. И снова стали ждать. В соломе возились мыши. Хотелось есть и пить. В дверях сарая возникла девчонка-подросток, тоже в холщовой рубахе, в белом платке и лапоточках. Она поставила у наших ног деревянное долбленое корытце с горячими картошками. «Ешьте», — сказала девчонка, повернулась и ушла. Федор задумчиво поглядел на корытце. «А ведь в этом корыте, — сказал Федор, — они картохи мнут для поросят». Опять возникла девчонка, но уже с крынкой кислого молока. «И пейте», — добавила девчонка и ушла. Так до вечера никто и не явился. Плыть дальше на ночь глядя нам было не с руки. Проситься здесь на ночевку — бесполезно. Хотели было переночевать в сарае, но женщины забоялись мышей.

И мы решили из гордости расположиться на ночлег прямо перед домом зловредного старика. Развели костер и просидели у огня до утра. За всю ночь никто к нам не подошел и даже не выглянул из дома. «Куда же они всех собак-то подевали?» — удивлялся Федор.

Утром, когда мы грузились обратно в лодку, Федор обратился к безлюдному поселку Урманному. «Ну уж нет, — сказал он, — не буду я пол-России к вам, молоканам, отправлять на перевоспитание!»

Впереди по курсу нас ожидало большое село Реполово. Много домов, пристань, лесопилка и красивая церковь без креста. Церковь здесь превратили в клуб. На месте царских врат соорудили сцену с настоящим занавесом. Над занавесом помещался лозунг со словами: «Все для фронта!» В этой церкви нас и поместили. Отовсюду со стен на нас глядели святые и мученики. Первым пришел начальник лесопилки. Он был в кителе, сапогах и фуражке-сталинке. Начальник поздоровался с нами за руку и долго рассматривал документы. У него были глазки-бусинки, длинный нос и маленький стерляжий круглый ротик. Точь-в-точь стерлядь, только в фуражке! «Ну что ж, товарищи, — сказал начальник, — располагайтесь, а я мобилизую население».

Народу в церкви собралось полным-полно. Над нашим скетчем про глупого фашиста все очень смеялись. Федор тоже не подкачал со своим рассказом. Ольга Сергеевна пела замечательно, и ее голос под сводами церкви звучал особенно красиво. Перед фильмом, когда мы возились с динамкой, нас обступили местные ребята и попросились ее покрутить. «А что нам за это будет? — спросил Борька. Ребята натащили нам орешков, ароматной серы для

жвачки, а один даже отдал мне рогатку с ценной красной резиной. Потом ребята по очереди крутили динамку, а мы, как свободные люди, сидели в зале, щелкали орешки и в который раз смотрели «Свинарку и пастуха». Все сложилось хорошо, кроме неприятностей с Федором Ивановичем и Борькой.

После кино к нам за сцену пришел начальник лесопилки благодарить за «полезное мероприятие».

— Молодец, партизан! — сказал мне начальник и погладил меня по голове. — Так держать! — Потом он обратился к Федору Ивановичу с критикой: — Про какие немецкие похлебки ты нам рассказываешь? Народ ждет подвигов, а ты чего плетешь?

— А ты на фронте был? — спросил Федор Иванович.

— Я пока на брони, но это не имеет значения! — ответила «стерлядь».

— Тогда пошел ты на... — И Федор применил к начальнику нецензурное выражение.

Поздно вечером Федор пришел мрачный и подвыпивший, чего с ним никогда не бывало. А в тот же вечер, когда Борька выскочил из церкви по нужде, его подкараулили местные ребята и с криками: «Бей фрица!» здорово его отмолотили. Борька кричал, что у него такая роль, но его никто не слушал. Наутро у Борьки образовался синяк и заплыл глаз. Как ему дальше изображать немецкого офицера, было непонятно. Пришлось добавить в скетч слова с намеком на то, что офицер этот и раньше участвовал в рукопашных схватках с партизанами.

На следующий день нас прицепил катер и потащил ангарку в районный центр Самарово. Мы даже постричься не успели в местной парикмахерской, а нас сразу доставили в клуб рыбкомбината. Здесь нам поменяли «Свинарку» на «Боевой киносборник № 7», сделали профилактику кинопроектору и выдали, согласно договоренности, по полкило масла, по кило сахару и дали еще буханку хлеба. С новой картиной и кинопередвижкой мы потряслись по бревенчатой мостовой обратно к пристани. Здесь нас ожидал сюрприз. У пристани нашей ангарки уже не было, а вместо нее нас поджидал большой многовесельный неводник. Над неводником была построена будка из крашеной фанеры. На одном боку у будки написано было огромными буквами: «Бей врага!», а на другом — «Агитбригада». Сооружение напоминало мне китайскую джонку, каких я немало повидал на Амуре. Так и чудилось, что вот-вот выйдет из будки китаец в конической шляпе и с бамбуковым шестом в руках.

К пристани подвалил чистенький катерок с надраенными поручнями, и к нам вышел сам начальник рыбкомбината. Он тоже был в кителе, сапогах и сталинке. И глаза у него были такие же стерляжьи. Он по-военному козырнул и представился. Сказал, что у нашей агитбригады сменился шеф. Прежде над нами шефствовала милиция, а теперь вот рыбкомбинат, и мы будем культурно обслуживать прежде всего рыбаков, а потом уже другой остальной народ. Поскольку на рыбацких станах бытовые условия неважные, для нас построили «каюту». Федор заметил, что «каюта», пожалуй, великовата. Начальник возразил, что сооружение одобрено «самим предриком» Валерианом Прохоровичем Чижовым. Начальник озабочено удалился по делам. И тут взбунтовался Федор Иванович. Он заявил, что он не клоун какой-нибудь, чтобы людей развлекать и пустым рукавом хвалиться. «Но вы же герой, Федор Иваныч, — убеждали мы, — у вас медаль «За отвагу»!» «Таких героев-медалистов теперь в тылу пруд пруди!» — отбивался Федор. Наконец мы ему сказали, что нехорошо нас оставлять беззащитными и безоружными, и Федор сдался.

Катерок вытащил нас в безбрежное море, которое образовалось здесь от слияния Иртыша с Обью. Дул сильный ветер, и катерок то взлетал на волнах, то скатывался в ложбины. Он еле тянул наш неводник. Будка срабатывала, как парус, то и дело разворачивая джонку боком к волне. Нас жестоко болтало, по «каюте» перекатывались жестяные коробки с пленкой и наше мелкое барахло. Конца этому путешествию, казалось, не будет. Наконец за длинной песчаной косой показались избушка и снасти, развешенные для просушки. Ка-

терок совершил маневр и подтянул нас поближе. Что делать дальше, мы не знали. Вытащить громоздкую джонку на берег нашими силами было невозможно. Мужская половина коллектива сняли штаны и попрыгали в холодную воду. После некоторого колебания к нам присоединилась и команда катера. Мы кое-как пришвартовались и закрепились. Команда попрыгала в катерок, он зарычал, развернулся и ушел в бесконечность.

На берегу было тоже пустынно и безлюдно. Поскольку мы все равно были голые, то принялись вброд перетаскивать наше имущество на берег. Избушка была жилая — на пороге сидел кот и с отвращением глядел на связки вяленых стерлядок. Рыба была повсюду: в бочках, чанах, уже распластанная и подсоленная. А также сушеная, в больших рогожных мешках. Вскоре из-за отмели показался такой же неводник, как наш, но только без будки. Он был завален сетями, поплавками и прочими рыболовными снастями. На веслах дружно работали рыбаки, а правильнее сказать, рыбачки. Женщины в неуклюжих робах и бахилах с криками и визгом попрыгали в воду, вытянули неводник, а потом вытащили нашу джонку вместе с Катькой и Ольгой. Не обращая на нас никакого внимания, они скинули рабочую одежду и в таком виде побежали к сараю с жестяной трубой. Видимо, в коптильню. У костра, огороженного жердями, остались сушиться заскорузлые, блестящие от рыбьей чешуи ватники и брезентовые штаны. Потом из коптильни, уже приодетые и сухие, вышли рыбачки. Впереди шла высокая фигуристая бригадирша.

Бригадирша извинилась за то, что они выскочили в таком виде — просто так привыкли, потому что живых мужиков здесь не видели уже два месяца. Губы и брови у бригадирши были чем-то подкрашены. Вперед вышел Федор Иванович и с шуточками и прибауточками объяснил, кто мы такие. Рыбачки со смехом отвечали. А девчонки — наши сверстницы — для практики строили нам с Борькой глазки. Уже стемнело, и кино решили показывать прямо на берегу, прикрепив экран к стене избушки. «Боевой киносборник» состоял из нескольких смешных коротких фильмов, вроде нашего злободневного скетча, но, конечно, получше. Привлеченная белым, мерцающим экраном, налетела мошкара. Она облепила нас так плотно, что невозможно было открыть глаза и даже дышать. Рыбачки досмотрели фильм до конца, похвалили и сказали, что лучше бы, конечно, если б фильм был про любовь. Война всем надоела!

Стали устраиваться на ночлег. В нашей будке, которую воздвиг «сам предрик» Валериан Прохорович Чижов, спать было нельзя из-за гнуса. Решили в тесноте да не в обиде устраиваться в избушке. У рыбачек над каждой постелью устроен был марлевый полог от гнуса. Стали распределяться под пологами. Ольга и Катька — под одним пологом, мы с Борькой — под другим. А бригадирша пригласила Федора Ивановича под свой полог посовещаться о завтрашнем дне. Гудела мошкара, шептались и хихикали рыбачки. Потом Ольга добросовестно предложила им спеть. Я не знал, что Ольга так хорошо поет и романсы тоже. Под слова «на заре она сладко так спит» из-под пологов раздалось сопение и похрапывание рыбачек. Они смертельно устали, им было не до романсов. Только мне не спалось. Я размышлял о том, какой же идиот додумался построить агитбудку на неводнике. И вдруг меня осенило: Валериан Чижов — это же не кто иной, как Оверька Чижик! До нас доходили слухи о том, что Оверька как ценный «кадр» забронирован и теперь где-то начальствует. Все сходилось! Будку мог придумать только «кадр» с мозгами Оверьки. Ночью я проснулся от шепота и шевелений. Из-под полога, где спал Федор, крадучись выбралась женщина, но это была уже не бригадирша, а другая — худенькая и рыженькая, которая требовала картину про любовь.

На заре рыбачки снова натягивали свои ватники и штаны, отправлялись тянуть невод, добывать рыбу для фронта и победы. Прежде чем с нами распрощаться, рыбачки столкнули наш корабль на чистую воду и рассказали, как нам добраться до следующего рыбацкого стана. «Это недалеко — по воде за полдня догребете», — успокоили они нас. Мы надеялись, что подойдет рыбкомбинатовский катер и нас отбуксирует, но катер, конечно, не пришел.

Мы отправились в путь самостоятельно. На тяжелом неводнике мы с Борькой с трудом выгребли на стремнину, надеясь, что быстрое течение нам поможет. Так и вышло — подгоняемые ветерком, мы спускались по течению довольно быстро. Как заметил Борька, даже слишком быстро. Настроение было хорошее, Ольга опять было приготовилась загорать, но все вдруг мгновенно изменилось. Вода потемнела, покрылась рябью и белыми барашками. Все происходило быстро и в то же время замедленно, как в кино. Под порывом ветра неводник накренился и освободил себя от дурацкой будки — она со скрежетом и хлюпаньем отделилась и закачалась в волнах, быстро от нас удаляясь и показывая время от времени мокрый бок с надписью «Бей врага!». От неожиданности мы с Борькой бросили весла, и теперь они тоже быстро и безнадежно от нас удалялись. Лодка беспорядочно вращалась и неслась по волнам. Федор пытался править, поворачивая рулевое весло одной рукой. Но ничего из этого не получалось. Оставалось только тупо глядеть друг на друга и на далекий берег, который, кренясь, поворачивался к нам то одной стороной, то другой. Потом мы почувствовали сильный толчок и едва успели ухватиться за борт. Лодку выкинуло на отмель. «Все хватай и за мной!» — крикнул Федор. Мы ухватились кто за что мог и забегали от лодки к отмели и обратно. Неводник трещал и методично бился днищем о гальку. Когда мы сложили наше имущество в кучку, волна приподняла неводник и положила его к нашим ногам, рядом с имуществом. Стихия действовала последовательно и с чувством юмора.

Опомнившись от потрясения, мы стали изучать обстановку. Кинопроектор и другое оборудование обычно перевозят в специальных крепких ящиках, и они не пострадали. А вот с «Боевым киносборником» дело обстояло не так хорошо — в яуфы попала вода. Размеры бедствия сейчас можно было выяснить, только осторожно, чтобы не повредить эмульсию, разматывая ленту, ролик за роликом. Адская работа! А в наших условиях — невозможная! Мокрая Екатерина сидела на своих ящиках и рыдала.

— Костер надо бы развести, — сказал Федор.

— Да ведь пленка-то горюча-ая, — выла Катька.

— Ты думаешь, я твою пленку на костре буду сушить? — сказал Федор. — Сперва сами обогреемся.

Федор пошел по отмели, а мы с Борькой за ним. Отмель тянулась далеко, это была цепочка островков, разделенных промоинами. «Молись, ребята, — сказал Федор, — чтоб не задуло снизу, против течения. Тогда вода поднимется и нам — каюк!» Но пока что мы стали подбирать плавник и ветки посуше, а Федор что-то выискивал в гальке. Нашел подходящий кремень и сунул его в карман. Екатерина безутешно рыдала, неподвижно сидела, нахохлившись, Ольга с аккордеоном на коленях. «А ну, девки! Айда собирать былинки-хворостинки!» — скомандовал Федор. Потом он достал кисет, а из него тонкую курительную бумагу. Федор вынул патрон из револьвера, сорвал пулю и высыпал порох на бумажку. Ударил кресалом о кремень — порох вспыхнул. На нашей необитаемой земле появился костерок. Потом общими усилиями мы развели и серьезный костер. Повеселела даже Катька. «Робинзоны, — смеялась Ольга, — самые настоящие Робинзоны!» Про нижний ветер мы им не говорили, чтобы не пугать. Честно заработанный нами сахар растаял в обской воде. Туда же канули и хлеб с маслом. Сохранилась связка вяленых отборных стерлядок, преподнесенных на прощание рыбачками.

«Пароход! Пароход!» — запрыгал и закричал Борька. Сравнительно недалеко от нас действительно шел большой красивый пароход. Мы кричали, размахивали руками и всячески пытались обратить на себя внимание. С палубы нам тоже кто-то приветственно махнул платком. Потом пароход показал нам корму и пошел своим путем. Катька заявила, что если даже какой-нибудь пароход здесь вдруг и причалит, она, Екатерина, все равно с места не сдвинется, пока не выяснит, что с «Боевым киносборником» и не сползла ли с него эмульсия. Позже можно было наблюдать следующее: на пустынной отмели, посреди реки стоял на треноге кинопроектор, а зареванная Катька осторожно поворачивала ручку, словно показывая неизвестно кому какое-то стран-

Неизвестный автор. Варшава. 1939, сентябрь

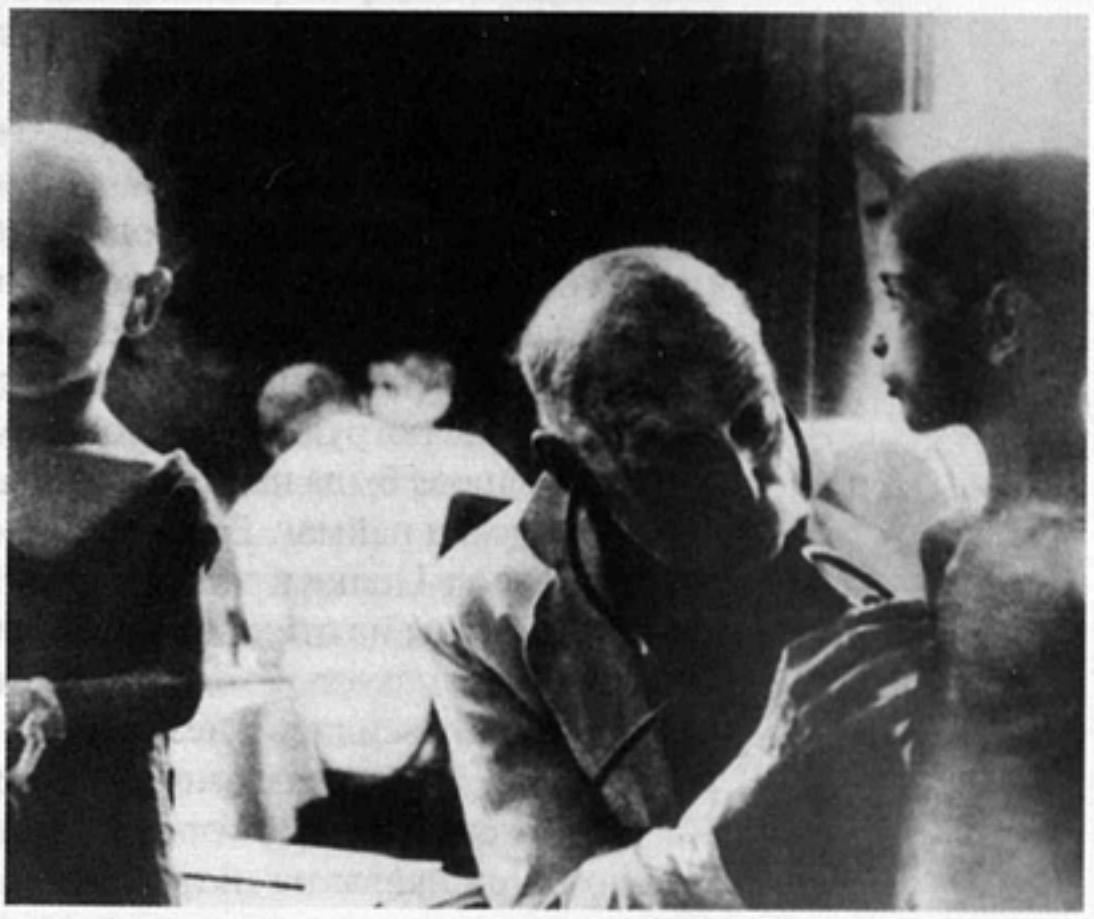
В.Тарасевич. Тыл — фронту

Е.Халдей. Мурманск после авианалета. 1942

В.Кононов. Переправа через Волхов

Е.Халдей. Севастополь. 1944

А.Морозов. Шнайдемюль. 1945, апрель



Б.Уткин. Дети блокады

К.Людвиг. После боя. 1945, 9 мая

ное, замедленное кино. До самой темноты, ролик за роликом мы пропускали через проектор «Боевой киносборник», проверяя и просушивая подозрительные места с помощью лампы проектора. Мы поели вяленой стерляди, запили ее обской водой и поддерживали наш костер до утра. Утром нас снял почтовый катер. О нас вспомнили, только когда выловили из Оби агитбудку с призывом «Бей врага!». С тех пор я возненавидел стерлядь во всех видах, но когда говорю об этом, все думают, что я шучу.

После сидения на отмели мы уже не решались путешествовать самостоятельно. Да и не на чем было — неводник пришел в негодность. Нас перевозили на катерах, буксирах, даже лесосплавщики на плотах. Мы побывали во многих Богом забытых деревеньках и поселках. Ольга Сергеевна пела свои песни, фронтовик Федор Иванович складно и привычно рассказывал про войну, но количество плененных немцев у него понемногу возрастало, а о напарнике упоминать он иногда забывал.

Так мы жили почти два месяца, пока не начались осенние непогоды. Когда я вернулся в Цынгалы, мне все показалось здесь маленьким и скучноватым. Сказывалась привычка к постоянному движению и переменам. Мать долго меня рассматривала и объявила, что я повзрослел. Мы поглядели друг на друга, и мать ответила на мой главный, невысказанный вопрос. Нет. Никаких извещений и писем от отца не было. А нам предстоял новый переезд. Мать взяли на работу в район, и теперь я буду учиться в средней школе в Самарове.

По местным меркам это было очень большое село. На высокой горе, отделяющей старинное Самарово от новостройки Ханты-Мансийска, стояли сибирские дома-крепости, а в болотистой низине кучковались разбросанные без всякого порядка глинобитные хижины сибирских татар. Низина утопала в черном бездонном торфяном болоте, и потому дороги-улицы в селе вымощены были толстыми бревнами. Под тяжестью конных подвод и под ногами прохожих бревна погружались в болотную жижу и с вязким чмоканьем всплывали. В Самарове была парикмахерская, в которую мы в прошлый раз не попали, столовая и раймаг. В столовой кормили по карточкам и только супом из рыбьих голов. Полки в раймаге были идеально пустыми. Но я еще помню, как в начале войны на этих полках стояли пирамидки крабовых консервов и бутылки шампанского. Стояли они довольно долго, потому что сибиряки с подозрением относились к незнакомой еде и к шипящей жидкости в толстых бутылках. Все это исчезло, когда пришел первый пароход с эвакуированными.

Вторжение чужаков преобразило жизнь в Самарове. Подскочили цены, изменились нравы на патриархальном самаровском базаре. Местных обижало, настораживало высокомерие и напористость приезжих. Встречали эвакуированных, как своих, родных, пострадавших, а кто тут истинно пострадавший, было пока непонятно. Здесь оказались эвакуированные москвичи и ленинградцы, беженцы и ссыльные из Западной Украины и Прибалтики, сектанты и староверы, поволжские немцы и калмыки, а также спецпереселенцы и неблагонадежный люд всех прочих национальностей, веры и происхождения. Все это пыталось внедриться в незнакомую сибирскую жизнь, добыть себе пропитание и крышу над головой. Каждый в глубине души считал, что он здесь находится временно, и потому распродавал последнее, сбивая цены и не заботясь о будущем. А будущим для них оказались долгая война и крутые сибирские зимы. Надеждой и опорой самаровцев, коренных и временных, был рыбкомбинат. Комбинат построил здесь жилье — длинные бараки для сезонных рабочих — и провел электричество для своих специалистов. Даже общественная баня принадлежала рыбкомбинату. И клуб, откуда мы брали фильмы, тоже был рыбкомбинатовский.

Когда началась война и комбинат погнал свои консервы на фронт, отпала надобность в красивых этикетках — армия поедала все без разбора. Запасы этикеточной бумаги переданы были в распоряжение местных властей. Теперь хлебные карточки печатали на обороте узеньких этикеток от «Ерша в масле», более обширные казенные документы — на широких этикетках «Ухи из

осетра». Лично у меня аттестат зрелости и школьная характеристика исполнены были от руки на этикетке «Муксун в томате». Эти документы сыграли в моей жизни, быть может, решающую роль. Но об этом речь впереди.

Мы поселились в избе наших дальних родственников, в закутке за печкой. Жилье в Самарове, заполоненном приезжими, стоило очень дорого. Только через несколько месяцев нам дали «школьную фатеру» — покосившийся, вросший в землю домишко в два окна. Мать очень гордилась этим почти что собственным жильем, вымыла и выскребла здесь все что можно. Мы водрузили полку для книг, и вскоре на школьной подводе доставлен был из Цынгалов «Зингер-полукабинет». Начиналась новая жизнь. К нашему домику приволокли и оставили под окнами толстенное, в два обхвата бревно — это был запас дров на зиму. Мне предстояло отпиливать от бревна чурбаны и колоть их по мере надобности. Общественный колодец был далеко, поэтому завхоз торжественно вручил мне коромысло и два казенных ведра с надписью «щи». Поскольку наш дом к рыбкомбинату отношения не имел, электричества у нас не было, но зато к моей великой радости были радиорозетка и наушники. Теперь я мог целыми днями слушать передачи из Москвы и Новосибирска, сводки Информбюро, радиоспектакли и всё, всё, всё!

Произошло еще одно важное событие — к нам пожаловал «сам предрик», то есть председатель райисполкома Валериан Прохорович Чижов. Это, конечно же, был Оверька Чижик, но совершенно преображенный. Он, разумеется, был в кителе, сапогах и фуражке-сталинке. Он даже отпустил усы, но на Сталина все же не походил, потому что был от природы курносым и белобрысым. Оверька обращался с нами приветливо, но как-то сдержанно. Он не смеялся беспричинно и не размахивал руками, как бывало прежде. Оверька рассказал про наших видоновских родственников. Лошадник Евграф помер, жена Оверьки, трусихинская Августа, теперь стала завмагом в Ханты-Мансийске «Материальное положение нашей семьи в данный момент удовлетворительное», — зачем-то добавил Оверька. Австрияк Франц с первых дней войны услан был в спецлагерь на лесозаготовки, «где ему и следовало быть», — присовокупил он.

Уходя, Валериан Прохорович пообещал как-нибудь к нам заглянуть и между прочим заметил, что с раскулаченными родственниками нам следует встречаться пореже, а сам он очень занят, потому что идет война и у него много ответственной работы.

1 сентября я пришел в школу и познакомился с одноклассниками. Они были в основном переростки. Военные передряги и эвакуации прервали учебный процесс. Девочки уже были почти тетями, а мальчики говорили баском. Я выглядел среди них мальчишкой.

Первым ко мне подошел тощий носатый парень.

— Ты москвич? — спросил он.

Я сказал, что нет.

— Уже хорошо, — одобрил парень.

— Почему?

— Не люблю москвичей! Ты что, не знаешь, как они драпали 16 октября?

— Куда? — спросил я.

— Из Москвы в сорок первом! Ты и вправду не знаешь? Ты откуда такой прибыл?

Я сказал, что из деревни Цынгалы.

— Ссыльный? — поинтересовался парень.

— Нет, мы сами приехали, а ты кто такой?

— Леонард Тринель! — представился парень. — Немец-перец-колбаса-кислая капуста! Заходи как-нибудь, если не боишься.

— Боюсь? — удивился я.

— Так ведь я немец!

Лео жил здесь же, в школе. Для них с матерью и сестрой в конце школьного коридора отгородили комнатку. Мать Лео преподавала немецкий язык. Пока мы шли по этому коридору, Лео рассказывал про класс. В нем учились

поляки, бессарабские евреи, ссыльные прибалты, нелюбимые Лео москвичи и детдомовские ленинградцы. А недавно на нескольких баржах сюда привезли чуть ли не всю Калмыцкую Республику во главе с Верховным Советом. «Они Гитлеру белого жеребца подарили», — сообщил Лео. Я уже слышал историю про белого жеребца. Ею объясняли прибытие в Самарово сначала карачаевцев и чеченцев, потом крымских татар, а затем греков и караимов. Наверное, у Гитлера в тесном волчьем логове уже возникли проблемы с содержанием такого большого табуна! «Зато здесь педагоги первоклассные, университетские, — сообщил Лео, — из Ленинграда, Киева, Одессы, даже из Дерпта! Слышал про такой древний университет?» Я был подавлен осведомленностью Лео, а также необходимостью учиться у профессоров. Я представлял их не то чтобы облаченными в парики и мантии, но какими-то особенными. И требования у них будут ко мне особенные, непосильные.

В комнатке, где жил Лео, на полу была разостлана карта Африки. На карте группами и в россыпь стояли тщательно выточенные из белого металла макетики танков.

— Анализирую положение на африканском театре военных действий, — пояснил Лео. — Вот здесь Бизерта и англичане, а здесь танковый корпус Гудериана. У Гудериана сейчас преимущество.

— Он же фашист! — закричал я.

— Он не фашист, а талантливый генерал, — спокойно ответил Лео, — образование он получил в Советском Союзе. Генерал Роммель тоже...

Лео вдруг замолчал. В комнату вошла его мать, высокая и какая-то усохшая женщина. Не обращая на меня внимания, она стала что-то раздраженно говорить сыну по-немецки. Он ей дерзко улыбался. Тогда мать отбросила ногой карту, и по комнате рассыпались макетики танков. Я потихоньку вышел в коридор. Там как раз началась перемена. Мальчишки и девчонки громко кричали, смеялись и дрались, ударяясь о тонкую фанерную стенку, за которой жило семейство Лео.

Университетские светила преподавали нам без париков и мантий. Например, ленинградский доцент Рекин облачен был в залатанные бриджи с солдатскими обмотками, но на шее как знак его ученого достоинства под засаленным пиджаком имелся галстук. Две сестры-одесситки, старые девы Мария Карловна и Екатерина Карловна, одеты были в чинные учительские платья с кружевными воротничками, но наряд завершался солдатскими кальсонами, заправленными в галоши. Кальсоны стали в войну универсальным женским бельем, и теплыми, байковыми кальсонами премировали учительниц на 8 Марта. Война застала всех врасплох, без одежды и крова. И никогда, наверное, жизнь не столкнула бы именно этих людей и в этом месте. Но война их столкнула и повязала. И часто они не знали, как относиться друг к другу. Кто друг? Кто враг? А кто — просто так!

Лео заходил к нам довольно часто — поиграть в шахматы или поболтать. К нему в школе никто не подходил и не заговаривал. Он отвечал высокомерной улыбочкой, но, судя по всему, чувствовал себя неуютно. С началом войны поволжских немцев разделили: мужчин в трудармию, то есть в лагеря, а женщин и детей — на поселение. Матери Лео повезло, она учительница немецкого, а теперь такие учителя нужны. «Ничего, жить можно, — рассуждал Лео, — но вот Лорка меня беспокоит. Лорхен у нас невеста, ей за двадцать. А женихи где? Местные от нее шарахаются, хоть и сами ссыльные. Лорхен бесится и плачет по ночам. Я ей советую: ползи по-пластунски через фронт — там женихов много!»

Неделю спустя, когда занятия в школе уже шли полным ходом, в классе появился Лео с голубым пороховым ожогом на щеке. Точно такой же ожог, но на другой щеке был у ленинградца Веньки Палея. На вопросы они отвечали, что обожглись у печки. Никто, конечно, не верил. Правду знал только я. Однажды, на большой перемене Венька обозвал Лео фашистом. Лео предложил ему драться на дуэли. Венька рассмеялся и сказал, что мы не мушкетеры. Тогда Лео сказал, что да, конечно, евреи мушкетерами не бывают. «Я тебе по-

кажу, какие бывают евреи, — обозлился Венька. — Выбирай оружие!» От секундантов для конспирации они отказались и позвали меня в посредники, поскольку я не еврей, не москвич и не похож на немца. Стали вместе обсуждать детали. Холодного оружия у нас не было. Лео предложил изготовить пистолеты. Делали пистолеты все вместе — два противника и посредник. Конструкция была общеизвестная: к медной трубке с расплющенным концом прикрепляли деревянную рукоятку, с одного конца насыпали порох и заряд, а с другого, расплющенного, сверлили дырку. Вплотную к дырке крепили спичечную головку — получался запал. Для выстрела достаточно было чиркнуть коробкой о спичку.

Место дуэли избрали, как и полагается, укромное — за школьным сортиром. По моему счету противники сошлись. Это было похоже на игру, но лица у них были такие, что если бы я их остановил, они стреляли бы в меня. Тогда я скомандовал: «Пли!» Дыму было много. Оба пистолета дружно взорвались, и пламя ударило в сторону стрелков. Дуэлянтам повезло — глаза не пострадали, опалило только щеки, а Веньке обожгло руку. «Теперь помиритесь», — предложил я. Лео и Венька неохотно пожали друг другу руки. Это была не игра.

Но постепенно ребята в классе стали привыкать друг к другу. Столичные задавалы поняли, что и местные чалдоны тоже кое-что знают и понимают, а умеют уж точно больше. И мы узнавали друг про друга всякие мелочи, всякие человеческие подробности. Поляк, калмык, хохол, еврей превратились просто в Стаса, Ваньку, Гната, Веньку. И только Лео всегда оказывался в стороне. Особенно когда радио нам стало приносить вести о наших наступлениях и победах.

Теперь уже никто не отнимал у нас карты. Огромная карта, утыканная флажками, красовалась в нашем классе, и утром после очередного радостного сообщения мы переставляли флажки и бурно обсуждали подробности. Хохлы измеряли, сколько еще километров нужно пройти войскам до Киева и Одессы, поляки — до Варшавы. Но как обсуждать это с Лео? Утром Лео приходил в класс последним и перед самым уроком занимал последнюю парту. Ко мне он все-таки заходил поиграть в шахматы, а моя мать потихоньку его подкармливала. На сытый желудок он любил порассуждать. Узнав об офицерском заговоре против Гитлера, Лео заявил, что он жалеет военных, что войну они проиграли, потому что послушались «этого идиота».

— А если бы не послушались, что было бы? — спросил я.

— И Гитлер идиот, — после паузы ответил Лео, — и все мы, немцы, самонадеянные кретины.

Ясно было, что Лео совсем запутался.

— Ты заходи, Лео, — сказала мать, — я тебя пельменями с медвежатиной угощу.

Мать теперь работала школьным инспектором и неделями пропадала в командировках. Для зимних поездок ей даже полагалась зимняя одежда: малицы, кухлянки, топоры — огромные меховые сапоги. Мать из-за маленького роста передвигаться в них не могла, и возчик переносил ее на руках в сани. Так и возили эту меховую куклу-инспектора из одного школьного «куста» в другой. Больше всего мать боялась, чтобы при быстрой езде не вывалиться ночью в сугроб. Одна, да в таком одеянии, она была совершенно беспомощна. Возвращаясь из таежных поселков, мать иногда привозила оленину, дикий мед, а однажды явилась с огромным куском мороженой медвежатины. Когда Лео, угостившись материнскими пельменями, узнал, что это медвежатина, он пришел в восторг и вообразил себя древним тевтоном в суровых альпийских лесах. По этому случаю он долго с увлечением рассказывал нам, как жили древние германцы, какие они были воинственные и мужественные. Много всего знал Лео. Он любил свою выдуманную Германию и ненавидел ее, и стыдился немцев за то, что они творили в войну.

«После войны все изменится», — ободряла его мать. «После войны, отвечал Лео, — нас отсюда не выпустят. — Мы будем гнить в этих лесах. И поде-

лом!» Лео был недалек от истины. После войны его из ссылки не выпустили, и он спился в маленьком таежном поселке Кедровое, где преподавал ссыльным ребятишкам никому там не нужный немецкий язык.

Сколько невероятных историй пришлось мне услышать от разнообразных эвакуированных и этапированных. Никакое приключенческое кино с их рассказами не сравнится. И каждая человеческая жизнь — трагедия, если только не трагикомедия. Что-то вроде трагикомедии произошло и в нашей родственной среде.

Однажды после крупной победы — освобождения Киева, совпавшей к тому же с октябрьскими праздниками, в нашу в халупу явился Оверька Чижик. Он пришел узнать, как мы тут живем, и поздравить с праздниками. Оверька поставил на стол большую консервную банку с иностранной этикеткой. К банке прикреплен был ключ. Таких банок я никогда не видел. Оверька объявил, что это колбаса, полученная им по ленд-лизу от союзников-американцев. Он по-хозяйски уселся за стол, вынул пачку сигарет с верблюдом и задымил. По комнате распространился несказанный аромат. Я уже тайком покуривал, сворачивая цигарки с самосадом или с лжетабаком, который назывался «феличевый». Это была жуткая дрянь — самокрутка при каждой затяжке воняла и стреляла искрами. И вот теперь рядом со мной сидел небожитель Оверька и благоухал. Небрежно отделив от банки ключ, он повертел его — крышка отвалилась, и помещение заполнил головокружительный аромат ленд-лизовской колбасы. «А что, Гутенька, не найдется ли у тебя?..» — И Оверька звонко щелкнул пальцами у горла. Мать сказала, что найдется. Привыкшая к суровой экономии, она сберегала все, что выдавали нам по карточкам. Так же хранила мать и спиртное. В большую бутыль она аккуратно сливала водку, выданную в сентябре, портвейн, выданный в октябре, и туда же добавляла спирт, сухое вино, кагор и прочее, и прочее. Мать никогда даже не пробовала спиртного, а отец пил только пиво. Весь алкоголь мать именовала одним словом «водка». Накрыв на стол, она оставила бутыль в полном распоряжении Оверьки. На вопрос, что в бутыли, мать ответила, что это водка. Оверька наполнил стакан странной розоватой жидкостью, выпил за освобождение Киева, потом за годовщину Великого Октября. Водка материнского изготовления Оверьке очень понравилась.

Хорошенько закусив ленд-лизовской колбасой, Оверька стоя выпил за товарища Сталина и сразу же понес чушь. После тоста за победу он выпил за самого себя. Он сказал, что правда все равно победит. Так же, как победил и он — бедняцкий сын, женившийся по ошибке на кулацкой дочери Августе Трусихиной.

— Ведь кто я? — рассуждал Оверька. — Юридически я — кулацкий прихвостень и сукин сын! А фактически я достиг высокого положения. Партия разглядела во мне мою бедняцкую суть! Правда победила! — Оверька долго молчал, улыбался самому себе и покачивал головой. Потом он взглянул на меня, отложил колбасу и тихо сказал: — Виталий, слушай важное! Ты мог бы стать моим сыном! Ошибка не в том, что я женился на кулацкой Августе, а в том, что я женился не на той Августе! — Оверька повернулся к матери и неожиданно встал на колени. — Августа Трапезникова! Гутька! Гутенька! — торжественно объявил он. — Сколько лет я об этом думаю и забыть не могу!

Мать сказала:

— Ты, Оверьян, выпил лишнее, и тебе, наверное, следует проспаться.

Но Оверька горестно покачал головой и ответил, что не в водке дело, а дело в чувствах.

— Ты, Гутька, никогда меня не понимала! С самого моего бедняцкого детства!

Потом он снова сел за стол и выпил материнского зелья. Мы с матерью ушли в другую комнату, долго сидели и не знали, что с ним делать. Сидели, пока из соседней комнаты не послышался храп. А ведь все сходится, подумал я — и настойчивые приглашения Оверьки переехать в Ханты-Мансийск, и всякие другие Оверькины знаки внимания, которых я прежде не замечал. Утром

на столе стояла порядком опорожненная бутыль и лежала записка: «Извеняюсь. Валериан П. Чижов».

Близился конец войны. И Победа. И какая-то новая, взрослая жизнь. Однажды я встал на лыжи и отправился в Ханты-Мансийск. Если пойти ближней дорогой, через гору, то получалось километров десять. Я пришел в городскую библиотеку, и мне выдали затрепанный справочник для поступающих в вузы за 1939 год. Я решил внимательно ознакомиться с этим справочником и определить свою судьбу. Главное, сделать правильный выбор! Ведь в Конституции и даже в песнях сказано: молодым везде у нас дорога. То же самое написано во всех газетах и журналах. Будем выбирать!

Я уезжал из Самарово на том же самом «Карле Либкнехте», который в июне 41-го так и не довез нас с матерью до цели, не обеспечил нам свидания в столице с самим Михал Иванычем Калининым. За четыре военных года пароход облупился и поизносился. И пассажиры уже были другие: командированные офицеры, демобилизованные солдаты, перемещенные гражданские лица. Все, что двигалось когда-то на восток, теперь устремилось на запад. Устремилось с новыми послевоенными надеждами и с новыми песнями. Радиола гремела, не смолкая. Победные марши перемежались довоенными фокстротами, а знакомые фронтовые мелодии вытеснялись новомодными солдатскими песенками союзников. «В путь далекий до милой Мэри, в путь до Англии родной!» — распевали наши подвыпившие демобилизованные лейтенантики, ожидая скорой встречи со своими родными Цынгалами или Слушками. Они обменивались фронтовыми воспоминаниями и трофеями — так деликатно называлось вывезенное из освобожденной Европы шмотье и барахло. Лейтенантики имели право веселиться и радоваться, потому что уцелели в чудовищной войне и еще потому что перед ними приоткрылась совершенно неизвестная, праздничная жизнь в краях, которые они освобождали. Оказывается, можно жить в чистоте и в изобилии, как живут те, освобожденные. Значит, и мы сможем! Мы же победители!

Я попал на пароход только в конце августа. У всех отъезжавших были какие-то особые документы и права на внеочередной выезд. У меня ничего такого не было. Я устроился все в том же четвертом классе на дровах, при условии, что буду беспрекословно трудиться на всех погрузках и выгрузках.

Мать основательно собрала меня в дальнюю дорогу. Она даже изготовила походный тюфячок, чтобы мне было комфортнее лежать на сучковатых дровах. Были заготовлены и продукты для долгого автономного питания в условиях всеобщей послевоенной голодухи. Деньги, которые мать копила все эти годы, были положены на аккредитив, а те, что предназначались для повседневных трат, мать спрятала под стельками новых, к отъезду справленных сапог. В сверхсекретном кармане пиджака лежали документы. Мне уже исполнилось семнадцать и полагалось иметь паспорт. Получить паспорт в наших ссыльных краях было почти невозможно. Не без Оверькиного влияния мне неохотно дали временное удостоверение личности сроком на полгода. Мы с матерью рассудили так: за полгода я уеду достаточно далеко от этих мест, а дальше видно будет!

Я окончил самаровскую школу с золотой медалью. Собственно, никакой медали не было, ее еще не изготовили. Медали были учреждены только в этом победном году. Взамен я вез с собой аттестат зрелости, каллиграфически исполненный на обороте этикетки «Муксун в томате», и несколько копий на тетрадной бумаге, исполненных похуже, — это на всякий случай. Изучив основательно справочник для поступающих, я после длительных раздумий и колебаний остановился на Всесоюзном государственном институте кинематографии. Представление о кинематографе у меня было самое смутное и ограничивалось светлыми воспоминаниями об агитбригаде. Я решил стать директором кинокартины, потому что фамилия директора в фильмах всегда написана крупными буквами. С тем я и ринулся в неизвестность.

Штабеля дров на пароходе постепенно уменьшались, а после Тобольска

я спал уже на пустом и горячем металлическом полу машинного отделения. Пол мелко дрожал, из-под него рвался несмолкаемый грохот шатунов. Но зато теперь меня уже не заставляли грузить дрова — пароход шел по безлесой местности. Когда «Карл Либкнехт» преодолел реку Тобол и двинулся по узенькой Туре, возникло ощущение, что он плывет прямо по степи. Крутые берега поднимались до высоты палубы, и совсем рядом бежали наперегонки с пароходом перепуганные овцы, лаяли овчарки и тряслись на лошадках чабаны в островерхих казахских шапках. Когда пароход причаливал у горсточки юрт, начиналась торговля. Лейтенантики меняли трофейные побрякушки на овец. Овец тут же резали и свежевали. Казашки зазывно приподнимали подолы — под подолами, укрытые от степного зноя, стояли бутылки с кумысом. Почему женщины не охлаждали кумыс в речной воде, было непонятно — сказывалась, наверное, привычка постоянно пребывать в безводных местах.

В Тюмени меня встречала одна из сестер мамы — Шура. В войну она овдовела и с двумя детьми в поисках лучшего перебралась из дедовской омской халупы в точно такую же тюменскую. Я переночевал у нее. Похоже, тетка сменила шило на мыло. Наутро я решил приобщиться к цивилизации. По тем временам это означало посетить рынок. На тюменском рынке меня остановил самый натуральный городовой из фильма «Юность Максима». Городовой в мундире, при шашке и с малиновым шнуром на шее строго спросил у меня документы. Жалкий провинциал, я и не знал, что всех милиционеров недавно переодели в новую, то есть старую, полицейскую форму. Это сделали с одобрения товарища Сталина — значит, так надо?

На рынке торговали невиданными товарами. Толстая тетка рядом с банными вениками продавала, например, фарфоровую кофемолку с надписью «Гутен морген!» Тут же мирно лежали немецкие и советские ордена. Я впервые увидел фашистские деньги. На них был изображен рабочий с молотом и крестьянка со снопом. Получалось, что у них тоже рабоче-крестьянская власть? Как же так?! Здесь же шла бойкая торговля курточками и пальтишками, перешитыми из русских и немецких шинелей. Русские шинели ценились выше, потому что были теплее. Безногий инвалид торговал сигарами. На тряпице в деревянной красивой коробочке лежали рядком толстенькие коричневые палочки с золотой опояской. Про сигары я только читал в книгах и видел на карикатурах. Там изображены были буржуи с точно такими же сигарами в зубах. Поторговавшись, я купил себе сигару, а инвалид уговорил меня купить еще и зажигалку. Я отошел в сторонку и решил раскурить сигару, но зажигалка не действовала. Тот же безногий инвалид сказал мне, что зажигалку нужно было сначала опробовать, а купленный товар обратно уже не принимается. У другого инвалида (без руки) я прикурил свою сигару от его самокрутки. Впечатление было сильное. Казалось, горло и легкие обожгло кипятком, а потом туда еще подсыпали металлические опилки. Наивный провинциал, я не знал, что вместе с трофеями на российские базары прибыла и германская эрзац-продукция. Оскудевшие в войну немцы придумали массу заменителей. Они ели эрзац-хлеб и мазали на него эрзац-масло. Созданные таким способом эрзац-бутерброды немцы запивали эрзац-кофе. Весь этот эрзац тщательно и заманчиво был упакован в золотые бумажечки и коробочки. А сигары были, конечно, не из табака — их делали из каких-то лопухов, пропитанных никотином.

Потом я с волнением посетил вокзал. Отсюда должно начаться мое главное путешествие. Вокруг вокзала расположились лагерем пассажиры. Оказывается, поезда здесь останавливались только для высадки, но не для посадки. А на запад из Тюмени отправлялся раз в неделю один-единственный прицепной вагон. Мимо вокзала со свистом и грохотом проносились с Дальнего Востока воинские эшелоны — только что закончилась победоносная война с Японией.

Я побродил по лагерю перемещенных лиц. Многие с семьями и скарбом жили здесь месяцами. Среди них я встретил и старых знакомых. Это были эвакуированные, отъехавшие из Самарово по особым пропускам значительно

раньше. Они рассказали много интересного. Мало того что в Москву идет один прицепной вагон, нужно было еще получить вызов-подтверждение, что в Москве и вообще в месте назначения тебя ждет родня или казенная надобность. Дождавшись вызова, нужно было ждать двухнедельного оформления пропуска. Получив пропуск, нужно пройти обязательную санобработку. Процедура такова: отстояв предварительно в многодневной очереди, обладатель пропуска снимает с себя всю одежду и сдает ее на прокаливание и прожаривание в специальной камере. Пока в этой камере прокаливают и прожаривают вшей, будущий пассажир голышом, зажав в кулаке пропуск, отправляется на помывку. Ему дают кусочек дегтярного мыла, пассажир моется, а в это время его доверенное лицо — жена, а может статься, что и соседка по очереди — хранит в кулаке пропуск. Я не оговорился — нередко обезумевшие от этой процедуры голые люди из боязни потеряться или потерять свою очередь мылись все вместе, без различия пола, а только в порядке очереди. И наконец пропуск и справка у вас уже в руках. Остается пустяк — нужно раздобыть билет в единственный московский вагон, который цепляют раз в неделю. Между тем в справке о санобработке мелким шрифтом написано, что справка эта действительна только на день отъезда, пока ты «свежеобработанный».

Раздавленный новостями, я побрел по Тюмени куда глаза глядят и добрел до двери с табличкой «Тюменский обком комсомола». Я был, конечно, комсомольцем. В пять лет меня сделали октябренком. После пятого класса — пионером, а в четырнадцать — комсомольцем. В наших краях на происхождение закрывали глаза, потому что все мы здесь были в принципе неблагонадежные и социально чуждые. Я пришел в обком комсомола уже под вечер, прошел по пустынному коридору и толкнул первую попавшуюся дверь. За столом сидел молодой парень и быстро писал. «Ты ко мне?» — спросил он, не поднимая головы. Я сказал, что да. «Ну?» — спросил парень. «Мне надо в Москву», — сообщил я. «Показать? — спросил парень. — Знаешь, как Москву показывают?» Я знал, как это делают, еще с детства. Если в школе к тебе подходит старшеклассник и ласково спрашивает, не показать ли тебе Москву, быстро отвечай: «Нет!» Если по незнанию ты скажешь «да», старшеклассник стиснет тебе голову и начнет тебя медленно приподнимать. Это очень больно, и ты кричишь: «Нет!» «То-то же!» — говорит старшеклассник и, довольный, уходит. «Мне очень нужно в Москву», — повторил я. «Рассказывай», — сказал парень и писать перестал.

Тогда я объяснил комсомольскому вожаку, что намерен учиться в институте кинематографии, а институт находится в Москве. «Ты уверен, что он находится в Москве? — спросил вожак. — А может, его куда-нибудь эвакуировали или расформировали? Война же была!» «Вот я как раз хочу поехать и проверить», — возразил я. «А кто тебя туда приглашал, кто вызывал? Комсомольский билет предъяви!» — потребовал парень. Комсомольский билет я предъявил и копию аттестата тоже. Парень поглядел на аттестат, потом на меня и задумался. «Глупость ты придумал, уважаемый медалист, — заключил он, — в этот институт попадают только наркомовские дети или гении. Ты про кино хоть что-нибудь знаешь? Кто такой сценарист? А кто мультипликатор, например?» «Вот приеду и узнаю», — ответил я. «Слушай, друг, а у тебя по химии что?» — вдруг спросил вожак. «Я медалист», — напомнил я. «Тогда спрошу по-другому: ты науку химию любишь?» Ответить на этот вопрос было не просто. Химию я любил, потому что ее преподавала неистовая старая дева, одесситка Мария Карловна. Всю свою нерастраченную любовь она вложила именно в химию и заразила ею своих учеников. Если в школе происходил какой-нибудь взрыв или возгорание, виновников искали только среди учеников Марии Карловны. Но, с другой стороны, сестра Марии Екатерина Карловна с такой же яростью внедряла в нас любовь к слову и к сочинительству. Все ее ученики, и я тоже, были подающими надежды графоманами и стихоплетами. «Ну, конечно, я люблю химию», — неуверенно сказал я вожаку. «Так вот, во ВГИК никто тебя не возьмет, а в Менделеевку таких, как ты, даже приглашают». «Кто?» — удивился я. «Факультет 138 приглашает!» «Какой

факультет? А чему там учат?» — осторожно поинтересовался я. «Вот приедешь в Москву и узнаешь. Главное, вызов есть!» — парень показал мне роскошную, глянцевую бумагу. На бланке было написано: «Московский химико-технологический институт имени Менделеева». А пониже значилось: «Вызов-приглашение гр-ну...» и зиял пробел для фамилии приглашенного. «Повезло тебе, медалист, прислали одно место на всю область!» — позавидовал вожак. «А все-таки что же это за факультет?» — переспросил я. «Так заполнять на тебя или нет? — рассердился парень. «Заполнять, заполнять», — поспешил я ответить. Уже у выхода из кабинета я вдруг остановился, потому что вспомнил о неразрешимой проблеме с санобработкой. «Ну, это пустяки, — успокоил парень, — это мы решим. Главное, чтоб было красиво напечатано! — Парень подмигнул и заправил лист в пишущую машинку. — Народ верит печатному слову!» Вожак выдернул лист из машинки, быстро расписался и подал бумагу мне. На бумаге было напечатано крупными буквами: «Справка. Тов. Мельников В.В. обработку прошел. ЗамТюмьСан». И далее в скобках, мелькими буквами: «Желдораг». Внизу стояла неразборчивая подпись. «Чем непонятнее, тем лучше, — объяснил мой благодетель, — нужную дату проставишь сам».

Эту справку я успешно предъявлял потом во всех инстанциях в Тюмени. Предъявлял ее милиционерам, военным патрулям, в поездах, на станциях и полустанках. А позднее я предъявлял ее и в Москве. Выяснилось, что Москва только слезам не верит, а липовым справкам она верит свято, как и вся Россия.

Я пришел к знакомым в лагерь перемещенных лиц уже другим человеком. Человеком с Пропуском! Все поздравляли меня, завидовали и давали советы. Я поделился радостью и с самаровским знакомцем Колей. Он был значительно старше меня, но в войну от армии был освобожден, потому что с детства прихрамывал. Я даже не знал его фамилии. В Тюмень Коля приехал по каким-то своим делам. Все мужчины после войны донашивали военную форму, и прихрамывающий Коля с медсанбатовской палочкой ничем не отличался от фронтовиков-инвалидов. Инвалидов жалели и побаивались, так как среди них попадались контуженные и психически неуравновешенные. Коля по секрету сообщил мне, что знает тупик, в который перед отправкой всегда ставят московский вагон. Мы тут же разработали замечательный поэтапный план.

Первый этап — покупка билета. Сначала мы осмотрели место действия. Билетная касса на тюменском вокзале — это глубокий тоннель-бойница, завершающаяся глухой дверцей. Дверца открывается только перед прибытием поезда. Подойти к кассе вне очереди невозможно. У кассы денно и нощно стоят, сидят и лежат безбилетные пассажиры. Они живут у кассы неделями, знают друг друга в лицо и в час открытия окошечка очень агрессивны. Решили действовать так: я со своими вещами буду стоять неподалеку, а Коле вручу деньги и документы. Когда час Икс наступит и безбилетные столпятся у окошечка, Коля начнет размахивать палкой и закричит дурным голосом: «Разойдись! Убью!» Я, со своей стороны, буду кричать: «Контуженный! Контуженный!» Первый этап прошел успешно. Народ шарахнулся, и Коля оказался первым у кассы. Вскоре он вынырнул из толпы встрепанный и красный, в кулаке у него был билет. «Теперь я — к вагону, а ты — на платформу!» — крикнул Коля, схватил мой узел и исчез. В узле из полосатого тика у меня было одеяло, бельишко и главная ценность — зимнее пальто.

Согласно второму этапу я должен был освободиться от неудобного, громоздкого узла, а Коля, проникнув через окно в пустой вагон, должен занять для меня место. И вот я на платформе. Жду поезда. Звонит колокол. Паровоз «Иосиф Сталин» свистит и приближается к платформе. Из зеленых вагонов выскакивают с чайниками дальние пассажиры. Скоро произойдет самое главное — прицепят наш вагон. Наконец, вагон цепляют, к нему кидается толпа с детьми, узлами и чемоданами. Но происходит какая-то заминка. На подножке стоит милиционер с малиновым шнуром на шее и кричит в толпу одно и то же, как заведенный: «Вагон укомплектован! Вагон укомплектован!» Через вагонные окна видны лица, головы, рты. Люди в вагоне спрессованы в еди-

ную шевелящуюся массу и беззвучно друг с другом переругиваются. Не одни мы с Колей, оказывается, такие умные — к тупику пробрались и другие. Они набились в вагон и выходить не пожелали. Тогда пришлось объявить вагон укомплектованным, а двери проводник запер на ключ. Звякнули буфера. Прозвонил колокол. Далеко впереди откликнулся паровоз. Вагон медленно поплыл. Проплыли в окне и мой полосатый узел, и Колино лицо. Коля изображал отчаяние, но как-то неубедительно. Ни узла, ни Коли я больше никогда не видел. Я стоял на платформе с одним заплечным мешком и дико озирался. Подошел милиционер, потребовал документы. Я объяснил, что меня обокрали. Милиционер ознакомился со справкой о том, что я «обработан», и рассмеялся: «Это уж точно, что обработан! Не зевай — сам виноват!»

К тетке я не вернулся, чтобы избежать ее причитаний, и отправился к перемещенным лицам. Там жила семья моего одноклассника — ссыльного поляка Стасика Закревского. Вся семья была дома, то есть у костра. Они пекли картошку на ужин. Поляки долго ахали и лопотали по-своему. Потом Стасик перевел, что все они советуют мне попробовать ночью влезть в «пятьсот веселый». С детьми и вещами они сами не решаются, а вот я, поскольку оказался теперь без вещей, может быть, налегке и проскочу. Я слышал уже про «пятьсот веселый». Это состав, сформированный из солдатских теплушек, в них перевозили войска на фронт и с фронта. После окончания военных действий такие составы стали использовать для перевозки штатского населения, чтобы разгрузить сумасшедший послевоенный пассажиропоток. Поначалу эти поезда пробовали включать в регулярное движение, их нумеровали «пятьсот первый, пятьсот второй» и так далее, но вскоре теплушечных составов стало много и они стали передвигаться по стране без всякого порядка и расписания. С тех пор их и зовут «пятьсот веселыми». Можно было во Владивостоке влезть в «пятьсот веселый» и беспрепятственно эдак через месяц доехать до Москвы. В вагонах сохранились солдатские нары, а пассажиры сами обеспечивали себя удобствами — запасались соломой для мягкости, а также едой и водой в меру предприимчивости. Никаких документов и билетов здесь никто не спрашивал. Про санобработку даже и не слыхивали. Поезда эти останавливались, как правило, на отдаленных путях, и когда будет «прибытие-отправка», толком не знал никто. Мне посоветовали ждать «пятьсот веселый» сегодня ночью на подъездных путях у входного семафора.

Пробираться в темноте, спотыкаясь о рельсы, подлезая под вагоны, было страшновато. То и дело с грохотом проносились мимо военные эшелоны. Вдалеке иногда постреливали. Это патрули отпугивали желающих поживиться казенными грузами. Почти под утро я оказался у входных семафоров. Когда один из них поднял со скрипом железную руку, вдали показался теплушечный состав. Паровоз, пуская пар, остановился как раз около меня. В передних теплушках раздвинулись двери, и из них посыпался народ. Женщины и дети выпрыгивали по одну сторону вагонов, а мужчины — по другую. Сотни людей тут же принялись торопливо справлять большую и малую нужду. Я подошел к одной из теплушек и влез в открытую дверь. Никто меня не окликнул и даже не пошевелился — обитатели теплушки, видимо, заняты были своим неотложным делом. Я влез на нары в самый темный и дальний угол и зарылся в солому. Послышался паровозный гудок, потом раздались голоса возвращающихся пассажиров. Кто-то рядом толкнул меня в бок. Я не шелохнулся. Тогда этот кто-то просто отодвинул меня и лег рядом. Лязгнули буфера, и вагон медленно тронулся.

Продолжение следует

Владислав Микоша. Выступление концертной бригады перед защитниками Севастополя

ЕВГЕНИЙ МИТЬКО

Арон

Я прекрасно помню то, что было тридцать, сорок и даже пятьдесят лет назад, но часто не могу найти ключи от квартиры — куда я их положил? Впрочем, я написал это для красного словца: думаю, и в пятнадцатилетнем возрасте я тоже часто искал ключи...

Примеров вспышки памяти у меня немало. Я люблю их рассказывать — яркие истории из далекого прошлого. Как-то рассказал композитору Исааку Шварцу запомнившийся случай, когда немецкий офицер, здоровенный амбал, избивал мальчишку-еврея за то, что тот от смущения надел желтую шестиконечную звезду — звезду Давида — не на курточку, а под нее — на рубашку. Исаак посоветовал, чтобы я про это написал. Тогда сценарий не складывался. Лишь недавно я прочувствовал сюжет, и эпизод с избиением немцем тринадцатилетнего худенького мальчика стал стартовым толчком для написания этого сценария.

Я написал немало сценариев о сегодняшнем дне, но, признаюсь, люблю писать о прошлом. Прошлое уже отстоялось, осмыслилось, отчетливо проступило в нем главное.

Я отчетливо помню оккупацию, память сохранила, как были одеты немцы, как по утрам они до блеска начищали сапоги и гладили до прямой стрелки брюки. Как они в начищенных сапогах перепрыгивали через лужи и не бросали на землю окурки. Тогда впервые в жизни я попробовал сырокопченую колбасу. Ею меня, мальчишку, угостил унтер-офицер, которого в наш дом вселили на сутки грозные квартирмейстеры, начертав на нашей двери: «1 mann». Унтер-офицер был общителен, он угощал монпансье и показывал фотографии своих почтенных родителей, жены и киндера. Вперемешку с семейными фотографиями лежали снимки расстрелянных, повешенных, и он, унтер-офицер, стоял в полуметре от смертельно вытянутых ног несчастных людей, лыбясь в счастливой для него и омерзительнейшей для нас улыбке.

В те дни я набрел в роще на пушки-«сорокопятки», на щитках которых были выцарапаны фамилии и адреса погибших. В отличие от героев сценария, я не переписал их. Но что возьмешь со слободского пацана, которому и десяти лет тогда не было?..

В оккупацию по нашему Мариуполю разъезжали солдаты-румыны на телегах-каруцах с брезентовыми навесами. Это были прыткие вороватые парни — лихо крали у немцев, у населения, друг у друга, потом дрались, деля ворованное. Наша соседка бабка Петровна выживала в оккупацию тем, что выращивала

Евгений Митько — кинодраматург, автор более пятидесяти сценариев, из них тридцать пять поставлены. Среди самых известных — «Бумбараш», «Цыган», «На переломе», «Путина», «Там вдали, за рекой», «Подпольный обком действует», «Расколотое небо», «Детство Темы», «Пятно», «Теперь я турок, не казак».

кукурузу, лущила початки, молола на самодельной мельнице, похожей на большую кофемолку, желтые тугие зерна. Из муки она пекла на сковородке малай — кукурузный пирог, начиненный абрикосами, вишнями, яблоками. Ведь фрукты растут при любой власти. В оккупацию пацаны распевали: «Антонеску и Михай подрались за малай, а ты, Гитлер, не зевай, мамалыгу забирай». Однажды на базаре солдат-румын взял у Петровны несколько кусков малая и стал рыться в карманах — дескать, забыл марки дома, сейчас принесу. Чтобы Петровна не волновалась, он вручил ей свою винтовку. Бабка Петровна ждет час, другой... Два немца-жандарма с оловянного цвета бляхами на груди загребли вооруженную винтовкой старуху. В оккупацию за хранение оружия полагался расстрел. В гестапо разобрались, Петровну отпустили. Только весь ее малай с вишнями жандармы слопали, пока бабку допрашивали.

Но этот эпизод я когда-нибудь вставлю в другой сценарий. Или подарю кому-нибудь из друзей-сценаристов. Как подарил мне мой друг Валерий Фрид историю про бутерброды для фельдмаршала фон Манштейна, которую ему рассказал сокамерник Ян Эбнер, выступавший в роли буфетчика.

На плацу младший командир — один треугольник в петлице — учит шеренгу красноармейцев наматывать обмотки.

— Накладываете край ленты на ботинок... и живо мотаете до колена! За двадцать секунд!..

Младший командир придирчиво осматривает плоды красноармейских трудов и останавливается перед не самым молодым в шеренге — лет тридцати пяти — красноармейцем.

— Пошибче остальных управился товарищ Широков...

Красноармеец Широков, осмелевший от похвалы, вытягивается по стойке «смирно» и просит:

— Позвольте попрощаться с женой! Я мигом...

— Не напрощался?

— Не успел: заколол поросенка, коптил свинину, жарил сыну котлеты... — рассказывает Широков.

— А жена зачем? — удивляется младший командир.

Широков что-то еще говорит — его заглушает дребезжащий из раструба громкоговорителя голос Левитана:

— После длительных ожесточенных боев наши войска оставили город Гродно. При этом были уничтожены двадцать один танк врага, одиннадцать бронемашин, сто девятнадцать солдат и офицеров фашистов...

Младший командир вдруг видит рядом с собой мальчонку лет двенадцати — светловолосого, скуластого, чьи далекие предки пережили татаро-монгольское нашествие.

— Почему соплявки в расположении?

— Дядя младший командир, пустите моего папку попрощаться, — канючил мальчишка.

— Это мой Колян, — оправдываясь, говорит красноармеец Широков. — Он у меня, будто верблюд.

— Плюется? — язвит младший командир.

— Нет, в игольное ушко пронырнет, — отвечает Широков.

— Очистить плац от посторонних! — командует младший командир.

Схватив Коляна за шиворот, помкомвзвода выпроваживает его за ворота с железными красными звездами.

На сцене провинциального театра дают классическую украинскую оперу «Запорожец за Дунаем». Поют артисты в вышитых сорочках и широченных малиновых шароварах. Верховодит оперными казаками Запорожец — здоровенный сильный мужчина во всем украинском, с бритой наголо головой и чубом-шнурком, свисающим со лба.

Запорожец поет громовым голосом арию Карася «Теперь я турок, не казак...» Солист украинской оперы Евсей Хаскин поет на украинском языке.

В первом ряду партера сидят немецкие офицеры. Этот город на юго-западном направлении был уже занят стремительно наступающими войсками вермахта. Седой офицер, вглядываясь в запорожца Евсея Хаскина, усмехается:

— Юдименш?

— Так точно, господин обер-лейтенант, жид. Но голосина, как у Шаляпина, — угодливо подхватил провинциальный интеллигент, ставший позавчера бургомистром.

А на сцене в крестьянской вышитой свитке уже лихо отплясывает запорожский гопак чернявый подросток лет тринадцати.

— Во дает Татарин, — кричат из зала юные поклонники.

Татарин — уличная кличка Арона, сына Евсея Хаскина.

Бургомистр переключает внимание обер-лейтенанта на Арона Хаскина:

— Тоже жид-жиденок. Но как танцует! Я, господин обер-лейтенант, видел в Париже самого Вацлава Нижинского. Но этот жиденок Арон будет танцевать получше...

— Станцует, — усмехаясь, шепчет рыжий офицер своему соседу фельдфебелю, — но только на том свете. И уже скоро...

Красноармеец Широков и его сын Колян стоят на поселковом кладбище перед гипсовым надгробием. С фотографии на отца и сына смотрит молодая смеющаяся женщина.

Насупленный, чтобы не разреветься, Колян слышит отцовский шепот. Отец заставляет себя бодро улыбнуться.

— Теперь тебе, Колян, ухаживать за мамой... бурьяны вырывай... цветочки сажай... пусть ей будет там красиво...

Мчится, громыхает в ночи воинский эшелон. На тормозной площадке последнего вагона возле синего маскировочного фонаря дремлет часовой с винтовкой.

А под ним притаился Колян, пристроившись на буфере. Он борется со сном. Но сон побеждает. Вагон встряхивает на стрелке — Колян срывается и кубарем летит на шпалы.

Состав с часовым в последнем вагоне удаляется.

Колян ушибся головой о рельс и потерял сознание. Слышен протяжный крик паровоза. Приближается другой состав. Колян приходит в себя и пытается сползти со шпал...

Арон, что-то напевая и пританцовывая, идет по улице.

На скамеечке перед калиткой играет на гармонике рыжий фельдфебель. Он вскакивает и что-то кричит Арону. Арон показывает ему, что желтая звезда Давида у него есть, приколота к рубахе. Рыжий офицер тычет пальцем в лацкан курточки: вот здесь, здесь юденш должен носить желтую звезду. Продолжая кричать, офицер избивает Арона.

Звезда местной украинской оперы Евсей Хаскин, зажав между колен стальную сапожную лапу с надетым на нее ботинком, приколачивает набойку. Изо рта у него торчат гвозди.

Во двор вбегает Арон. На лице синяки, мальчишка то и дело запрокидывает голову, чтобы унять кровь, капающую из носа. Мать, низенькая полная женщина с желтой звездой на блузке, кричит:

— Сыночек, что с тобой сделали нехорошие люди?!

Захлебываясь от волнения, Арон отвечает:

— Немцы собираются... расстрелять... всех евреев!

Евсей Хаскин выплевывает гвозди

— Не говори такие ужасные глупости, сынок! Ну, будем ходить с желтой звездой... Она что — тебе мешает?.. Кусается или колет в бок?

— Немцы интеллигентные люди... Люди, у которых брюки наглажены, а сапоги блестят, как бабушкино трюмо, не станут людей расстреливать...

Мама платочком вытирает кровь с лица Арона.

— Я мечтал стать советским разведчиком... учил немецкий... точно все расслышал... — говорит Арон. — Уйдем к нашим... Фронт еще близко... Проберемся оврагами... К своим!

От твоих глупостей в моих ушах заведется моль, — вздыхает мама.

— Значит, не хотите уходить? — Арон решителен.

— Мне завтра Тараса Бульбу играть, — говорит Евсей.

— А у меня варенье из райских яблочек варится, — добавляет мама.

— Не уйдем к нашим — будут нам яблочки в раю, — говорит Арон.

— Берта, — обращается Евсей Хаскин к жене, — можно я запущу в трепача молотком?

— Его уже сегодня били, — заступается за сына мама.

— Не уходите со мной? Тогда я ухожу один. К нашим!

— Арон выбегает со двора. Мама кричит вслед:

— Арончик, я тебе пенки собрала. От райских яблочек.

Арон бежит по улице. К его курточке приколота желтая звезда Давида. Он срывает ее и швыряет в пыль.

А по другую сторону фронта, где еще были наши, слоняется Колян. Совсем близко грохочет канонада.

Веснушчатый красноармеец подбирает с земли окурок папиросы. Поднимает голову — перед ним Колян.

— Дяденька, вы моего отца на фронте не встречали? — спрашивает он. — Широков фамилия...

— Спички есть? — Красноармеец растирает на ладони табак из окурка.

Колян вдруг видит знакомого младшего командира.

— Дяденька командир... Я Широков... Где мой папка?

— А, эт-то т-ты... в-верб-блюд... — узнает его младший командир. Он заикается. — Ран-н-иило Широк-кова позавчера... Т-тяжело... В г-госпиталь оп-п-ределили...

— Дяденька, где этот госпиталь, скажите?

— Ох, х-хлопчик, из м-моей к-контуженной г-головы всю п-п-память в-в-вышибло, — говорит младший командир.

Усталый, в забрызганном кровью халате хирург полевого госпиталя Семен Эммануилович, светловолосый, похожий на латыша, листает толстенную амбарную книгу.

— Широков... Широков... Петр Васильевич... так, так... Не помню: не я оперировал...

Колян стоит перед ним в пилотке, в солдатских не по размеру башмаках и красноармейских обмотках до колен.

— Вот, нашел... «Широков П.В.»... — Хирург отводит от Коляна глаза. — Ранение в голову... умер шестнадцатого октября...

Колян уныло покидает госпитальную палатку.

Санитары сгружают с телеги свежеструганые гробы. Дождавшись, когда снимут последний, Колян привычно залезает в телегу и дергает за вожжи: «Пшла, Мурка».

За госпиталем в подлеске свежие холмики с фанерками на колышках. Колян идет, вглядываясь в надписи... Вот она, отцовская могилка: «Широков П.В.».

Колян застывает. Глаза влажнеют, комок в горле. Он вдруг падает на колени, целует землю на холмике. Вздрагивают плечи.

Арон брел полями, ночевал в оврагах — старался быть подальше от дорог, по которым катили немецкие машины и мотоциклы. Он видел их издали едва различимые...

За околицей аккуратный бело-синий плакат с приказом гитлеровского командования: «Все, кто будет оказывать помощь евреям, будут подвергнуты расстрелу».

Голод толкает Арона к крайней хате. У крыльца заливается лаем собака. В форточку высовывает голову бабка. Арон просит:

— Бабушка, я вам станцую украинский гопак, а вы мне — хлебушка... Или картошки... Так есть хочется.

Арон танцует перед окном бабки под аккомпанемент собачьего лая. Бабка вглядывается в него и вдруг орет:

— Жид! Жид пархатый! Держи жиденка!

Бабка выбегает из хаты. Арон удирает. Бабка спускает с цепи собаку, которая гонится за Ароном. Арон хватает камень и запускает им собаке в голову. Собака отстает.

Вбежав в рощицу, Арон спотыкается об орудийный лафет. Падает. Оглядывается. Среди деревьев стоят несколько советских пушек-«сорокопяток» — трофеи немцев. На щитке одной Арон читает: «Мы с Ваней Горленко держим оборону. Петя из Ярославля помирает, ул. Щорса, дом 4. Я, Никаноров Максим, ранен в голову. Жил в Серпухове, ул. Пушкина, 19. Кто прочтет, сообщи нашим женам».

У Арона нет ни ручки с пером, ни чернильницы, ни карандаша... Он решает запомнить, вызубрить нацарапанное на орудии.

— Ваня Горленко... Петя... Ярославль, Щорса, четыре...

Неподалеку на поляне к дереву прислонена винтовка, а рядом в высокой траве барахтаются немец часовой и русская девушка. До них доносится голос Арона:

— Никаноров Максим, Серпухов, Пушкина, девятнадцать...

Немец вскакивает на голос и, натягивая штаны, хватает винтовку. Он видит Арона, кричит, вскидывая винтовку:

— Юдименш — капут!

Растрепанная девушка поправляет платье.

— С чего, Ганс, ты взял, что мальчик — еврей? — спрашивает она, пожимая плечами. — У него на лбу не написано.

— Я татарин... Ахмед, — произносит Арон.

— Татарин?.. Вас ист дас — татарин Ахмед? — спрашивает немец.

— Про Чингисхана слыхал? — объясняет немцу девушка. — И еще хан Батый был... — Она просит Арона: — Скажи, мальчик, Гансу что-нибудь по-татарски...

Находчивый Арон тарабанит:

— Буль-буль-гуляш-ой-люля-ля-кебаб-рагу-киш-миш-арьян-пенки, брынза-бры-бры...

Девушка кивает, подтверждая, что Арон говорит по-татарски. Немец опускает винтовку.

— А хотите, станцую по-татарски? — спрашивает Арон и грациозно, красиво танцует, переходя с плавных движений на дробную чечетку.

Девушка и немец аплодируют.

На поляну выскакивают четверо с чумазыми небритыми лицами. Они валят немца на землю и всаживают ему между лопаток штык-кинжал. Девушка визжит. Ее с размаху бьют по лицу. Танцевавшего перед немцем Арона отшвыривают в сторону...

Колян едет на госпитальной, с красным крестом на боку телеге, прижимая к себе фанерный крашеный обелиск.

Молодая женщина с груднушкой на руках сидит перед могильным холмиком. На нем на фанерке надпись: «Широков П.В.» Женщина, всхлипывая, говорит ребенку:

— Твой папочка здесь... так и не увидел тебя... не поцеловал, сыночка своего... теперь мерзнет в земле...

Колян тащит на горбу обелиск и видит молодую женщину, сидящую перед его — его отца! — могилкой с фанеркой, на которой та же, что и на обелиске, надпись: «Широков П.В.»

Колян кидается к холмику

— Нет, это мой папка здесь! — вскрикивает Колян.

Женщина поднимает на Коляна заплаканные глаза.

— Нет, здесь мой Петя... мой Петя! — кричит она.

— Мой папка тоже Петр!

Женщина достает письмо-конвертик. Разворачивает и говорит:

— Вот, это написали мне сослуживцы мужа... из его части: «Госпиталь 19/23. Широков Петр Владимирович...»

— Владимирович? — переспрашивает Колян. — А мой папка — Васильевич...

Мальчика переполняет радость: значит, отец жив!..

Пока старший из четверых разведчиков, Орлик, оглядывает окрестности, Арон рассказывает анекдоты:

— Знаешь, кто самые воинственные люди? Финны!

— Не трепись, Арончик, — высказал сомнение Орлик. — мы им в 40-м крепко дали!..

— Нет, самые воинственные — финны... Потому что спят с финками.

— С бабами-финками или финками-ножами? — уточняет Орлик и вздыхает: — Так ты красиво перед фрицем танцевал, что самый раз тебе морду набить.

Ночь. Канонада. На небе вспыхивают и гаснут ракеты. Разведчики возвращаются к своим. Орлика накрыли плащ-палаткой, и он, светя карманным фонариком, сверяет по карте обратный путь. Выбравшись из-под плащ-палатки, он говорит:

— К утру перейдем фронт.

— К нашим? — обрадовался Арон.

— Только бы на фрицев не нарваться...

Разведчики пробираются степью, то пригибаясь, то ползком.

Орлик остановился и показал в сторону ночного боя.

— Вот за тем пригорком нас встречают, — сказал он.

— Здесь нам не пройти, — заметил хмурый разведчик.

— Идем южнее, — приказал Орлик, — может, на стыке с «Восьмой» подфартит.

Неподалеку проехали мотоциклы с колясками, из которых торчали пулеметы. Доносилась немецкая речь. Рычали танки. Орлик прошептал:

— Уносим ноги. Засекут — считай, покойники...

За деревом шевельнулся немецкий часовой. Он что-то успел крикнуть, прежде чем Орлик всадил нож ему в шею. Из замаскированного блиндажа на предсмертный вскрик часового выскочил немец, и его успел снять ножом Орлик.

Двое разведчиков с автоматами открыли люк и спустились в просторный блиндаж. В нем вповалку спали немцы. Разведчики разбудили их, слепя лучами карманных фонариков. Немцы увидели наставленные на них автоматы и застыли.

Разведчики перешептываются:

— Сколько «языков»...

— Эх, стрельнуть нельзя!..

— Снаружи услышат: вокруг немец на немце...

— Сразу каюк...

Орлик по праву старшего командует:

— Выгоняйте фрицев наверх по одному... А там мы с Ароном...

Орлик выбирается из блиндажа в ночь и становится у люка. Рядом с ним Арон.

Из блиндажа выталкивают немца, и Орлик с размаху, сжимая нож обеими руками, всаживает лезвие немцу в грудь.

— Считай паскудные фашистские души... — шепчет Орлик.

— Один... — шепчет Арон, трясясь от ужаса.

Из блиндажа выбирается второй немец — и в него вонзается лезвие штыка-кинжала Орлика.

Немцы в блиндаже сбились в кучу, не спуская наполненных ужасом глаз с гранаты, зажатой в руке разведчика, и тихо скуля.

Второй разведчик вытолкнул прикладом следующего...

Орлик закалывал немцев, как хряков на бойне. И при каждом ударе его штыка-кинжала Арон в ужасе закрывал глаза.

Арон отводит глаза от окровавленного лезвия кинжала...

— ...Двадцать один... — считает он шепотом.

Вокруг него лежат убитые Орликом, и он оттаскивает их за ноги в сторону, чтобы освободить место следующему...

К блиндажу бредет немец с ведром воды. Орлик в три прыжка метнулся к нему, всадил нож-штык в грудь — немец и не понял, что произошло.

— Этого тоже считать? — сросил Арон, когда Орлик вернулся к входу в блиндаж.

— Считай.

— Двадцать два, — шепчет Арон.

В блиндаже осталось совсем мало немцев. Похоже, они не догадываются, что происходит с их «комрадами» за дверью...

Арон шепотом считает...

Разведчики выталкивают последнего немца с серебряными витыми офицерскими погонами. Заколотый Орликом, он дергается у ног Арона и замирает.

Орлик поворачивается к Арону и ухмыляется:

— Ну чё — привык?

— Они... — дрожащим голосом произносит Арон. — Они по ночам вам будут сниться...

— Это я фрицам буду сниться, — отвечает Орлик. — Уже на том свете...

Разведчики выбрались из блиндажа. Орлик с прежней ухмылкой говорит:

— Двадцать шесть... На каждого из нас почти по семь фрицевских душ — представлю всех к медалям. Или «За отвагу», или «За боевые заслуги».

Пересекли линию фронта ночью. Продвигались к своим по заболоченной пойме. Она простреливалась нашими и немцами. Разведчики ползли в вязком болотном месиве, выплевывая грязь.

Арон потерял башмак, заволновался, попытался найти его в болоте. Орлик шикнул на него:

— Башку продырявят, второй башмак будет не нужен...

Над головами свистели пули. То там, то здесь вспыхивали фонтанчики грязи.

Рассветало. Сидящий на коряге красноармеец вдруг увидел в густой жиже грязи чью-то голову со слипшимися волосами и с размаху саданул по ней при-

кладом. Из грязи на него выскочили трое с криком: «Свои!» Очумевшего от удара Арона подхватили чьи-то руки.

Седой капитан с дюжиной орденов и медалей на груди стукнул по столу кулаком и заорал:

— Шпионы, диверсанты! Я на ваши сказки кладу с прибором!

Перед ним стояли мокрые, грязные разведчики со связанными руками и очумевший от удара прикладом Арон.

— Ты что, капитан, тупой? — спокойно спросил Орлик. — Я же тебя прошу по-русски: «Позвони «Двенадцатому»!

— Это я тупой?! — Седой подлетел к Орлику и ударил его кулаком в лицо.

Орлик засмеялся и с оттяжкой плюнул седому в его наглые глаза.

Красноармейцы кинулись защищать честь своего командира. Орлика повалили на пол и стали дубасить ногами.

Арон кинулся к Орлику с мальчишеским криком:

— Лежачего не бьют!

— Верно, лежачего не бьют, — сыграл в благородство седой.

— Тупой есть тупой, — упрямо повторил Орлик. — Не позвонишь «Двенадцатому» — в штрафбат упеку!

— Угрожаешь, шпионская морда, — неожиданно спокойно произнес седой капитан. — Я тебя с твоими гавриками сейчас бы расстрелял... но сперва помучайтесь ночь... СМЕРШ расстреливает на рассвете!..

— Это царь на рассвете вешал, — огрызнулся Орлик. — Декабристов, например.

— Хочешь, я тебя тоже повешу? — с садистской улыбкой спросил седой капитан. — Запросто повешу, гад-диверсант. В виде исключения. А их, — он показал на остальных разведчиков и Арона, — снабжу пулей в лоб! — И скомандовал красноармейцам: — В погреб шпионов!

В погребе нашли бочку прошлогодних соленых огурцов. Разведчики оттирали их от плесени об марлю, которой была накрыта бочка, и грызли. Было сыро и холодно.

— Надо же, на такого тупого нарваться, — сказал кто-то из них. — Ну что ему стоило позвонить «Двенадцатому»?..

Он словно подхлестнул Орлика. Тот метнулся к подвальному люку и принялся колотить по нему кулаком.

— Жрать не ждите, — ответил снаружи часовой и хихикнул. — До рассвета от голода не подохнете, а там в раю вас накормят яичницей с салом!

— Скажи своему тупому, чтоб звонил «Двенадцатому»! — орал Орлик.

— Не позвонит, седая вошь, — произнес за спиной Орлика хмурый разведчик. — Тупой есть тупой.

Орлик отлип от люка, схватил огурец, понюхал, словно закуску после стопки, отшвырнул.

Стало тихо, только в погреб доносились выстрелы и шаги часового снаружи у люка.

И в этой жуткой тишине Арон вдруг предложил:

— Хотите анекдот?

Ему не ответили. На Орлика напала нервная зевота, ему никак не удавалось сомкнуть губы. Но Арон начал рассказывать:

— «Едет еврей на велосипеде. Ему навстречу другой еврей, спрашивает: «Где ты, Абрам, достал такой красивый велосипед?» Абрам и отвечает: «Познакомился я с одной дамочкой, она позвала меня к себе домой, раздалась и говорит: «Бери, Абрам, все, что хочешь». Я взял этот красивый велосипед.

Арон засмеялся. Разведчики угрюмо молчали.

— Я бы велосипед не взял... — наконец произнес Орлик.

Арон продолжил:

— Еще анекдот: «Моисей сказал: «Все от бога». Соломон сказал: «Все от головы». Карл Маркс сказал: «Бытие определяет сознание». Троцкий сказал: «Завтра будет мировая революция». Надо же, сколько евреев, столько и мнений!

Орлик внимательно посмотрел на Арона.

— Взрослому за такой анекдот дают десять лет, а тебе, сопляку, я дам по шее. — Он развернулся и ударил Арона. — Чтоб запомнил, чего можно говорить, а чего опасно!

Щели между досками рассохшегося люка светлели. За линией фронта, у немцев, вставало солнце.

Загромыхал замок. Люк распахну-

ли. Над погребом стояли красноармейцы с автоматами.

— Выходи, — послышалась команда.

Выбравшись из погреба, Орлик увидел какое-то странное, растерянное, не похожее на вчерашнюю свирепость выражение лица седого капитана.

Рядом с ним стоял, опершись на крыло полуторки, майор с чапаевскими усами и со Звездой Героя Советского Союза на гимнастерке.

Орлик не стал выказывать радость. Следом за ним из погреба вылез Арон, и Орлик спросил у него спокойно, даже насмешливо, указывая глазами на майора:

— Знаешь, кто это?..

— Чапаев, — выпалил Арон.

— Нет, это «Двенадцатый»! — Орлик, сверля глазами седого капитана, подошел к нему и прошипел: — Ты капитан, я капитан. — И с разворота кулаком ударил его по лицу.

Седой капитан отшатнулся, бормоча:

— Ты что? — я же позвонил «Двенадцатому»!..

Майор с чапаевскими усами и Звездой Героя насмешливо смотрел на них и не вмешивался. Орлик продолжал молотить седого, а вокруг них танцевал лезгинку Арон, выкрикивая:

— Асса! Асса! Так его! Мы с вами, Орлик, аж двадцать шесть фрицев, как свиней, закололи, а седой нам — «шпиёны»!

И, танцуя, Арон исподтишка пнул седого ногой в зад.

— Отставить, Орлов! — наконец скомандовал майор Орлику и, как артист Бабочкин в прославленном фильме, разгладил усы. — Теперь вы, два капитана, квиты!

Полуторка мчалась по степи.

Майор, Герой Советского Союза с чапаевскими усами, сидел рядом с шофером. Разведчики и Арон разместились в кузове под брезентовой халабудой. Выбритые разведчики пили по очереди красное вино и закусывали яблоками из корзины. Арон рассказывал им анекдот:

— «Два еврея — это шахматный турнир, три еврея — государственный симфонический оркестр...»

Раздался рев штурмовиков.

Над полуторкой низко летел штурмовик — кресты на фюзеляже и крыльях. Прогремела пулеметная очередь.

Арон высунулся из-за брезентового полога и, задрав голову, рассмеялся:

— Как же ихний летчик догадался, что я еврей?!

Грохочет выстрел — перед полуторкой снаряд вырывает на проселочной дороге воронку, забрасывая землей стекло кабины. Шофер выворачивает руль, чтобы не въехать в яму. Полуторка втыкается буфером в придорожное дерево, мотор глохнет.

Неподвижная на дороге машина — хорошая цель.

Штурмовик делает второй заход — прямое попадание.

По степной дороге едет на телеге со свежеструганными гробами Колян. Моросит нудный осенний дождь. Колян хлещет кнутом унылую лошаденку.

Он замечает впереди на дороге развороченную снарядом груду железа — все, что осталось от полуторки.

С кабины снесена крыша. Колян заглядывает... В полевом госпитале он уже научился отличать мертвых от живых.

Майор с чапаевскими усами и шофер мертвы. И в кузове все мертвы — все четверо разведчиков.

А вот чернявый пацан еще дышит... Это Арон, и он начал бредить:

— Ярославль, Щорса, четыре... Серпухов, Пушкина, девятнадцать... Ярославль... четыре... Горленко...

Места для Арона на телеге не нашлось, и Колян уложил его в пустой гроб.

Хирург военно-полевого госпиталя Семен Эммануилович оперировал Арона. Ассистировал фельдшер Егорыч, нестроевой, с черной, как у пирата, повязкой на выбитом глазу.

Семен Эммануилович скомандовал:

— Зажим. Быстро!

Егорыч подал. За его спиной прошептал Колян:

— Ну чё, Горленко выкарабкается?

— Брысь!

Егорыч обернулся к приподнятому пологу палатки, в которую заглядывал Колян.

— Брысну, — пообещал Колян, — только скажи, этот Горленко выкарабкается?

Егорыч грозно шагнул в его сторону — голова Коляна исчезла.

В госпиталь приехала фронтовая бригада артистов. Перед палатками была сколочена из досок эстрада. Выздоравливающие сидели на земле, на скамьях. Некоторых принесли на носилках.

Исполняла русские песни усталая девушка в декольтированном концертном платье. Жгучий брюнет пел цыганские романсы.

Колян и Арон сидели рядом. Среди раненых.

— Дорогие друзья, — обратился к зрителям конферансье, он же скрипач. — Наш концерт окончен.

— Нет, не закончен! — закричал, поднимаясь со своего места, Арон. — Я вам сейчас так сбацаю!

Колян пытался его удержать.

Семен Эммануилович ужаснулся:

— Он что, обалдел? Шов может разойтись! Арон Хаскин! — закричал Семен Эммануилович, пробираясь к сцене. — Я запрещаю тебе танцевать!

Но Арон уже был на сцене.

— Я осторожно... без высоких прыжков... — пообещал Арон и кивнул скрипачу и баянисту: — Выдайте чего-нибудь под чечетку...

И Арон пошел чечеточным дробным шагом под мелодию скрипки и баяна.

Скрипач, конферансье, он же руководитель фронтовой бригады артистов, дождавшись окончания операции, подстерег хирурга Семена Эммануиловича у палатки.

— Хочу взять мальчика к себе, — сказал он.

— Какого мальчика? — не сразу понял Семен Эммануилович.

— Ну Хаскина... Танцора, — уточнил конферансье.

— Хотите спросить, не возражаю ли я как врач? — нахмурился Семен Эммануилович. — Возражаю по медицинским причинам.

— Но он уже отбил степ... И шов не разошелся, — не унимался руководитель бригады. — Обещаю, я буду беречь мальчика... У Арона блестящее будущее. Вернемся в Москву, устрою его в Хореографическое училище при Большом театре... Прогремит на всю страну...

Полуторка фронтовой бригады артистов стояла у госпиталя перед лесной дорогой. Арона провожал Колян.

— Ну-ну, повтори... — потребовал Арон.

— Так я же записал!.. — сказал Колян.

— Бумажку можно потерять, а память только контузия отшибет... Давай, давай!

— В Ярославле — Щорса, четыре, — сказал Колян. — В Серпухове — Пушкина, девятнадцать...

— Кто из нас двоих жив останется, непременно пусть ихним женам напишет, — сказал Арон. — Ну, я поехал...

Он направился к полуторке. Из палатки выскочил Семен Эммануилович и вручил Арону пышку величиной с патефонную пластинку.

— Сам тебе испек. Ешь и танцуй, — сказал Семен Эммануилович и обнял Арона.

Вечерело. Полуторка ехала по лесной дороге.

Арон сидел в кузове вместе с артистами. Он предлагал всем подаренную ему пышку, но одна артистка покачала головой и сказала ему:

— Нет, Арон. Завтра захочешь есть...

Артисты пели, Арон подпевал, баянист играл.

Луч фары скользнул по брезентовому боку полуторки, через дыры от осколков просочился в кузов.

Арон выглянул. На него уставился ствол пулемета.

Пулемет был установлен на мотоциклетной коляске. За ним сидел немец в черном клеенчатом плаще и в каске. Рядом светили фарами еще два мотоцикла с пулеметами.

Немцы прорвали фронт. Эсэсовцы хозяйничают в госпитале, вбегают в палаты и расстреливают из автоматов тяжелораненых.

Семен Эммануилович, кинувшийся к офицеру, что-то твердит по-немецки.

Офицер терпеливо выслушивает его, внимательно разглядывая: светловолосый, северный тип лица, говорит по-немецки.

— Вы есть русский дойчман?

После паузы Семен Эммануилович вынужденно кивает.

Одноглазый фельдшер Егорыч, нехорошо ухмыльнувшись, поправил свою черную, как у пирата, повязку.

Перед правлением колхоза «Красный пахарь» стояли мотоциклы с пулеметами на колясках. Возле них топтался часовой с автоматом.

Артисты фронтовой бригады разместились в пионерской комнате сельской школы. На стене даже сохранился портрет Сталина с девочкой Мамлакат.

Вбежал Арон. Он разжал перед руководителем кулак — в ладони было несколько окурков. Баянист схватил, стал растирать остатки табака, исполнитель цыганских романсов уже заготовил обрывок газеты, на него ссыпали табак... Свернули цыгарку. Баянист аппетитно затянулся...

— Я вам еще настреляю, дядя Валера, — пообещал Арон.

Он был счастлив, что добыл курево своим новым старшим друзьям.

— Поменьше шляйся по улицам, Ароша, — сказала певица.

Идет по улице рыжий офицер. Он курит толстую сигару.

Арон идет за ним следом. Шагах в пяти. Ждет, когда офицер докурит и бросит на землю шикарный сигарный окурок... Но, докурив сигару до половины, аккуратный, бережливый по-немецки рыжий офицер спрятал окурок в портсигар.

Арон так громко разочарованно вздохнул, что офицер обернулся. Мальчик узнал его. Это он, рыжий, избивал Арона за то, что он приколол звезду Давида не на курточку, а под нее, на рубаху...

Арон кинулся удирать. Пропетляв по улице, метнулся в чей-то двор. Офицер выстрелил и попал Арону в ногу. Но, несмотря на боль, Арон смог убежать, оставляя на земле кровавые следы.

По улицам села ездил немец-мотоциклист и кричал в рупор:

— Кто прячет маленький еврей, будет расстрелян! Кто укажет, где этот маленький еврей, получит бутылку немецкий шнапс и пуд муки — приз!

В избы колхозников врывались патрули.

Солдаты ворвались в домишко на окраине. Их встретила чистенькая старушка в розовом кружевном чепце и заговорила с ними по-немецки.

Солдаты опешили, услышав здесь, в русской глухомани, такой чистый немецкий язык. Старушка сказала им, что она — немка, учительница немецкого языка, что недавно умер муж-немец, пострадавший от большевиков. Она предложила солдатам чаю. Но те отказались, так как у них задание: найти и застрелить маленького еврея.

Растроганные встречей с соплеменницей, солдаты высыпали на стол все, что у них было в карманах, — шоколад, галеты, плавленые сырки, курагу, кофе...

Когда за солдатами закрылась дверь, старушка поспешила к окну: было видно, как они покидают двор. Старушка подошла к комоду и выпустила на волю Арона. Она сказала ему:

— Мои предки приехали в Россию три столетия назад. Я полюбила Россию, и мне стыдно за немцев, которые убивают не только взрослых, но и детей...

А по улице все еще ездил мотоциклист и кричал в рупор:

— Кто прячет маленький еврей, будет расстрелян!

Семен Эммануилович в белом фартуке и высоком накрахмаленном колпаке служил теперь поваром при столовой для немцев на узловой железнодорожной станции. Колян — тоже в белом фартуке и колпаке — был при нем поваренком. Вошел немец солдат. Семен Эммануилович строго, с достоинством сказал ему по-немецки, что без белого халата входить на кухню он не разрешает. Семен Эммануилович налил в супницу борща, и Колян отнес ее немцу. Тот щелкнул каблуками и удалился с фаянсовой супницей в руках.

В оконце постучали. Семен Эммануилович обернулся.

В оконце одним своим глазом заглядывал Егорыч, фельдшер из госпиталя с черной, как у пирата, повязкой на лице.

Семен Эммануилович, озираясь на дверь, достал из ящика кусок вареного мяса, кивнул Коляну.

— Отнеси гаду.

Колян, приоткрыв раму, сунул мясо Егорычу.

— А сахарку, а? — попросил Егорыч.

— Сахару нету. Может, завтра привезут сахарин, — сказал Семен Эммануилович.

— Не будет сахару — скажу, что ты никакой не немец, а жид пархатый, — сказал Егорыч и пригрозил кулаком, — и тебя — к стеночке, к стеночке... Пуля в лоб, мозги на стеночке...

Старушка в розовом чепце перевязывала простреленную офицером ногу Арона и печально качала головой.

— Не знаю, что и делать, — нога распухает...

Арон пил немецкий кофе, ел шоколад и галеты.

В селе началась стрельба. В домишко доносились автоматные очереди, взрывы гранат, какие-то крики... По улице с грохотом пронеслись мотоциклисты.

Когда послышалось родное русское «урра!», Арон, прихрамывая, кинулся на улицу.

— Куда, Арон?! Стреляют! — пыталась удержать его старушка.

Арон отбросил щеколду и выскочил на крыльцо.

По улице бежали люди в телогрейках. Они стреляли на ходу из винтовок и ручных пулеметов Дегтярева.

— Партизаны! Партизаны! — слышались крики соседей.

Арон, прихрамывая, бежал по улице. Старушка в розовом чепце семенила следом.

Напротив правления колхоза Арон увидел, как на сосну залезает парень с наганом за поясом. Он накинул на нижнюю толстую ветку веревку, крепко затянул узел.

Подталкивая прикладами, партизаны подвели к сосне того самого рыжего офицера, который ранил Арона в ногу.

Партизан с наганом за поясом, радостно хохоча, сбросил вниз другой конец веревки с петлей...

К партизанам кинулась старушка в розовом чепце.

— Побойтесь Бога!.. — кричала она. — Разве можно так просто, без суда, лишить жизни человека!..

Вокруг собиралась толпа. В ней Арон увидел своих новых товарищей по фронтовой артистической бригаде. Как и местные колхозники, они смотрели на происходящее молча.

Старушка в розовом чепце не унималась. Она отталкивала от свисающей петли рыжего офицера, кричала:

— Сила войска в гуманном отношении к пленным!

Из притихшей толпы кто-то в тишине сказал:

— Она сама немец-перец-колбаса!

— Немка! Вот и защищает фашиста!

Старушка обернулась на голоса.

— Я ваших детей учила немецкому языку, а вы...

— Лучше бы американскому, — сказал старик партизан, — американцы — наши союзники.

Другой партизан гневно спросил:

— Немка? Фашиста защищает? — И приказал: — В расход бабку!

Парень на сосне вытащил из-за ремня наган и прицелился в старушку.

Арон кинулся к ней и, раскинув руки, встал перед нею. Задрав голову к сосне, закричал вверх:

— Я — еврей, понятно! А бабушка, немка, меня спасла, когда немцы меня хотели убить! Стреляй, стреляй в меня!

Из толпы раздались голоса:

— Лиза Карловна хорошая, хоть и немка!..

— Моего остолопа перевела в пятый класс!..

Колян выглянул в окно.

— Дядя Сема, — встревоженно сказал он. — Какой-то шухер у них!..

— Какую-то важную птицу встречают, — сказал Семен Эммануилович.

На перроне большой узловой станции выстраивалась шеренга солдат в касках. Из вокзальных дверей вышли офицеры. Раздался гудок приближающегося паровоза.

Колян и Семен Эммануилович отпрянули — к окну кухни подходил с дьявольской ухмылкой Егорыч.

— Заварка имеется, а без сахара чаек горек!

— Колян, — хмуро сказал Семен Эммануилович, — принеси ему сахарину.

Хоть и заступалась старушка немка за немецкого офицера, который стрелял в Арона, его все-таки повесили.

Когда аккуратная Лиза вытирала батистовым платочком слезы, к ней по-

дошел насупленный, по-начальственному строгий партизан в длиннополой шинели с орденами на груди — так носили их командиры после гражданской войны — и с командирской уверенностью произнес:

— Вернутся наши — разберутся с вашим происхождением, немецкая бабушка... А пока... Английский знаете?

— Знаю, — пробормотала старушка.

— Учите детей английскому. Англичане и американцы — наши союзники, черт бы их побрал.

Проведя операцию по истреблению немецкого гарнизона в поселке «Красный пахарь», партизаны вернулись в лес.

Там, в лесной глухомани, был расположен партизанский лагерь — землянки, шалаши, несколько палаток, костры...

Командир отряда Федотов — сорокалетний мужчина в глухой гимнастерке-сталинке со Звездой Героя Советского Союза — произносил речь, стоя на высоком пне.

— Еще раз поздравляю вас, товарищи партизаны, с удачной боевой операцией по освобождению колхоза «Красный пахарь» от гитлеровской оккупации!

Арон лежал на «перине» из сложенного в кучу елового лапника. У него болела простреленная нога. Старичок в драном белом халате покачал головой:

— Вроде так, как я думаю... Ох, сказать даже страшно!

— И не говори, дядя Ваня, — сказал парень, который крепил на березе петлю для немецкого офицера. — Это тебе человек, а не корова и бык, коих ты в колхозе лечил.

— И коровы, и люди — живые существа, — с достоинством ответил дядя Ваня. — Я хоть и ветеринар, но в медицине понимаю больше любого тракториста.

— Я не только тракторист, но и орденоносец! — вспылил парень и гордо выпятил грудь с орденом.

На поляне перед сидевшими на траве партизанами пела певица. Играл баян. Федотов сидел на том самом пне, с которого недавно держал речь. К нему подошел дядя Ваня и что-то прошептал на ухо. Федотов соскочил и направился вслед за дядей Ваней.

Арон и парень-орденоносец сидели на еловой «перине». До них долетали цыганские романсы.

— Не болела бы нога, я бы такую чечеточку сейчас отбил, — сказал Арон.

К ним подошли Федотов и дядя Ваня. Федотов хмуро осматривал раненую ногу Арона.

— Вчера чернота была до этого места... — говорил дядя Ваня. — А теперь поднялась сантиметра на полтора...

— Я с этим в гражданскую сталкивался, — сказал Федотов. — Гангрена у парня — сомнений ноль!

Арон знал, что такое гангрена, и смотрел на Федотова переполненными ужасом глазами.

— Да, сынок, — сказал Федотов. — Придется тебе ногу отнять... Иначе чернота поднимется вверх... до самого живота... И тогда даже господь бог уже не поможет...

В вокзальном ресторане завтракали офицеры и генералы. Во главе стола был прибывший на узловую станцию фельдмаршал фон Манштейн, еще не старый мужчина в парадном мундире при орденах и железных и золотых крестах.

Солдат в белом переднике внес большой поднос с бутербродами. Это были не просто привычные стандартные бутерброды — это были произведения кулинарного искусства с тонким сочетанием сыра, ветчины, мяса, икры и трав.

В фельдмаршале Манштейне чувство восторга сменилось чувством удивления.

— Откуда на этой глухой русской станции такое чудо?

Фельдмаршал аплодировал, как в театре. Он потребовал:

— Автора на ресторанную сцену!

А в эту минуту под окном кухни вертелся Егорыч. Приоткрыв раму, Семен Эммануилович протянул ему сверток.

Егорыч развернул — разочарование на лице.

— Снова маргарин... Чтоб к завтра приготовил мне сливочного масла! Понял, жидовская морда?

Распахнулась дверь. Семен Эммануилович испугался: решил, что его засекли за разбазариванием маргарина.

Испуганный Егорыч исчез, присев под окном.

Вошедший офицер приказал:

— Надеть белый фартух! Надеть на лицо улыбку! Вас ждет великий полководец германской армии фельдмаршал фон Манштейн!

Фельдмаршал встал навстречу Семену Эммануиловичу. Он протянул ему хрустальный бокал с золотистым коньяком. Поднял свой бокал и произнес тост:

— Три столетия назад русский император Петр Великий призвал на службу к себе в Россию сотни образованных культурных немцев. Немецкая кровь смогла выстоять в условиях русского варварства и сохранить свою талантливость. Я пью за вас, талантливый представитель немецкой нации в России! За вас, господин...

— Габсбург, — с серьезным, невозмутимым лицом произнес Семен Эммануилович.

— О!.. — воскликнул пораженный фельмаршал. — Да вы еще потомок древнейшего рода германских императоров... — И снова зааплодировал.

Вместе с ним Семену Эммануиловичу аплодировали сидевшие за столом немецкие полковники и генералы.

Семен Эммануилович вернулся к себе на кухню, давясь от смеха. Он был в новенькой немецкой форме. С погонами.

Колян, увидев его, обомлел.

— А где приветствие? Где честь? — весело спросил Семен Эммануилович. — Фельдмаршал фон Манштейн произвел меня аж в фельдфебели.

В окне появилось лицо Егорыча с черной, как у пирата, повязкой. Своим единственным глазом он колюче смотрел на Семена Эммануиловича.

— Чё вырядился? Сколько колбасы дал складским за немецкую форму? — спросил он.

Колян кинулся к нему, чтобы рассказать, откуда форма. Семен Эммануилович Коляна остановил. Егорыч пригрозил:

— Значит, дашь завтра сливочного масла и шоколада. Не то... пуля в твой жидовский лоб. Согласно немецким законам.

Семен Эммануилович приоткрыл раму и вдруг молниеносным движением сунул дулю в нос Егорычу. Тот опешил. А потом пришел в себя и побежал.

Он примчался на вокзал. Стоявшие у входа в ресторан часовые остановили его.

— Ваш повар жид еврейской национальности! — орал Егорыч.

На крик вышел подполковник с железным крестом на груди.

— Ваш повар — жид! — бесновался Егорыч. — Смерть жидам!

Подполковник выслушал его, трясущегося от ненависти, и произнес четко и внятно.

— Наш повар — Габсбург! Сам фельдмаршал фон Манштейн отметил талант его немецкой крови! — И что-то приказал часовым.

Те схватили Егорыча за шиворот и, несколько раз ударив прикладами по спине, погнали прочь.

В сумерках в лесной глухомани перед палаткой с красным крестом на брезенте партизаны разожгли костер. Ветеринар дядя Ваня сокрушался:

— Как же без анестезии?... Даже телке — и той больно... Бедный хлопчик...

В палатке на «перине» из хвойных веток лежал Арон. Парень с наганом за ремнем поднес ему консервную банку со спиртом.

— Выпей, Арон... Не так больно будет...

Арон мотнул головой.

— Да если бы мне поднесли столько спирта... — сказал парень. — Я бы выпил, не моргнув... Эх! — Он отпил из банки глоток. — Вкусно-о! Что ж ты за мужик, если боишься?

— Ничего я не боюсь, — ответил Арон. — Просто неохота.

— А ты выпей за папу-маму... Вдруг живы-здоровы, — уговаривал парень. — Вдруг немцы их еще не убили...

Арон мотал головой, отказываясь пить.

Вздыхая, ветеринар дядя Ваня раскаливал на костре плотницкую пилу-ножовку — стерилизовал. Приговаривал:

— Да за какие грехи мальцу такие страдания?!

Парень с наганом совал Арону банку со спиртом.

— Выпей, Арон, за папу-маму.

Арон отвернул лицо.

— Как твоих родителей зовут?

— Евсей и Берта...

— Вот и выпей за Евсея и Берту... — уговаривал парень. — Чтоб им на этом свете было хорошо...

— У немцев остались... — сказал Арон.

— Все одно выпей... Вдруг им аукнется на том свете.

Арон, морщась, выпил содержимое банки. Спирт был высокого градуса — перехватило дыхание, выступили слезы.

Парень налил в банку еще граммов двести.

— Видишь, Арончик, совсем не страшно! Еще раз выпей — и я от тебя отвяжусь...

Арон выпил и впал в бесчувствие.

Его вынесли из палатки и положили на постеленную на земле белую простыню. Четверо партизан приготовились держать его за руки — за ноги.

Арон крепко спал, посапывая.

Но когда дядя Ваня поднес к его ноге «хирургический инструмент» — раскаленную докрасна плотницкую пилу — и провел ее разведенными зубьями по ноге, Арон так закричал, что проснулись на ветках вороны.

Арон рвался, стонал, кричал, выл...

Дядя Ваня пилил, пилил... Четверо партизан держали бьющегося в конвульсиях Арона...

Женщины партизанки плакали, не в силах смотреть в ту сторону...

Плакала певица из фронтовой бригады артистов. Хмуро молчали баянист и конферансье.

В своей палатке командир отряда Федотов, коммунист-атеист и секретарь обкома, крестился.

Арон орал, выл по-звериному от страшной боли... И вдруг затих, потерял сознание. В лагере установилась такая тишина, что стало слышно, как возятся на деревьях разбуженные криками мальчика птицы.

Немецкий офицер, симпатизировавший Семену Эммануиловичу как потомку великих Габсбургов, тот самый, который приказал прогнать Егорыча, явился на кухню.

— Разговор тет-а-тет, — сказал он Семену Эммануиловичу.

— Колян, мигом в погреб за бараниной, — приказал Семен Эммануилович.

Когда за Коляном закрылась дверь, офицер зашептал:

— Наша армия сокращает фронт... На днях мы оставим станцию... Фельдмаршал фон Манштейн поручил мне о вас позаботиться...

— Я польщен...

— Потомок Габсбургов должен жить на своей исконной родине — в Германии... — сказал офицер. — Эвакуироваться будете в моем «опель-адмирале»...

На окраине поселка шел бой. Гремели выстрелы. Офицер вбежал в кухню — Семена Эммануиловича и Коляна там уже не было.

Офицер метался по перрону — искал потомка Габсбургов...

Колян выглянул из-под вагонного колеса.

Неподалеку вскакивали в теплушки немецкие солдаты.

Семен Эммануилович силой затащил Коляна в ремонтную яму под вагонами, заваленную ржавым железом.

В яме они просидели двое суток. Запасливый Колян прихватил с кухни кусок отварного мяса, хлеб. Совсем рядом взорвался снаряд, и их засыпало землей.

Ночь они проспали, прижавшись друг к другу. На рассвете Колян снова выглянул из-под вагонного колеса.

— Наши! — заорал он.

Оставив в яме форму немецкого фельдфебеля, Семен Эммануилович и Колян выбрались из ямы.

На площади перед вокзалом стояла полевая кухня. К ней выстроилась очередь из местных жителей. Повар-красноармеец вывалил в котел двухлитровую банку американской тушенки, размешал черпаком и стал накладывать в миски и тарелки горячую кашу.

Семен Эммануилович увидел остановившийся «виллис». Он подошел к офицерам с орденами и медалями и сказал:

— Я хирург полевого госпиталя номер 19-27...

— Немцы убили раненых, — встрял в разговор Колян, — мы еле ноги унесли...

Через площадь торопился к ним Егорыч. Он нес над головой портрет

Сталина, прибитый к черенку от лопаты, и кричал:

— Держите немца! Переодетый фашист! Где-то тут спрятал форму! Фельдфебель!

Он подбежал к «виллису», тыча пальцем в Семена Эммануиловича, орал:

— Это внук германского императора Габсбурга! Его любил фельдмаршал Манштейн!

Бдительные офицеры тут же затолкали Семена Эммануиловича в «виллис».

Колян вскочил в «виллис» следом. Его тут же вышвырнули обратно.

«Виллис» умчался.

Счастливый Егорыч вернул Коляну дулю, полученную от Семена Эммануиловича, и торжествующе засмеялся.

Над высокой насыпью идет санитарный поезд. Это армейский госпиталь на колесах. На вагонах красные кресты в белых кругах. Федотов всматривается в бинокль.

— Отмылись в своей Германии. Запаслись лекарствами... Бинтами...

Перед паровозом со свастикой на торце катит открытая железнодорожная платформа. На ней за тяжелыми бумажными мешками прячутся немецкие солдаты в касках.

Голубое небо, лесное спокойствие — пение птиц да стук колес на стыках рельсов.

Вдруг вспыхивает стрельба – винтовочная, автоматная, пулеметная. Из пробитых пулями мешков струится песок. Из-за мешков солдаты палят из автоматов в зеленую лесную неизвестность.

На склоне насыпи в тесном неглубоком окопчике сидит, притаившись, парень-бородач. С надвигающейся открытой платформы немцам он незаметен.

Парень выскакивает из своего укрытия и ставит на шпалы перед самой железнодорожной платформой дощатый ящик с торчащим штырем. Кубарем скатывается по насыпи обратно в свой окопчик.

Вагонная рессора задевает торчащий из ящичка с миной штырь. Гремит взрыв – дым заволакивает головную платформу, паровоз, несколько вагонов с красными крестами.

Стреляя на ходу из автоматов и ручных пулеметов-«дегтярей», из лесу идут в атаку на госпитальный состав партизаны, одетые кто во что.

С опушки леса за боем наблюдает Федотов. Стрельба постепенно утихает. Слышны вздохи паровоза.

Госпитальный состав с красными крестами стоит на зеленом фоне близкого леса. С головной платформы спрыгивают немцы с поднятыми руками. Партизаны пленных не берут. Сраженные вспышкой автоматных очередей, в сером оседающем дыму, смешанном с белым паровозным паром, немцы падают на шпалы.

Из санитарных вагонов партизаны выгоняют медперсонал. Большинство — аккуратные женщины в белых халатах, в чистеньких платьях. И только несколько пожилых врачей мужчин.

Окружив медичек, партизаны гонят их в лес. Ухмыляются, переговариваются:

— Ты которую будешь?..

— Ну вот грудастую... которая с серебряными погонами...

— А я ту... черненькую... в косынке с красным крестом...

— А я ту, которая в синей беретке...

— А я люблю рыженьких... У меня одна была... От стонов оглохнуть можно... Ох, скорее бы ночь...

— Разгуляемся...

Плененные немки проходят мимо Федотова и начальника штаба. Федотов, морщась, смотрит на ухмылочки парней-конвоиров. Произносит вслед уходящим:

— Борделя в отряде не допущу. — И командует начальнику штаба: — Выставь охрану из офицеров.

Начальник штаба закуривает.

— Не сдержит охрана... мужики одичали без женского полу и присутствия...

К Федотову подходит отрядный врач. Он демонстрирует содержание кожаного чемодана. В чемодане никелированные медицинские инструменты.

— Нам бы на сутки раньше это добро... Арон так бы не мучился...

— Хоть полегче пацану?

— Нет...Температура под сорок... — Врач закрывает чемодан. — Анестезию добыли... пенициллина — на це-

лый полк... Бинтов — хоть шар земной обматывай...

Над соснами плывут облака, наползая на луну и роняя на поляну тени. На поляне — бревенчатый полуразвалившийся сарай лесника. Он давно уже без крыши: внутри сарая проросла выше стен лиственница. По углам сарая партизаны в гимнастерках, с автоматами. Офицеры. У сломанных дверей — двое часовых. Тоже офицеры. Вокруг сарая слоняются парни-бородачи. Один подваливает к часовым:

— Хлопцы, не жлобитесь...

— Еще два шага — стреляю! — Часовой в гимнастерке с лязгом передергивает затвор.

Парень-бородач, вытянув перед собой бутылку, идет к часовому.

— Стоять! — командует часовой.

Парень продолжает идти, расхваливая содержимое бутылки.

— Самогон... покрепче фабричной горилки...

Выстрел — бутылка в его руках разлетается вдребезги.

С другой стороны сарая трое со спины набрасываются на часового, валят в траву. Двое других, подсаженные снизу, запрыгивают в сарай. Там визжат женщины.

— Не квакать, фашистские сучки... — доносится угрожающий голос. — От одного разу от вас не убудет.

Еще несколько парней лезут в сарай. Часовой, освободившись, вскакивает на ноги и, стреляя в воздух, убегает.

В темноте сарая несколько парней пытаются насиловать немок. Немки не даются, их в несколько раз больше. Проникшие в сарай парни отбиваются. Через забор к ним лезет подкрепление — все новые и новые защитники родины, изголодавшиеся по женской любви.

Федотов с начальником штаба торопятся к сараю. Часовой вскакивает с травы, докладывает:

— Бардачут хлопцы, товарищ генерал...

— Как допустил?

— А мне морду набили... в челюсть двинули... — Часовой раззевает рот и двумя пальцами трогает зуб. — Вон, зуб шатается, товарищ командир...

Федотов и начштаба торопятся к сараю, на ходу выхватывая пистолеты.

— Дисциплина под угрозой, — говорит Федотов.

— И боевой дух, — добавляет начштаба.

Они врываются в сарай. За ними — часовые. Они светят фонариками, выхватывают из ночной темноты немку в разорванном платье, лицо партизана, раскарябанное женскими ногтями до крови, плачущую девушку, голую до пояса.

Федотов стреляет в воздух.

В сарае — немая сцена. Парни стоят понурые, перепуганные...

— Под трибунал захотелось? — Федотов разъярен, но говорит тихо, спокойно. — Перепиши фамилии, — приказывает он начальнику штаба.

На сколоченном из неошкуренных горбылей столе тлеют каганцы – плоские банки с жиром, в которых плавают догорающие фитили.

Вокруг стола — Федотов, начальник штаба, несколько командиров.

— С пленным мужичьем просто: пуля – и всех делов. А это все ж дамы... а мы вроде как рыцари...

Командиры как бы нехотя выдавливают из себя свои соображения:

— Пятьдесят чистеньких немок...

— Да еще в шелковых трусах и всяких там комбинациях с бретельками...

— Баба на корабле – порядку капут... А в отряде — похлеще...

— Ох, как наши хлопцы с бабьей голодухи передерутся...

— Передерутся – полбеды... Сперва перестреляют, суслики, друг дружку, потом за головы схватятся...

Выгорает масло в каганцах, гаснут фитили. Только огоньки папирос и самокруток вспышками освещают насупленные лица. Федотов чиркает зажигалкой и внимательно смотрит на вздрагивающий огонек.

— Не будь немки военнопленными — я бы их отпустил к чертовой матери...

— И под военно-полевой трибунал тебя, на солнышко... За твое душевное рыцарство... — усмехается начштаба.

Утром Федотов завтракает вареной картошкой.

Начальник штаба насыпает сухого молока в две жестяные кружки, раз-

мешивает ложкой. Ставит кружку перед Федотовым.

— Разрешите, товарищ генерал? — В палатку заглядывает радист. — Радиограмма. Ответ на нашу...

Радист расстроен, с тяжким вздохом протягивает Федотову полоску бумаги.

Тот, пробежав глазами радиограмму, отдает начальнику штаба.

— Да они что?.. Расстрелять женщин?.. — Начштаба растерян. — Как же так?..

— А так! — Лицо Федотова каменеет. — Может, посоветуешь Москве другой выход? Петя прорадирует...

Начштабу нечего сказать. Он берет кружку с молоком и, отвернувшись, залпом выпивает, неловко плеснув на подбородок..

— Разрешите идти? — спрашивает радист.

Пятьдесят четыре женщины в белых халатах и два врача-хирурга были выстроены на поляне в стороне от командирской палатки.

Пленные мужчины-хирурги встречали смерть спокойно, в мундирах с крестами и орденами, а женщины бились в истерике... что-то кричали по-немецки... с мольбой о пощаде ползли на коленях к партизанам, которые стояли с винтовками и автоматами в ожидании страшной команды...

А Федотов сидел в своей палатке и крестился... Загремели выстрелы.

В палатку Федотова снова заглянул радист. Он молча протянул радиограмму.

Федотов прочел, нахмурился.

— Ответь так: отправки артистов на большую землю возражаю. Прошу оставить артистов в отряде для поддержания культурного и боевого духа партизан.

— Хлопцы болтают, будто артисты поддерживали боевой дух фрицев... Пели перед ними, танцы-сранцы выкаблучивали...

— Густопсовая брехня! — сердито отрезал Федотов. — Радируй: один из артистов, мальчик-танцор перенес ампутацию без наркоза... Может помереть в самолете...

— Боюсь, будут настаивать, — покачал головой радист. — Додолбят нас дятлы в генеральских погонах...

— Молчать! — Федотов нахмурился. — Ступайте выполнять приказ!

На подмосковном аэродроме приземлился самолет. У трапа его встречали сотрудники НКВД с синими погонами. Прилетевших из партизанского края артистов фронтовой бригады окружили и затолкали в грузовую машину, покрытую брезентовым тентом.

Арона вынесли из самолета на носилках.

На перекошенной калитке табличка: «Ул. Пушкина, д. 19».

Но за калиткой была лишь могила когда-то живого дома — куча земли, слипшихся кирпичей, обрывков ржавого железа от кровли...

Босой, в драном немецком фельдфебельском мундире с сорванными погонами, Колян стоял посреди двора. До него долетел зазывный крик:

— Ножи точу!.. Ножницы! Топоры!

По улице ехал на велосипеде веселый однорукий инвалид с медалями и со своим инструментом-точилом на плече.

— Точу бритвы опасные!.. Точу пропеллеры!.. Но не аэропланные!.. Пропеллеры от мясорубок точу-у-у!..

Колян преградил ему дорогу.

— Не знаете, где Никаноровы?

— Бомба в их хату! Прямое попадание!

— Не интересовался ли ими пацан... такой черненький... Между прочим, танцор... Может, какие письма были?

— Ни танцоры, ни певцы Никаноровым не писали, — ответил точильщик. На его гимнастерке были медали «За отвагу», «Взятие Вены» и Гвардейский значок.

Ночью Арону не спалось. Не спалось и его соседу по нарам, седому изможденному мужчине. В нем с трудом узнавался Широков — красноармеец первых дней войны, отец Коляна.

— У меня где-то сынок, твой одногодок... — шептал Широков. — Где он? Живой ли? Я писал... В моем доме теперь чужие люди... Отписали, что Колька не появлялся...

— И у меня был Колян — дружок! То, что я живой — ему спасибо... Всех

разведчиков самолетным снарядом положило, а я только двумя осколками в пузо отделался... Семен Эммануилович, хирург, спас... Он Коляна сыном зовет... После войны законно усыновит... Эх, где они сейчас?..

— Узнать бы, где мой сынок. И жив ли...

— А ну заткни хавало, тварь седая, — пригрозил сосед, мужик уголовного типа.

— Я тебе башку проломлю, вор фиксатый! — Широков рванулся и полез по телам спящих.

Арон схватил его за штанину, умолял:

— Вам вредно волноваться, дядя Широков!

— Пусти! — Седой вырывался, но вдруг резко откинулся на спину, заскрипел зубами, захрипел, закатывая глаза.

Арон соскочил с нар и на одной ноге запрыгал к двери. Колотя кулаками по железу, он орал:

— Доктора! У Широкова приступ!

Со скрежетом открылось оконце кормушки. Заглянувший надзиратель засмеялся.

— Придуривается небось? На больничные харчи и простыни потянуло?

Среди ночи Широков открыл глаза и зашептал:

— СССР... СССР... СССР...

— Почему вы, дядя, это говорите? — спросил шепотом Арон.

— СССР — это Смерть Сталина Спасет Родину!.. — прокричал на весь барак красноармеец.

— Да спи ты, седой, — пробурчали разбуженные зэки.

— Ага, засыпаю...— сказал Широков и вдруг несколько раз дернулся, словно к нему подсоединили электрический провод под напряжением, и откинул голову.

Арон рванулся к нему, стал трясти.

— Не умирайте, дяденька!

Но из Широкова уже уходила жизнь. Зэки все поняли. И один из них стал колотить ногами в железную дверь. Когда в оконце кормушки заглянул сонный охранник, заключенный закричал:

— Дежурный, уберите труп!

Колян стоял перед могилой мамы, мял в руках армейскую пилотку. Так, в начале войны он стоял здесь с отцом-красноармейцем...

Федотов, теперь уже дважды Герой, с двумя Звездами на гимнастерке и двумя депутатскими флажками — союзным и республиканским, — секретарь подпольного обкома, командир крупного партизанского соединения, был в Кремле на приеме у Калинина. Тот листал принесенные прославленным партизаном документы.

— А это что за Арон Хаскин? — спросил Калинин.

— Мальчишка... танцор... мы ему в отряде в полевых условиях отняли ногу... ножовкой...

— Ножовкой? — удивленно спросил Калинин и поверх очков посмотрел на Федотова.

— Ножовкой, — повторил Федотов. И добавил: — Плотницкой...

Калинин задумался, занеся ручку с пером над документом...

В проходе между полок общего вагона брел слепой летчик в ушастом кожаном шлеме. Он пел:

Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за Отчизну в ответе,
А он спал с моею женой...

Поводырем у слепого летчика был Арон на костылях. Он подпевал. Им подавали хорошую милостыню.

Проходя через общий, тесно набитый небогатым провинциальным людом вагон, Арон вдруг услышал:

— Арон!

Обернулся.

В усталом, постаревшем мужчине Арон не сразу узнал Семена Эммануиловича.

Тот смотрел на костыли Арона, но ничего не спрашивал.

Обнялись.

— А я в тюряге сидел...

— И я...

— На меня навесили, будто я перед немцами танцевал...

— А меня сам фельдмаршал Манштейн в фельдфебели произвел... Коляна не встречал?

— Нет. А вы далеко едете?

— В Крым, — ответил Семен Эммануилович. — У сестры под Евпаторией домишко, сад... Отдохну после отсидки.

По проходу шла проводница.

— Прибываем в Шепетовку. Стоянка две минуты.

— Здесь я угощал фельдмаршала Манштейна бутербродами, — усмехнулся Семен Эммануилович. — Пожалуй, я здесь сойду.

— Но вы же говорили, что едете к сестре в Евпаторию...

— Сделаю остановку... ненадолго... и продолжу путь...

Семен Эммануилович обнял, поцеловал Арона.

— Зачем вам эти беспокойства? Дождик, ноги промочите, ревматизм будет...

— Будь счастлив, мой мальчик.

Поезд остановился. Семен Эммануилович спрыгнул на перрон.

Егорыч пил чай из самовара, держа блюдце на растопыренных пальцах. Его сдобная, пышная супруга колола щипчиками рафинад. Егорыч любил пить чай вприкуску.

Дверь распахнулась от сильного удара ногой.

На пороге стоял Семен Эммануилович.

Егорыч обомлел. Блюдце на растопыренных пальцах наклонилось, и горячий чай потек на ширинку штанов, а с ширинки на пол.

С каменным лицом, жестко и внятно, Семен Эммануилович произнес с порога, как приговор:

— Гражданин Егор Егорыч Фесенко! Тогда, в сорок третьем, я, полковник Главного разведывательного управления Красной Армии, выполнял в тылу врага важное задание по личному указанию товарища Сталина. То, что я еврей по фамилии Габсбург, — это легенда советского разведчика. А вы, Егор Егорыч, активно мешали выполнению правительственного задания и фактически сорвали операцию по уничтожению фельдмаршала фон Манштейна...

Чай из блюдца вытек. Егорыч наконец открыл рот и залепетал:

— Но как же... вас же арестовали...

Семен Эммануилович расхохотался.

— Арестовали...да сразу сделали запрос в Центр... и как ценного разведчика отправили с секретным заданием в одну из европейских стран... Да так спешно отправили, что я не успел написать рапорт о вашей злостной антисоветской деятельности... Теперь я — генерал госбезопасности.

У Егорыча уже подергивалось лицо. Супруга, озираясь на Семена Эммануиловича, капала в стопку валерьянку.

Семен Эммануилович сообщил трясущемуся от страха Егорычу:

— Еду в Ялту. В санаторий Центрального комитета партии. И там, на отдыхе, у меня будет достаточно времени, чтобы решить вашу судьбу. На обратном пути сойду с поезда и вернусь сюда, чтобы осуществить неминуемое наказание...

Жена Егорыча упала перед Семеном Эммануиловичем на колени.

— Простите его, дурня старого, — молила она. — Простите... Я ж ему говорила: не трогай евреев, они ушлые... всегда русского дурака одолеют. Помилуйте его за состояние здоровья. Сердце у него на ниточке...

Она говорила, шмыгала носом, обливалась слезами и на коленях подползала к Семену Эммануиловичу, норовя поцеловать его ботинки.

Семен Эммануилович от отвращения вспылил и повысил голос:

— Сейчас же встаньте! — и, не в силах сдерживать ярость, закричал Егорычу: — Скоро узнаешь, Иуда, что я с тобой сделаю!.. И не забудьте заказать гроб, гражданин Фесенко!

Громыхнув дверью, Семен Эммануилович ушел в ночь.

В переполненном плацкартном вагоне сидела печальная седая женщина. Где-то вдали у тамбура пели:

Ах, Клава, любимая Клава,
Ужели нам так суждено?
Что ты променяла, шалава,
Меня на такое дерьмо...

Сидевший рядом с печальной женщиной Семен Эммануилович сказал:

— Сейчас, сестричка, увидишь моего юного друга. Я его оперировал... Два осколка в животе... нагноение было.

Слепой летчик со своей песней приблизился. Семен Эммануилович увидел, что поводырь у летчика теперь другой — молодая деревенского вида женщина.

— Товарищ, а где Арон? — спросил Семен Эммануилович.

Слепой летчик услышал, обернулся в ту сторону, откуда донесся голос.

— Мне не нужны два поводыря, — сказал он, обнял женщину, и оба запели в два голоса:

Не выдержал я и заплакал,
Ну, думаю, мать вашу так!
Я к Клаве любимой вернулся
И начал ее целовать...

По проходу пробиралась пожилая проводница.

— Подъезжаем к Шепетовке. Стоянка две минуты. — И обратилась к Семену Эммануиловичу: — Вы, кажется, собирались выйти?

— Передумал, — ответил тот. — Пусть мой друг Егорыч меня подождет.

— Почему же так?! — с укоризной сказала проводница. — Друзей надо навещать... помнить.

— Пусть этот Иуда ждет моего брата до самой своей смерти и содрогается при каждом стуке в дверь... — сказала печальная седая женщина.

Арон приехал в Ярославль. На улицу Щорса, дом 4 он пришкандыбал на костылях.

Перед ним был бревенчатый дом, каких немало на окраинах больших городов.

— Эй!.. Кто-нибудь!.. — закричал он во двор, сложив рупором ладони.

За углом дома на солнечной стороне женщина купала маленькую девочку. Услышав голос, она подхватила девочку на руки и пошла на голос к мальчику на костылях.

Арон сказал ей, почти продекламировал:

— «Мы с Петей Горленко держим оборону... Раненный в живот Петя помирает... Сообщите нашим женам...»

Женщина обернулась и закричала:

— Петь, смотри! Пришел!

Тридцатилетний мужчина окунал в бочку мотоциклетную камеру: искал, где она проколота... Он кинулся к Арону.

И Арон, сияющий от счастья, повторил:

— «Мы с Петей Горленко держим оборону...»

Петр Горленко стиснул Арона в объятиях.

А женщина, отдав девочку вышедшей из дома старушке, уже накрывала дощатый стол во дворе.

— Колян к вам не заглядывал? — спросил Арон.

Но в заботах об угощении гостя они словно его не слышали. Что-то доброе, хорошее держали в уме эти люди...

Вдруг раздался грохот, и в пыли немощеной дороги у калитки остановился мотоцикл.

Вернулся домой Колян. Вот почему так загадочно улыбались хозяева дома.

Колян по-хозяйски взвалил на плечи мешок картошки и вошел во двор...

Увидел Арона! Мешок сполз с его спины и, ударившись о землю, лопнул. Картошка покатилась под горку к ноге Арона. Арон забыл о костылях и на одной ноге запрыгал к Коляну, и Колян рванулся к Арону.

Арон споткнулся о картошку и упал.

Колян кинулся его поднимать...

Колян, поддерживая Арона, повел его к столу. Горленко протянул Арону и Коляну стаканы с самогоном...

— С некоторых пор у меня отвращение к спиртному... — вздохнул Арон, вспомнив, как он пил спирт перед «операцией». — Но сегодня напьюсь...

Колян и Арон подняли стаканы и чокнулись. Колян произнес тост:

— За то, чтобы наши близкие нашлись...

— Мои уже не найдутся... — сказал Арон.

— Найдутся! И твои, и... — Колян был убежден в этом. — Мы же с тобой нашли друг друга.

— Спасибо той пушке-«сорокопятке»! — сказал Арон.

За калиткой урчал мотоцикл, движок которого на радостях забыл выключить Колян.

S U M M A R Y

Anatoly Vishnevsky — Daniil Dondurei — Leonid Radzikhovsky
No matter how much this costs?
Discussion of real victims and the real value of the Victory.

Jemma Firsova
Three million meter of war
On the exhibition «In honor of the war cinematographers».

Tatyana Moskvina
Loneliness of perfection
Review of Alexandre Sokurov's SUN (Russia).

Nina Tsyrkun
Heresy of simplicity
Review of Clint Eastwood's MILLION DOLLAR BABY (USA).

Clint Eastwood:
«The viewer shouldn't know anything»
Interview taken by Amy Tobin.

Semyon Ekshtut
History is more vindictive than people
How Stalin didn't let the people to celebrate the Victory.

Alexandre Khramchikhin
To distinguish regime and motherland
The state and the homeland is not one and the same.

Personal rubrics.

Nina Tsyrkun
The bird on the wire
Portrayal of Hilary Swank.

Alexandre Shpagin
Religion of war
Subjective notes on god-seeking in war cinema.

Pyotr Todorovsky:
«It's easy to be happy when young»
Natalya Balandina talks to the filmmaker about his war experience.

Valentin Chernykh:
«If I see a fish, I'll catch it»
Jeanna Vasilyeva talks to the script-writer.

Vladislav Mikosha
I stop time
Memoirs of the war cinematographer.

Rostislav Yurenev
In justification of this life
Memoirs of the war pilot.

Vitaly Melnikov
Life — cinema
Memoirs of the filmmaker about his war childhood.

Evgeny Mitko
Aron
Script.

26 ИЮЛ 2005
№22343

Журнал издается при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ

Поправка

В № 4 в рубрике «Чтение» под «Недоучкой» Ивлина Во не была указана фамилия переводчика Валерия Минушина. Приносим свои извинения нашему постоянному автору, а также читателям журнала.

Журнал издается при поддержке телеканала СТС

Журнал издается при поддержке телеканала ТНТ

Интернет-версия «Искусства кино» осуществляется при поддержке Татьяны Друбич

ISSN 0130-6405

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит с января 1931 года

Учредители: Союз кинематографистов России, Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, редакция журнала «Искусство кино»

Главный редактор Даниил Дондурей
Исполнительный директор Елена Карташова
Зам. главного редактора Нина Зархи
Ответственный секретарь Лариса Калгатина
Редактор спецпроектов Лев Карахан
Редакция: Леонид Гурьян, Евгений Гусятинский, Татьяна Иенсен, Елена Плоткина, Евгения Субботина, Елена Стишова, Нина Цыркун, Галина Элькина
Художественное оформление: Дмитрий Демский
Обложка: Евгений Добровинский
Компьютерная верстка: Людмила Мишунина

•

Адрес редакции: 125319, Москва, А-319, ул. Усиевича, 9
Телефоны: 151-5651, 151-3779. **факс** 151-0272
www.kinoart.ru

e-mail: filmfilm@mtu-net.ru

Сдано в набор 20.05.05. Подп. к печати 3.06.05
Формат бумаги 70 x 100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1
Гарнитура Ньютон. Печать офсетная
Печ. л. 11,75. Усл. печ. л. 14,95. Уч.-изд. л. 16,0
Заказ 5200. ГП «Московская типография №13»,
Москва, Денисовский пер., 30

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ № 01632 от 7.10.92

Фото и адреса актеров редакция не высылает
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

•

«Искусство кино» распространяется во всех странах СНГ. Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи по каталогу агентства «Роспечать», с. 197, **индекс** 70402. В Москве на «Искусство кино» можно подписаться с получением вышедших номеров в редакции по адресу: ул. Усиевича, 9 (м. «Аэропорт»), телефон для справок: 151-3779.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ!
You can subscribe to our magazine through:
AO «Mezhdunarodnaya kniga»
Bol'shaya Yakimanka st. 39
117049 Moscow, Russia
Tel. (095) 238-4967
Fax (095) 238-4634
Other: «East view publications, inc.»
3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA
Tel. (612) 550-0961. **Fax** (612) 559-2931
Toll–free in the USA: 1-800-477-1005
Our address:
Usievich st. 9, 125319 Moscow, Russia
Tel. (095) 151-5651, 151-6751
Fax (095) 151-0272
www.kinoart.ru
e-mail: filmfilm@mtu-net.ru

© Журнал «Искусство кино», 2005

РЕАЛИТИ-ШОУ

БОЛЬШОЙ БРАТ

СМОТРИТ НА ТЕБЯ

ТНТ
ТЕЛЕКАНАЛ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 20.00 НА ТНТ

WWW.TNTBRAT.RU
WAP.TNTBRAT.RU

Индекс 70402

ИСКУССТВО КИНО

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Материалы З.АБДУЛЛАЕВОЙ, А.АРТЮХ, Е.ГУСЯТИНСКОГО, Е.КУТЛОВСКОЙ, И.ЛЮБАРСКОЙ, Л.МАЛЮКОВОЙ, Т.МОСКВИНОЙ, Д.САВЕЛЬЕВА, Е.СТИШОВОЙ, Н.ЦЫРКУН, А.ШПАГИНА, А.ЩИГОЛЕВА

В РУБРИКЕ «ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ»

Международные кинофестивали: в ожидании русских
Кто заказывает музыку? Про что снимаем кино...

В РУБРИКЕ «РЕПЕРТУАР»

«ПОБЕГ» Егора Кончаловского
«БОЙ С ТЕНЬЮ» Алексея Сидорова
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» Филиппа Янковского
«ЖМУРКИ» Алексея Балабанова
«ГЛУБОКАЯ ГЛОТКА» Фентона Бейли, Рэнди Барбато
«ГОРОД ГРЕХОВ» Роберта Родригеса

В РУБРИКЕ «ИМЕНА»

СЕРГЕЙ ЛОЗНИЦА
ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ
РОБЕРТ РОДРИГЕС
ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ

В РУБРИКЕ «РАЗБОРЫ»

Таруса-2005
Современное венгерское кино

В РУБРИКЕ «ОПЫТ»

СЕРГЕЙ МАЧИЛЬСКИЙ
ВИТАЛИЙ ТРОЯНОВСКИЙ
ЮРИЙ КОРОТКОВ

В РУБРИКЕ «ПУБЛИКАЦИИ»

Владислав Микоша. Воспоминания фронтового оператора
Ростислав Юренев. Воспоминания военного летчика
Виталий Мельников. Воспоминания режиссера

В РУБРИКЕ «ЧТЕНИЕ»

Юрий Коротков. ДЕВЯТАЯ РОТА
Луиджи Малерба. ПИСЬМА ОТТАВИИ